

UNIwersytet WarMińsko-Mazurski w Olsztynie
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

Acta
Polono-
Ruthenica
XVII



WYDAWNICTWO
UNIwersytetu WarMińsko-Mazurskiego
OLSZTYN 2012

Komitet Redakcyjny

Natalia Babienko (Jekaterynburg), Wiktor Choriew (Moskwa), Irena Chowańska (Olsztyn, sekretarz), Jan Czykwin (Białystok), Wolfgang Gladrow (Berlin), Andrzej Ksenicz (Zielona Góra), Czesław Lachur (Opole), Natalia Lichina (Kaliningrad), Joanna Mianowska (Bydgoszcz), Leontij Mironiuk (Olsztyn), Walenty Pilat (Olsztyn, przewodniczący), Irena Rudziewicz (Olsztyn), Tatiana Rybalchenko (Tomsk), Michał Sarnowski (Wrocław), Andrzej Sitarski (Poznań), Swietłana Waulina (Kaliningrad), Alicja Wołodźko-Butkiewicz (Warszawa)

Recenzenci

Halina Mazurek

Larysa Pisarek

Redaktor tomu

Walenty Pilat

Redaktor wydawniczy

Elżbieta Pietraszkiewicz

Projekt okładki

Barbara Lis-Romańczukowa

Adres redakcji

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM
ul. Kurta Orbitza 1, 10-725 Olsztyn
tel./fax. 89 527 58 47, e-mail: acta.pol.rut@wp.pl

ISSN 1427-549 X

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego • Olsztyn 2012

Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

Ark. wyd. 21,5; ark. druk. 18,25
Nakład: egz. 140. Druk: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 394

Od Redaktora

To już XVII tom „Act Polono-Ruthenica” i temat zgłoszony u zarania powstania tego czasopisma przez zmarłych już profesorów – Ryszarda Łużnego, Alberta Bartoszewicza, Bazylego Białokozowicza – staram się w miarę możliwości realizować. Tym bardziej że wciąż dużo jest jeszcze do powiedzenia o polsko-wschodniosłowiańskich kontaktach literackich, językowych i kulturowych. Ciągłe mamy mnóstwo propozycji, nieodkrytych problemów, nowych działań badawczych. Póki będę mógł, zamierzam realizować postulaty wyżej wymienionych Profesorów. Jestem Im to winien, bo to Oni wprowadzili mnie w tajniki polskiej slawistyki. Mam nadzieję, że i ten tom przyczyni się do rozwoju badań slawistycznych.

Walenty Piłat

Literaturoznawstwo

Tatiana Akimova

Sarańsk (Republika Mordwińska – Rosja)

**Диалог Великой княгини Екатерины Алексеевны
с польским анонимным автором о месте и роли
женщины в обществе:
к вопросу о функционировании жанра анекдота
в творчестве Екатерины II**

Жанр анекдота занимает особое место в творчестве Екатерины II – с его помощью не только осуществляется проба пера будущей российской императрицей, но и перенимается просветительская идеология, сложившаяся во французских салонах. Именно там формируется образ воспитанной и утонченной женщины, демонстрирующей своему окружению все грани своей личности, в том числе литературный талант. Поскольку жанр анекдота соответствует самой сути салонного общения, то обращение к нему Екатерины, в бытность еще Великой княгиней, выглядит явлением закономерным.

В 1760–1761 гг. Великая княгиня Екатерина Алексеевна создает *Особую тетрадь*¹, в которую заносит сокровенные мысли о правилах правления просвещенного государя. Среди этих афористичных высказываний и помещается анекдот о Брокдорфе, нечестном и корыстном советнике Петра Федоровича, вступившем в открытую вражду с Екатериной и очернившим ее перед государыней. Через этот анекдот цесаревна не столько целенаправленно отвечает своему обидчику, сколько – просветительской аудитории, сложившейся в ее сознании после знакомства с соответствующей библиотекой и кругом лиц, среди которых следует выделить Станислава Понятовского.

¹ Обнаружена эта тетрадь была академиком П.П. Пекарским, не только переведшим ее с французского, но и прокомментировавшим ее публикацию в первом томе „бумаг” Екатерины II: „заметки эти писаны Великой Княгиней Екатериной Алексеевной на листах большого формата, карандашом в 1761 г.” в кн. *Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве министерства иностранных дел*, т. 1: 1744–1764 гг., Санкт-Петербург 1871, с. 82.

Молодой польский граф прибыл в Россию в 1755 г., находясь в свите английского посла сэра Чарльза Гэнбюри Уильямса. Понятовский „был хорош собой”, „успел попутешествовать и посмотреть мир, светскую выучку проходил в Париже”². Там он и познакомился с хозяйкой влиятельного политического салона, мадам Жоффрен, радушно встречающей у себя Д’Аламбера, Гольбаха, Дидро и не признающей женское общество. Не удивительно, что салон м-м Жоффрен стал великолепным полем для взращивания анекдотов, тем более что „у Жоффрен собирались все даровитые люди из школы Вольтера”³. Станислав Понятовский, безусловно, был близок этой культуре. По крайней мере, оказавшись в России, „он приобрел расположение великого князя, насмехаясь над польским королем и его министром”⁴, а Великую княгиню очаровал тем, что „говорил языком Вольтера и героев мадам де Скюдери”⁵. Безусловно, Екатерина нашла в Понятовском многое из того, что усвоила через чтение романов: галантность, веселость, изящество, интересного собеседника, образец дамских рыцарей того времени⁶. Именно он и стал тем связующим звеном, которое соединило отчаявшуюся от одиночества Великую княгиню, оставленную без сына Павла Елизаветой, мужем, любовником С. Салтыковым, – с мадам Жоффрен на этапе активного усвоения Екатериной просветительских заветов 1755–1756 гг.

Результатом этого соединения явилось то, что, придя к власти, Екатерина признавалась, что „предпочитает салоны, в которых процветает искусство ведения беседы. Ей гораздо ближе госпожа Жоффрен, чем собственные придворные дамы”⁷. Приобщаясь через Станислава Понятовского, вхожого в салон и находящегося на дружеской ноге с мадам, к культуре и идеологии салона Жоффрен, Екатерина, соответственно, ощущала себя частью того литературного пространства и спешила зарекомендовать себя, во-первых, человеком пишущим, во-вторых, автором просветительских взглядов.

Для этого она сочиняет анекдот о немце Брокдорфе, сумевшем провести как Великого князя, не сведущего ни в политических, ни в экономических

² Н.М. Соротокина, *Фавориты Екатерины Великой*, Москва 2010, с. 23.

³ В.С. Иконников, *Время Екатерины Второй*, Специальный курс, составленный по лекциям ординарного профессора университета Св. Владимира, Литография Г. Розенталя, Киев 1881, с. 198.

⁴ К. Валишевский, *Роман императрицы: Исторические хроники*, Эксмо, Москва 2007, с. 110–111.

⁵ Ibidem, с. 110.

⁶ В.С. Иконников, *op. cit.*, с. 198.

⁷ Э. Каррер д’Анкосс, *Екатерина II. Золотой век в истории России*, Москва 2006, с. 390.

делах, так и императрицу, потерявшую способность к рациональному восприятию окружающего мира. Анекдот имел целью, во-первых, высмеять Брокдорфа, который настаивал на сохранении Петром Федоровичем войск в Голштинии, что приносило российской казне невероятные траты, и, во-вторых, поквитаться с немцем, строившим козни Великой княгине и обвинявшим ее в преступлениях, совершаемых, на самом деле, им самим. Подобная литературная расправа Екатерины с „врагом” укладывалась, заметим, в просветительскую концепцию мирного решения политических проблем.

Это свойство жанра литературного анекдота, содержащее в себе критическую оценку поступков царского окружения, цесаревна использовала двояко: и в качестве самопрезентации себя будущей российской императрицей, и с целью почувствовать себя писательницей-просветительницей, которая видит своим долгом обнажение проблем императорского двора. На первом месте среди них оказалось неприятие отведенной для нее Елизаветой Петровной пассивной роли „жены” Великого князя.

По всей видимости, ее интересовал образ хозяйки салона, как идеала личностной свободы и интеллектуального самовыражения. Поэтому, обращаясь к жанру анекдота, Екатерина вступает в диалог с польским анонимным автором *Златого ига супружества*, выносящего на суд читателя разные случаи сосуществования мужчины и женщины, итогом которого провозглашается тезис „на которой жене не женись – все будет плохо”: „Разум аще имаши, никакой не бери жены: никто бо не надежен...”⁸. Поэтому текст, представляющий, по выражению А.М. Панченко, „ренессансную струю в культуре барокко”⁹, выводит образ злой и нечестивой жены с целью занимательного времяпрепровождения и упреждения молодых людей от неверных шагов в будущем.

Анекдот Екатерины не только опровергает сложившееся в прошлом представление о жене, но как будто начинает спор с устоявшимся мнением о месте и роли женщины в обществе: „Той уже погрешил, когда поверил жене здравие, честь и имение”¹⁰. Великая княгиня отвечает на это анонимному автору: „Тогда не могли себе представить, чтобы последовательный образ действий был плодом женского ума; чтобы женщина имела уже в руках все большие и малые дела своего мужа; чтобы она не терпела

⁸ А.М. Панченко, *„Златое иго супружества” и его источник*, Тодорл, Ленинград 1979, т. 33. с. 327.

⁹ Ibidem, с. 312.

¹⁰ Ibidem, с. 329.

казнокрадства, наущничеств, несправедливости и проч. – перспектива ужасная!”¹¹. Замышляя побег от этой ужасной перспективы, Екатерина переплавляет исторический материал в художественный продукт с учетом и идеологической (создание образа самой себя), и морализаторской сторон (высмеивание существующих порядков). В сопоставлении этих двух текстов можно увидеть столкновение ренессансной и просветительской концепций.

Возрождение

- Идея произведения – освобождение личности.
- Цель – веселье и забава.
- Проблема супружеской неверности.
- Проблема несоответствия характера жены запросам мужа.
- Вывод: Жена – источник сущностных проблем мужа.

Просвещение

- Идея – освобождение женщины лично и социально.
- Цель – воспитание и забава.
- Проблема женского самовыражения.
- Проблема несоответствия характера мужа запросам жены.
- Вывод: Муж – источник сущностных проблем жены.

Спор ведется вокруг образа жены. Если в ренессансном тексте она предстает некоей помехой, довеском в жизни мужчины, то в екатерининском анекдоте мы видим, что все как раз наоборот: муж является „слабым звеном”, плохим политиком, дипломатом и экономистом. В первом случае воспеваются ум, смекалка и находчивость мужчины, во втором – всеми этими качествами обладает жена при полном отсутствии их у мужа. В *Златом иге супружества* жена – удел стыда и страданий мужа, в анекдоте Великой княгини жена – условие для благополучия и процветания мужа. Так, спор о месте женщины в обществе в польском тексте заканчивается радостным приятием этого мира даже в его абсурдном варианте, а в случае с анекдотом Екатерины вывод очевиден: образованной и воспитанной женщине по праву должна принадлежать лидирующая позиция в государстве.

Следует заметить, что дошедший до нас текст анонимного автора *Złote jarzmo małżeńskie*, составленный в первой половине XVII столетия, относится к середине XVIII века, и эта длительная жизнь в „списках” свидетельствует о его чрезвычайной популярности. Несомненно, он лег для читательской аудитории на подготовленную основу, поскольку польский автор удовлетворил запросы читателей как в исторической, так и в анекдотической литературе: „Неизвестный автор блистает эрудицией. Он прекрасно знает историю, церковную и гражданскую, древнюю и новую.

¹¹ Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве министерства иностранных дел, т. 1, 1744–1764 гг., СПб.1871, с. 96.

Он начитан в Писании и Предании. Он помнит античные и средневековые исторические анекдоты – например, о Сократе и Ксантиппе, которые составляли устойчивую анекдотическую пару”¹². Помимо этого, „пародийный трактат и комическая речь” *Złote jarzmo małżeńskie* соответствовали уровню царских забав: „Юмор его автора – тот юмор, который культивировался при дворе короля и в замках магнатов”¹³, а в России был любим „кавалерами петровских ассамблей”¹⁴. Все это оправдывает сопоставление произведения польского автора с сочинением Екатерины, писавшимся явно с оглядкой на Понятовского и его французский круг друзей и тем самым проложившим мостик от салона в петровском варианте к салону мадам Жоффрен.

Анекдот раскрывал проблему абсурдного бытия Екатерины при дворе Елизаветы Петровны, не совместимого как с личностным самовыражением, так и с реализацией просветительских идеалов, почерпнутых Великой княгиней из чтения книг французских писателей. Противоречие между реальной жизнью российского двора и теми духовными ориентирами, которые Великая княгиня восприняла от просветителей, толкало ее к осмыслению своего униженного положения „мешающей развлечениям своего мужа жены” и подачи его сквозь призму салонного осмеяния двора в литературе XVIII столетия. Поэтому вся композиция анекдота строится вокруг нескольких оппозиций. С одной их стороны находится просветительский образ Великой княгини, а с другой – не соответствующие ему образы царских советников, мужа Великого Князя Петра Федоровича и, наконец, императрицы, по мнению Екатерины, утратившей способность различать добро и зло.

Как и в анекдоте Великой княгини, в *Златом иге супружества* центральный образ – образ жены, который, однако, сравнивается то с недоделанным кораблем („Не имея кто делать чего, еще не безделен бытии, корабль или жену пусть промышляет строить, потому что те две вещи никогда довольно устроены бытии могут”¹⁵), то с быстро пролетающими явлениями („Ветер, птица, жена – скорая суть”¹⁶). В этом противоречивом сочетании долго строящегося корабля и быстрого мгновения полета, видимо, и заключается для барочного автора философская суть женщины. Однако он не ограничивается

¹² А.М. Панченко, *op. cit.*, с. 309.

¹³ *Ibidem*, с. 310.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*, с. 312.

¹⁶ *Ibidem*, с. 316.

приведенными образами жены и дает развернутую панораму портретов женщины: „Жена, понеже изначальна греха ловительница бе, того ради есть неисчерпаемое злых горнило, человеческое постыждение, ненасыщенное безсловесие, непрестанная пустыня, неустоящее побоище, повседневный человеческий вред, препона мужу, невоздержного потопление, любоддеяния сосуд, пагубоносный бой, животное всезлейшее, тягота обремененна, ненасытный аспид, человеческое рабство, смертные нужды свиток, юности обнажение, мужей похищение, старых смерть, отечествия поглощение, чести пагуба, пища диавола, врата смерти, адово исполнение”¹⁷. И среди такой негативной характеристики более всего достается женскому уму: „Естли глупа, отдавай же дом и строение соседом, а естли разумна, то, господине муж, предавайся господиеви богу; та там вверх ногами оборотит, а сия и разума во лбу лишит”¹⁸. Умная и образованная женщина наделяется еще более показательными и образными сравнениями, чем любвеобильная: „Умеет честь и охоча много честь, – то тогда собирает ядоносну отраву, аки паук, и сети на тебя, будто на муху, одевает”¹⁹. Вот это предубеждение против женского ума и образованности становится главной пружиной анекдота Екатерины.

Она не только демонстрирует свои способности в умении давать характеристику своему окружению, но и четко расписывает меры, предпринятые ею по избавлению от бедственного положения своего мужа.

В начале анекдота появляется фигура мужа Петра Федоровича, запутавшегося в своих финансовых делах: „В конце 1754 года Великий Князь, видя, что положение его дел было в состоянии, грозившем совершенным банкротством...”. Затем появляется образ умной и предприимчивой Екатерины, готовой устранить возникшие проблемы своего мужа. Она пишет, что он „решился поручить мне заботы о поправлении этих дел. Сначала я не хотела на это согласиться, предвидя и препятствия к поправлению такого безнадёжного состояния, и ревность, и зависть, которые я навлеку за то на себя. Но, наконец, я решилась согласиться, так как не могла долее уклониться, не огорчив Великого Князя”²⁰.

Затем Великая княгиня вводит образы советников своего мужа, каждый из которых получает критическую оценку. Персонажами ее анекдота соответственно становятся Брокдорф, поверенный в делах Великого Князя

¹⁷ Ibidem, с. 317.

¹⁸ Ibidem, с. 319.

¹⁹ Ibidem, с. 323.

²⁰ Бумаги императрицы Екатерины II..., с. 93–94.

Петра Федоровича, и Александр Шувалов, занимавший при Елизавете Петровне чин главы тайной канцелярии и гофмейстера двора Великого Князя. Оба они лишь усиливают беспомощность ее мужа, который „не выходил из-под опеки своей тетки”²¹ и вынужден был через надсмотрщиков просить государыню о покрытии его долгов, переросших в государственную проблему: „В это время Великий Князь, видя страну свою отягощенную долгами и теснимую кредиторами, из которых некоторые уступили свои права королям датскому и прусскому, говорил графу Александру Шувалову, вновь назначенному к нам, чтобы Императрица заплатила за него долги”. Однако, выбирая между ними, автор явно спешит передать свои симпатии русскому царедворцу: „Шувалов хотел отличиться при своем вступлении и выхлопотал 70 тыс. рублей, чтобы утишить самые настоятельные притязания. Он собрал справки о долгах Государя Наследника и узнал, что самым тяжелым бременем были его войска. Шувалов придумал и предложил именем Императрицы уволить всех этих людей бесполезных и убыточных, с тем, что вместо 200 человек Императрица будет содержать две тысячи русских войск в Голштинии, которыми великий князь будет распоряжаться по своей воле”²². В противоположность ему, цесаревна выводит негативный образ немца, думающего, прежде всего, о собственной выгоде. Брокдорф не только отклоняет дельное предложение русского советника, но и объявляет себя горячим защитником голштинцев в противостоянии с русскими: „Великий князь горячо схватился за такое предложение, но к несчастью рассказал Брокдорфу, а этот отклонил его от того под предлогом, что в Голштинии каждый русский ненавидим и что тамошние жители побьют их. Таким образом, не осуществилось предположение, которое бы могло иметь великие, полезные и добрые последствия”²³. Однако подобный исход – лишь следствие, по мнению Екатерины, неумелой политики правящей особы.

Поэтому самый негативный образ в ее анекдоте – это образ действующей императрицы, так же, как и Петр Федорович, не умеющей разбираться в людях, и, более того, поощряющей зло (Брокдорфа) и осуждающей добро (Екатерину): „В разгар моей ссоры с Великим Князем ее убедили объявить, что я, без его ведома, сделала что могла для изгнания от него его верного служителя Брокдорфа, но что она вместо того

²¹ К.В. Сивков, *Петр III и Екатерина II* в кн. Екатерина II Великая: энциклопедия, Москва 2008, с. 19.

²² Бумаги императрицы Екатерины II..., с. 93.

²³ Ibidem.

назначила ему семь тысяч жалованья, предложив Великому Князю пользоваться советами этого почтенного человека”²⁴.

С целью обоснованной критики Елизаветы Великая княгиня сосредоточивается на последовательном изложении предпринимаемых ею мер разного характера.

1. Екатерина демонстрирует умение вести диалог с Европой и свою деловую хватку: „Прежде всего я велела мне подать финансовый и долговой списки и нашла, что ежегодный расход превышал доход на 27 тыс. талеров. Я увидела миллионы долгов и 180 тыс. талеров дохода. Раздумывая о средствах против такого превышения, потому что Великий Князь не хотел и слышать о сокращении войск, я приказала заключить договор с венским двором, по которому ему давалось 100 тыс. талеров в год, и эти деньги, будучи хорошо распределены, восстановили бы все и уплатили бы все долги”²⁵.

2. Как тонкий психолог, она имитирует душевную открытость, которая выдает ее дипломатические способности: „Я крепко стояла за истину, не теряла присутствия духа и, для блага дела Великого Князя, примирилась с самым смертельным врагом своим – канцлером Бестужевым”²⁶.

3. Более того, Великая княгиня указывает на свои знания юридического характера, которые сочетаются у нее с четкими и решительными действиями человека, уверенного в своей правоте: „Тогда я письменно изложила о всех противоречиях действий Брокдорфа, о его поступках за и против Шуваловых, и его обвинениях, и передала эту бумагу Великому Князю”²⁷.

Все это дополняет просветительский образ автора, обратившегося к жанру анекдота, с целью выделения таких граней своей личности, как воспитание, образование, ум, дипломатичность, психологическая чуткость. Не случайно противостояния Великая княгиня – Брокдорф, Великая княгиня – Петр Федорович, Великая княгиня – Елизавета Петровна в рассказе лишь о маленьком эпизоде из жизни Екатерины логически подводят не к открытому нравовучению, но, наоборот, оборачиваются в кульминации всей истории парадоксальным высказыванием героини относительно советников монарха: „Чтобы окончить изображение сердца Брокдорфа прибавлю, что я слышала его утверждавшим при всех за столом, что *для сделания армии: более деятельною, необходимо убивать всех раненых*. И когда

²⁴ Ibidem, с. 97.

²⁵ Ibidem, с. 94.

²⁶ Ibidem, с. 95.

²⁷ Ibidem, с. 96.

Великий Князь возражал против жестокости, то Брокдорф приводил в подтверждение, что шведы всегда так поступали. Граф А. Шувалов сидел тогда около меня, и я, толкнув его локтем, сказала при том: я бы начала с того, что пустила бы пулю в мозг такого советника!”²⁸. С одной стороны, эта красноречивая фраза высвечивала такие личностные достоинства героини (помимо интеллектуального превосходства над своим окружением), как решительность, мужественность и отважность, а с другой – характеризовала авторский способ мышления, который через анекдотическое видение ситуации показывал как раз самую основу просветительского мировосприятия.

Эмоциональное высказывание героини – ответ на фразу из *Златого ига супружества*, гласящую „Жить кто с волком в покое мыслит, / то надобно зубы прежде выбить”²⁹, выглядит тем более оправдано, что речь идет не только о проблеме личных долгов Великого князя, но о благосостоянии всего российского народа, в связи с чем анекдот из бытового рассказа превращается в характеристику правления Елизаветы Петровны, далекого от Просвещения, и заявку более достойной кандидатуры на российский трон.

Самопрезентация Екатерины предстает более отчетливо через окружающий анекдот контекст афоризмов, помещенных в *Особой тетради*. Этот контекст также многослоен и направлен к разным социальным ярусам. Здесь есть и размышления о народном благе, которое могут принести воспитание и образование: „Учреждение Сен-Сира. Средство подражать ему с пользою и удобством будет заключаться в вызове наставницы классов и получении прямо от французского двора устава и журналов этого заведения”³⁰. Затем поднимается проблема материального состояния российских подданных: „Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты – вот начало, от которого я отправляюсь: чрез разумное сбережение они этого достигнут”³¹. Венчает эти просветительские установки автора образ героини, открыто заявляющей: „Признаюсь, что хотя я свободна от предрассудков и ум у меня от природы философский, однако чувствую великую склонность чтить древние роды”³². Как видно, героиня откровенно примеривает маску идеального правителя на себя.

²⁸ Ibidem, p. 96–97.

²⁹ А.М. Панченко, *op. cit.*, с. 327.

³⁰ Бумаги императрицы Екатерины II..., с. 82.

³¹ Ibidem, с. 83.

³² Ibidem.

Таким образом, анекдот о прохвосте, наживающемся за счет русской казны благодаря своим вредительским советам наследнику русского престола, превращается в рассказе Екатерины в презентацию ее личностных качеств, которые соотносятся с нормой поведения первого государственного лица и той программой, которую она афористично заявляет в «тетради». Анекдот в данном случае демонстрирует понимание будущей правительницей тесной связи монарха с двором и ее решительное желание руководить своим окружением. Поэтому не случайно так много внимания уделяется образу царского советника, далекого от совершенства и напрашивающегося на просветительское воспитание. В то же время подчеркиваются слабые черты мужского пола, прежде всего, Великого князя Петра Федоровича, не разбирающегося ни в людях, ни в политике, и вообще не обремененного умом.

Итак, анекдот, рассказанный Екатериной, достигал сразу трех целей: 1) передавал нездоровую атмосферу последних лет Елизаветинского правления, в которой процветали казнокрады при высокородных дураках; 2) предоставлял возможность Великой княгине нарисовать портрет своего мужа, не способного к делам государственного управления по тому, каких людей он брал себе в советчики; 3) являлся способом защиты цесаревны от наговоров нечистых на руку вельмож; 4) демонстрировал литературные дарования Екатерины, соответствующие требованию французского салона мадам Жоффрен; 5) был ответом на диалог о месте и роли женщины в обществе, который был начат в эпоху Ренессанса, продолжен в эпоху барокко и актуализирован в эпоху Просвещения.

Однако Великая княгиня понимала, что *Особая тетрадь* не станет достоянием печати. И значит, обращаясь к жанру анекдота, она решала другую задачу, а именно: литературной самопроверки в духе салонов – только творческой самореализацией обосновывалась заявка Екатерины на курс просвещенного абсолютизма. Занимаясь сочинительством и подвергая критическому анализу свое окружение, будущая императрица, с одной стороны, обдумывала нормативную сторону образа монарха и образа его советника, а с другой – оттачивала смеховую палитру воспитательных приемов, необходимых и писателю, и правителю эпохи Просвещения.

Streszczenie

Dialog Wielkiej księżnej Katarzyny Aleksejewny z anonimowym polskim autorem o miejscu i roli kobiety w społeczeństwie: problematyka funkcjonowania anegdoty w twórczości Katarzyny II

W artykule rozpatrywany jest problem funkcjonowania anegdoty w twórczości Katarzyny II. Anegdota o mądrej i wykształconej żonie podejmuje dialog z tekstem pt. *Złote jarzmo małżeństwa* anonimowego polskiego autora, w którym wizerunek żony staje się obiektem żartów i jawnej renesansowej kpiny. Katarzyna Aleksiejewna opowiada się za oświeceniową koncepcją, według której miejsce kobiety w społeczeństwie określa jej wykształcenie, wychowanie i zdolności literackie. Dzięki tym cechom kobieta może zostać Panią salonu literackiego, a w szczególnym przypadku – Imperatorową.

Summary

Dialogue of a Grate duchess Catherine Alexeevna with a Polish anonymous author about woman's place and role in the society: back to question about functioning of the genre of anecdote in Catherine's II fiction

In the article is considered the problem of functioning anecdote in Catherine's II fiction. Anecdote depicting the image of a clever and educated wife starts a dialogue with a Polish anonymous author's text *A golden burden of marriage*, in which the image of wife becomes a target for mocking and open Renaissance laugh. Catherine Alexeevna answers on it using Enlightening conception of a wife image, whose place in the society is determined by her education, upbringing and literature abilities. Thanks to her qualities, a woman can become the owner of the salon and even in some exceptional cases – the Empress.

Joanna Dziedzic
Białystok

Afanasij Fet w krytyce zachodniej

Twórczość Afanasija Feta (1820–1892) od lat stanowi przedmiot badań literaturoznawców. Do zainteresowania spuścizną literacką rosyjskiego klasyka przyczyniła się niewątpliwie wartość artystyczna jego dzieł, jak również osobowość samego twórcy. Lata życia poety przypadają na niezwykle interesujący okres w historii i literaturze Rosji, spinający epoki romantyzmu i realizmu. Pierwszy zbiór wierszy Feta (*Panteon liryczny*, 1840) został opublikowany jeszcze za życia Wasilija Żukowskiego (1783–1852), zaś ostatni (*Ognie wieczorne*, 1885, 1888, 1891) w okresie, gdy talent Antoniego Czechowa (1860–1904) był już w pełni dojrzały. Właściwie od początku swojej drogi twórczej autor *Bachantki* znajdował się w centrum rosyjskiego życia literackiego. Zarówno jego utwory poetyckie, jak i artykuły krytycznoliterackie stanowiły integralną część wielkiej literatury lat 40., 60. i 80. XIX wieku. Nie dziwi zatem, że twórczość Feta stała się przedmiotem dociekań wielu wybitnych rosyjskich uczonych, takich jak choćby Wiktor Żyrmunski, Borys Buchsztat, Dymitr Błagoj, Leonid Rozenblum¹. Badania te obejmują szerokie spektrum tematów: od rozważań dotyczących biografii twórcy przez formalną analizę języka poetyckiego, stylu, koncepcji estetycznych po zawartość filozoficzną wierszy.

Szczególne zainteresowanie liryką A. Feta w literaturoznawstwie zachodnim można odnotować od połowy XX wieku. Zaowocowało ono szeregiem monografii oraz artykułów głównie angielsko- i niemieckojęzycznych. Wtedy to zaczęły pojawiać się najbardziej znaczące prace, które wyznaczyły kierunki badań w latach późniejszych. Wśród bogatego materiału naukowego na pierwszy plan wysuwa się jedna z pierwszych angielskojęzycznych syntez literaturoznawczych pióra Richarda Gustafsona *The imagination of Springs. The poetry of Afanasy Fet*². Gustafson wprowadza interesującą klasyfikację wierszy Feta,

¹ Patrz: В. Жирмунский, *Композиция лирических стихотворений*, Петроград 1921; Б. Бухштаб, *А. Фет. Очерк жизни и творчества*, Ленинград 1974; Д. Благой, *Мир как красота (О Вечерних огнях А.А. Фета)*, Москва 1975; Л. Розенблюм, *А. Фет и эстетика чистого искусства*, „Вопросы литературы”, 2003, nr 2, s. 105–162.

² R. Gustafson, *The imagination of Springs. The poetry of Afanasy Fet*, Yale University Press, New Haven 1966.

dzieląc je na: lirykę opisową (*the descriptive lyric*), monologi adresowane (*the addressed monologue*) oraz poezję wyrozumowaną (*the poetry of Wit*)³. Te trzy modele liryków cechowała, zdaniem badacza, niezwykła obrazowość i plastyczność, a zarazem nowatorstwo, które zbliżało wiersze Feta do poezji Paula Verlaine'a. Gustafson wyprowadza rodowód poetycki Feta z poetyckiej tradycji zachodniej. W głoszonych przez rosyjskiego twórcę zasadach estetycznych oraz praktyce poetyckiej przejawia się, jego zdaniem, głęboka więź z nurtem poezji zachodniej XIX i XX wieku, reprezentowanej przez Wiliama Blake'a, Samuela T. Colridge'a, Novalisa, Charlesa Baudelaire'a i Thomasa Eliota. Odcięcie Feta od rosyjskiego procesu historycznoliterackiego nie przyczyniło się jednak, jak słusznie wspomina Jan Czykwin, do pogłębionych i odkrywczych wniosków⁴. Ewolucja poety, zdaniem angielskiego literaturoznawcy, dokonywała się poprzez walkę z tradycją romantyzmu, w wyniku której rodził się impresjonista. W poglądach na znaczenie i cel sztuki Fet, jak twierdzi badacz, podporządkowany jest myśli filozoficznej Schopenhauera.

Poglądy Gustafsona, który postrzegał Feta przede wszystkim jako poetę impresjonistę, głoszącego hasła estetyzmu w sztuce, zainteresowanego głównie tematami przyrody i miłości, wpłynęły znacząco na recepcję twórczości autora *Melodii* przez literaturoznawców zachodnich. Wyraźnie obrazują to opinie pojawiające się w ogólnych opracowaniach poświęconych historii literatury rosyjskiej.

I tak w *The reader's encyclopedia* William Rose Benet pisze, że po opublikowaniu wierszy w 1850 i 1856 r. ustaliła się reputacja Feta jako poety lirycznego, którego wiersze cechowała niezwykła melodyjność, zaś dominującymi tematami była przyroda i miłość⁵. Ostre i nieprzychylnie wobec poety stanowisko wiodących krytyków literackich 60. XIX wieku, którzy widzieli w jego lirykach jedynie przykład bezpłodnego hasła „sztuka dla sztuki” (*art for art's sake*), przyczyniło się do wycofania się autora *Diany* z działalności literackiej na blisko dwadzieścia lat.

Podobny sąd o przewadze tematyki miłosnej i pejzażowej w dorobku literackim Feta wygłasza Victor Terras w *Handbook of Russia literature*⁶. Dodaje także, że można w poezji rosyjskiego twórcy wyodrębnić grupę wierszy o charakterze refleksyjnym, filozoficznym. Podkreśla – w ślad za Gustafsonem – ostrość spojrzenia poety na świat i intensywność dostrzeganego piękna. Traktowanie

³ Tłumaczenia terminów zaproponowane zostały przez Jana Czykwina. Patrz: idem, *Afanasij Fet. Studium historycznoliterackie*, Białystok 1984, s. 128–129.

⁴ Ibidem, s. 128.

⁵ W. R. Benet, *The reader's encyclopedia*, New York 1967, s. 346.

⁶ V. Terras, *Handbook of Russia literature*, Yale University Press, New Haven – London 1985, s. 135–136.

przez Feta przyrody jako bytu ożywionego jest zdaniem tego krytyka kontynuacją tradycji romantycznej (np. w wierszach *Ивы и березы, На стоге сена ночью южной, Я долго стоял неподвижно*). Terras zwraca uwagę na nastrojowość i melodyjność liryków autora *Ogni wieczornych*. Sny, nieuchwytnie uczucia stanowią istotę poezji Feta i w połączeniu z melodyjnym brzmieniem wierszy tworzą półprzezroczyste, pełne światła i przestrzeni obrazy, które swą irracjonalnością miały inspirować w późniejszej epoce symbolistów. Angielski uczony wyodrębnia też grupę wierszy Feta naznaczonych piętnem schopenhauerowskiego pesymizmu.

Wpływ filozofii niemieckiego myśliciela na twórczość Feta stanowi główny punkt rozważań Sigrid Maurer, która w pracy *Schopenhauer in Russia: his influence on Turgenev, Fet and Tolstoy* przedstawia najważniejsze fakty z życia poety, wskazując, w jaki sposób jego predyspozycje psychiczne stały się podatnym gruntem dla myśli niemieckiego filozofa⁷. Według badaczki, filozofia Schopenhauera w pewien sposób systematyzowała rozważania i sądy poety, które wcześniej już ukształtowały się pod wpływem jego osobistych doświadczeń. Autor *Panteonu lirycznego* ucieleśniał bowiem ideał artysty, który w czystej kontemplacji znajduje ucieczkę od szarej, pełnej kłopotów egzystencji. Maurer podkreśla jednak, że poeta daleki był od schopenhauerowskiej negacji życia. Wedle jej słów, Fet kochał sztukę, a dopóki istniał choć jeden obiekt miłości, dopóty nie mógł odrzucić życia. Sztuka stanowiła centrum i odkupieńczą siłę jego życia.

Bez wątpienia estetyka Schopenhauera odcisnęła na Fecie swoje piętno, jednak zachował on odrębność i oryginalność, przepuszczając niejako owe idee filozoficzne przez pryzmat własnej osobowości. Jak słusznie konkluduje Jan Czykwin, analiza Sigrid Maurer jest nieco jednostronna, ponieważ badaczka pomija wpływ innych niemieckich filozofów (zwłaszcza Schellinga) na twórczość Feta⁸. Popularny w dziewiętnastowiecznej Rosji schellingianizm – przypomina T.J. Binyon – wiąże autora *Ja przyszedłem...* z Tiutczewem i Lermontowem oraz osadza rodowód poetycki w estetyce romantycznej⁹.

Z innej, nowatorskiej perspektywy tematykę filozoficzną utworów rosyjskiego poety naświetla ogłoszona w 1994 r. rozprawa Weroniki Shenshin. W pracy zatytułowanej *The metaphysical and poetical universe of A.A. Fet* amerykańska uczona skupia się na filozoficznych, ontologicznych i estetycznych

⁷ S. H. Maurer, *Schopenhauer In Russia: his influence on Turgenev, Fet and Tolstoy*, Michigan 1966.

⁸ Patrz: J. Czykwin, *Afanasij Fet. Studium historycznoliterackie*, Białystok 1984, s. 132.

⁹ T.J. Binyon, *Lermontow, Tjutschew and Fet*, [w:] *Nineteenth Century Russian Literature. Studies of ten Russian writers*, London 1973.

źródłach tekstów rosyjskiego poety¹⁰. Interesuje ją metafizyczny aspekt poezji, który wcześniej rzadko był przedmiotem badań rusycystów (zwłaszcza okresu sowieckiego), co stanowi też o wartości poznawczej jej pracy. Chrześcijańskie przekonanie o nieśmiertelności duszy jest, zdaniem Shenshin, stale obecne w poetyckich tekstach Feta, począwszy od wierszy z 1840 r. aż po ostatnie edycje *Ogni wieczornych* (1883/91). Autorka próbuje podważyć przekonanie wielu badaczy o ateizmie Feta, wskazując na takie jego wiersze, jak *III Боткину* czy *Хоругвь священную подъяв своей десной*, w których odnajduje treści religijne. Przebłyty intensywniej modlitwy dostrzega też w wierszach *Опять я затеплю лампаду*, *Когда кичливый ум* i *Чем далее я живу*. W odróżnieniu od wielu zachodnich i rosyjskich literaturoznawców podkreśla, że poeta był głęboko osadzony w kulturze rosyjskiej, ukształtowanej w dużej mierze przez tradycję prawosławia i stąd miała płynąć jego skłonność do sfery przeżyć duchowych. Fet, jak twierdzi Shenshin, poszukiwał piękna w kontemplacji tego, co wieczne, nieskażone złem świata, w modlitwie. Budował własny harmonijny poetycki wszechświat, w którym nie pojawia się typowa dla romantyków groza nocy czy okropność śmierci. Noc w lirykach autora *Diany* była nacechowana pozytywnie (na co wskazuje chociażby tytuł ostatniego tomu wierszy – *Ognie wieczorne*), w odróżnieniu od obrazów nocy nakreślonych przez Lermontowa, Tiutczewa lub Boratynskiego. Shenshin dostrzega w poetyckiej wizji Feta element metafizyczny, przejawiający się przede wszystkim w jego koncepcji czasu nieograniczonego ramami przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Podmiot liryczny może swobodnie poruszać się w tej czasoprzestrzeni, która zaciera granice pomiędzy światem widzialnym i niewidzialnym. Obrazują to takie wiersze, jak *Теперь*, *Никогда*, *Ночь майская*. Ładunek metafizyczny, niezwykła melodyjność, obfitość symboli (np. słońca i księżyca) cechujące poezję Feta zainspirowały, jak konkluduje uczona, twórców rosyjskiego symbolizmu (przede wszystkim Włodzimierza Sołowjowa, Konstantina Balmonta i Aleksandra Błoka).

Kolejnym ważnym zagadnieniem, wokół którego skupiają się zainteresowania badawcze zachodnioeuropejskich i amerykańskich rusycystów, jest warsztat twórczy Feta, budowa wiersza i charakter języka poetyckiego. Szczególny wkład do badań nad tym problemem wniosły prace duńskiego uczonego E. Egeberga¹¹,

¹⁰ W. Shenshin, *The Metaphysical and poetical universe of A. A. Fet*, Thesis, University of Illinois at Urbana, Champaign 1994, [online] <www.worldcat.org/title/metaphysical-and-poetical-universe-of-aa-fet/oclc/32554829&referer=brief_results>. Powyższa rozprawa doktorska, obroniona przez autorkę na Uniwersytecie Illinois, była podstawą jej książki pt. *A.A. Фет-Шеншин. Поэтическое мирозерцание*, Москва 2003.

¹¹ E. Egeberg, „Kjarligheten Har ord...”. *En studie i Afanasij Fets diktekunst*, Tromsø 1976; E. Egeberg, *A.A. Fet als Dichter der russischen Romantic*, „Scando-Slavica”, t. XIX, Copenhagen 1973.

niemieckiego badacza R.D. Keila¹² oraz szereg anglojęzycznych publikacji autorstwa m.in. A. Briggsa i R. Šilbajoris¹³. W tym kierunku prowadzone były również wieloletnie badania niemieckiej uczonej Emily Klenin¹⁴, których zwieńczeniem jest obszerna monografia zatytułowana *The poetry of Afanasy Fet* opublikowana w 2002 r.¹⁵

Klenin, podobnie jak jej poprzednicy, umiejscawia Feta w kontekście niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Opierając się na własnych doświadczeniach osoby, która z jednej strony wywodzi się z rodziny o korzeniach rosyjskich, z drugiej zaś wychowana została w środowisku kultury niemieckiej i języka niemieckiego, próbuje wyjaśnić specyficzny charakter bilingwizmu Feta. Owa swoista dwujęzyczność, mająca swój początek już w dzieciństwie poety (ojciec był Rosjaninem, matka Niemką), jest dla badaczki punktem wyjścia do rozważań na temat stylu i budowy jego wierszy. Interferencja dwóch niezwykle bogatych kultur, dwóch języków rzutowała – jak twierdzi rusycystka – zarówno na stronę formalną poezji Feta, jak i głoszone przez niego zasady estetyczne.

Zainteresowania poety oscylują wokół takich zagadnień jak uczucia, emocje, pamięć, świadomość, percepcja. Klenin próbuje wykazać, w jaki sposób procesy psychiczne, złożone stany świadomości znalazły swoje odzwierciedlenie w warstwie językowej jego utworów. Na podstawie wiersza *Diana* naświetla złożone interakcje pomiędzy percepcją, pragnieniem i odpowiedzią estetyczną. Zestawiając dwie wersje wiersza *Измучен жизнью*, bada relacje między pamięcią i zmysłami. Dowodzi, że Fet intuicyjnie rozumiał kruchość i różnorodność świadomości jednostki ludzkiej, potrafił z niezwykłą subtelnością prezentować emocje, poszukując nowych technik poetyckich. W mistrzowski sposób doświadczenie subiektywne, indywidualne przeradzało się w utworze Feta w doświadczenie zbiorowe.

¹² R.D. Keil, *Die Lyrik A.A. Fets. Versuch einer Wesenbestimmung*, Bonn 1955.

¹³ A. Briggs, *Annularity as a melodic principle in Fet's verse*, "Slavic Review" 1969 (28), nr 4, s. 591–603; A. Briggs, *The metrical virtuosity of Afanasy Fet*, "The Slavonic and East European Review" 1974 (52), nr 128, s. 355–365; R. Šilbajoris, *Dynamic elements in the lyrics of Fet*, "Slavic Review" 1967 (26), nr 2, s. 217–226.

¹⁴ E. Klenin, *Musicality in Russian and Polish Verse: Fet's Trochaic Tetrameter and Related Problems of Syllabotonic Versification*, [w:] *American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Sofia, September 1988*, t. I: *Literature*, ed. J. G. Harris, Columbus, Ohio, "Slavica" 1988, s. 219–239; *Rhyme and Word Frequency in a Group of Poems by Fet*, [w:] *Grammatik – Text – Sprachkunst*, Dem Wirken Rudolf Růžickas gewidmet, „Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Gesellschaftswissenschaften”, Jahrgang 1987, nr 15/G, Akademie-Verlag, Berlin 1988, s. 55–61; *On the Sources of Fet's Aesthetics of Music: Wackenroder, Schopenhauer, and Shevryev*, "Die Welt der Slaven" 1985 (30), nr 2, s. 319–344.

¹⁵ E. Klenin, *The Poetics of Afanasy Fet*, „Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte” 39, Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 2002.

Autorka przedstawia wnikliwe uwagi na temat dyskursu pomiędzy nadawcą i adresatem wiersza, dynamicznej interakcji między „uczestnikami tekstu”. „Poezja Feta – pisze Klenin – jest niezwykła nie tylko dzięki subtelności, z jaką twórca reprezentuje stany psychiczne, ale także dzięki temu, że wzbudza pewne stany mentalne w czytelnikach, którzy doświadczają tego tekstu...”¹⁶. Fetowskie tłumaczenia Goethego są jej zdaniem dowodem na to, że doświadczenia autora *Starych listów* związane z wersologią niemiecką zainspirowały go do stosowania dolnika. Autorka dokonuje statystycznego przeglądu praktyki wersyfikacyjnej, „klasycznych” form metrycznych, takich jak heksametr i werset daktyliczny, wyodrębnia też grupę przymiotników, które odgrywają kluczową rolę w sposobie obrazowania rosyjskiego poety.

Monografia pióra Emili Klenin, w nowatorski sposób ujmująca zagadnienia wersyfikacyjne liryków autora *Muzy*, nie jest jedyną pracą o Fecie, jaka powstała w ostatnim dziesięcioleciu. Badania nad warsztatem poetyckim Feta kontynuuje niemiecki uczony Stefan Schneider. W roku 2009 została opublikowana jego praca *An den Grenzen der Sprache: eine Studie zur „Musikalität” am Beispiel der Lyrik des russischen Dichters Afansij Fet*¹⁷. W tej obszernej rozprawie autor porządkuje materiał teoretycznoliteracki dotyczący związków pomiędzy muzyką i literaturą. Kontynuując dociekania Borysa Eichenbauma¹⁸, zastanawia się nad czynnikami decydującymi o melodyjności wiersza, sprawiającymi, że wiersz nazywamy „muzycznym, melodyjnym”. Wskazuje, że terminologia muzykologiczna często jest wykorzystywana przez badaczy literatury, nie ma jednak jednorodnej opinii w sprawie ich stosowania. Schneider proponuje własny oryginalny model terminologiczny, w którym identyfikuje muzykę jako zjawisko wyrażnie literackie. Jako materiał badawczy wybiera poezję Feta, często określaną terminem „muzyczna”. Poddaje szczegółowej analizie warsztat poetycki rosyjskiego liryka, weryfikuje różnorodne stanowiska wcześniejszych badaczy w kwestii budowy wierszy, odnajduje analogie do opisu poezji w muzyce. Opierając się na założeniach własnej metodologii, pokazuje, jak użyte w materiale poetyckim elementy leksykalne i nieleksykalne, zastosowanie powtórzeń i kontrast sprawiają, że strukturę tych wierszy można nazwać mistrzowsko precyzyjną.

¹⁶ Ibidem, s. 103 [tłum. – J. Dz.].

¹⁷ S. Schneider, *An den Grenzen der Sprache: eine Studie zur „Musikalität” am Beispiel der Lyrik des russischen Dichters Afanasij Fet*, Berlin 2009.

¹⁸ Б. Эйхенбаум, *Мелодика русского лирического стиха*, Петроград 1922.

Na tle badań zachodnich polska recepcja twórczości Feta przedstawia się dość skromnie. Mimo że poezja autora *Mglistego poranka*, jak można przypuszczać, jest znana polskim rusycystom, to prac poświęconych jego spuściznie literackiej jest stosunkowo mało. Ogólne informacje pojawiają się w opracowaniach zbiorowych poświęconych historii literatury rosyjskiej (np. pióra Barańskiego, Antoniego Semczuka, Bogusława Muchy). Fundamentalne miejsce zajmują artykuły Jana Czykwina oraz jego praca *Afanasij Fet. Studium historyczno-literackie*, skupiona przede wszystkim na teoretycznoliterackich aspektach interpretacji liryki Feta, wpisująca ją w ogólny historycznoliteracki kontekst epoki popuszkinowskiej. Na uwagę zasługuje także szereg artykułów Danuty Piwowarskiej poświęconych m.in. analizie synestezji poetyckiej, ekfrazy jako jednej z głównych cech stylu Feta¹⁹. Do interesujących wniosków w rozważaniach na temat rosyjskiej liryki romantycznej dochodzi Kazimierz Prus, który wśród liryków Feta odnajduje takie poetyckie gatunki nietradycyjne, jak fantazja, sen poetycki, modlitwa i miniatura²⁰.

Jak pokazuje zaprezentowany wyżej krótki przegląd materiałów naukowych poświęconych twórczości Feta, nie wszystkie aspekty jego liryki zostały przez badaczy zachodnioeuropejskich i amerykańskich jednakowo naświetlone. Przeważają prace dotyczące warsztatu poetyckiego twórcy, zgłębiające styl i wersyfikację, próbujące wykazać związek rosyjskiego poety z zachodnioeuropejską literaturą i filozofią (zwłaszcza niemiecką). I w tych aspektach wnoszą one nowe wartości poznawcze i naukowe. Niewielu uczonych dotyka jakże istotnej kwestii – roli Feta w rosyjskim procesie historycznoliterackim, jego znaczenia w ostrej polemice prowadzonej przez pisarzy i krytyków literackich w latach 60. XIX wieku. Wypowiedzi zachodnich rusycystów na temat poezji autora *Diany* mają charakter wielopłaszczyznowy, ale raczej pogłębiają te zagadnienia, które wcześniej zostały zasygnalizowane przez literaturoznawców rosyjskich. Podsumowując: zarówno w zachodnich, jak i polskich badaniach spuścizny literackiej Feta istnieje wiele luk, które mogą stanowić pola badawcze dla nowych pokoleń literaturoznawców.

¹⁹ D. Piwowarska, *Ekphrasis w poezji Afanasija Feta*, [w:] *Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łuźnego*, t. IV, red. J. Kapuścik, Kraków 2002; D. Piwowarska, *Федор Тютчев и Афанасий Фет. История поэтических связей*, [w:] *Тютчевский сборник. К двухсотлетию со дня рождения поэта*, red. D. Piwowarska, W. Szczukin, Kraków 2004.

²⁰ K. Prus, *Rosyjska liryka romantyczna. Gatunki nietradycyjne*, Rzeszów 2009.

Резюме*Афанасий Фет в западной критике*

В статье оговариваются главные, по мнению автора, направления в западных исследованиях творчества Афанасия Фета, такие как изучение версификации, специфики поэтического языка, связь русского поэта с литературной и философской традицией Запада (прежде всего с поэзией французских символистов и импрессионистов, а также с доктриной Шопенгауэра).

Summary*Afanasz Fet in Western studies*

The article described the principal (in author's opinion) trends in Western studies of creativity Afanasz Fet, such as versification, specificity of poetic language, the relationship the Russian poet with literary and philosophical tradition of the West (especially the poetry of the French symbolists and impressionists, as well as with the doctrine of Schopenhauer).

Małgorzata Kurianowicz
Białystok

Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej*

Periodyzacja Biblii słowiańskiej często odbywa się na zasadzie przeciwstawienia sobie dwóch okresów: okresu Biblii rękopiśmiennej oraz okresu Biblii drukowanej¹. Jednak, jak stwierdza rosyjski historyk literatury staroruskiej i kulturoznawca D. Lichaczew: „Historia książki jest jedna. Nie może być ona rozbita na dwie odrębne historie”². Twierdzenie to znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w dziejach samych tekstów. Teksty rękopiśmienne i drukowane nie tylko doskonale współistniały w jednej księdze, ale bardzo często przenikały się, a ich rozwój przebiegał w ścisłej harmonii. Przykładem takiej symbiozy jest m.in. drukowana Biblia Ostrogska (1581), w której odnaleźć można liczne rękopiśmienne uzupełnienia naniesione ręką późniejszych właścicieli czy też samych czytelników. Według E.L. Niemirowskiego, książka drukowana z rękopiśmiennymi uzupełnieniami jest jednym z etapów na drodze prowadzącej do supremacji drukarstwa³. Tak więc podejmując temat historii drukowanej Biblii w państwie moskiewskim, nie można pominąć wpływu tradycji ksiąg rękopiśmiennych, gdyż dzieje drukowanego Pisma Świętego są z nią nierozzerwalnie związane.

Władze cerkiewne od dawna podejmowały próby korekty ksiąg cerkiewnych. Jak ilustruje to arcybiskup Filaret (Gumilewskij), zarówno metropolita Aleksy (1293/8–1378)⁴, metropolita Cyprian (1376–1406)⁵, jak i arcybiskup

* Niniejsza publikacja finansowana jest ze środków MNiSW na naukę (projekt badawczy nr N N104 0577438).

¹ Podział taki przeprowadza w swojej pracy m.in. R. Curkan, zob. Р. Цуркан, свящ., *Славянский перевод Библии. Происхождение, история текста и важнейшие издания*, Санкт-Петербург 2001, s. 141.

² Д. С. Лихачев, *Задачи изучения связи рукописной книги и печатной*, [w:] *Рукописная и печатная книга*, Москва 1975, s. 3.

³ O powiązaniach tekstu rękopiśmiennego i drukowanego zob. Е. Л. Немировский, *Иллюминированный экземпляр Острожской Библии 1581 г. с рукописными дополнениями*, Труды Отдела древнерусской литературы, 1985, t. 38, s. 439–450.

⁴ Филарет (Гумилевский), архиеп., *Обзор русской духовной литературы. 862–1720*, Харьков 1859, s. 101–105.

⁵ Ibidem, s. 110–114.

nowogrodzki Genadiusz (1484–1504)⁶ włożyli wiele trudu i troski w to, aby przywrócić księgom ich pierwotny stan. Szczególne zasługi należy przypisać arcybiskupowi Genadiuszowi. Bez wątpienia za epokowe wydarzenie w historii słowiańskiej Biblii można uznać pojawienie się w 1499 r. w Nowogrodzie pierwszego pełnego przekładu Pisma Świętego na język cerkiewnosłowiański (tzw. Biblii Genadiusza). Bodźcem do jego powstania była zagorzała walka nowogrodzkiego arcybiskupa z heretykami⁷. Wprawdzie do tego czasu na Rusi pojawiały już tłumaczenia poszczególnych ksiąg Pisma Świętego⁸ (w następującej kolejności: Ewangelie, Apostoł, Psalterz, następnie kanoniczne księgi Starego Testamentu, księgi deuterokanoniczne⁹ i Apokalipsa), jednak nie istniał ani jeden rękopis, który zawierałby wszystkie te księgi połączone w całość¹⁰. Teraz Ruś otrzymała pełny rękopiśmienny tekst Biblii.

W pracach nad przekładem Biblii oprócz metropolity Genadiusza uczestniczył m.in. dominikanin Benjamin „z urodzenia Słowianin, ale z wyznania łacinik”¹¹ – Dymitr Gierasimow, który zajmował się on przekładem z łaciny oraz tłumaczeniem przedmów. W związku z takim składem osobowym niektórzy badacze, m.in. I.E. Ewsiejew i J.S. Lurie¹², dostrzegają w tym przedsięwzięciu „rezultat wyznaniowego nacisku Rzymskiej Cerkwi”¹³. W swoich wywodach I.E. Ewsiejew idzie dalej argumentując, iż Benjamin przybył do Nowogrodu

⁶ Ibidem, s. 156–160.

⁷ A. A. Алексеев, *Текстология славянской Библии*, Санкт-Петербург 1999, s. 372–373.

⁸ Według autorów *Słownika encyklopedycznego* oddzielne księgi Biblii w języku cerkiewnosłowiańskim istniały już w XIII w. – zob. *Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона в 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами*, ред. И. Е. Андреевский, К. К. Арсеньев, Ф. Ф. Петрушевский, Санкт-Петербург 1890–1907, [online] <www.vehi.net/brokgauz/index.html>.

⁹ Jest to grupa ksiąg i części ksiąg Starego Testamentu, które nie zostały włączone do żydowskiego kanonu Pisma Świętego, a znajdują się we wczesnych przekładach chrześcijańskich – zob. P.J. Achtemeier, *Encyklopedia Biblijna*, Warszawa 2004, s. 40–43.

¹⁰ *Энциклопедический Словарь*, [online] <www.vehi.net/brokgauz/index.html>. W momencie, gdy powstawała Biblia w przekładzie Genadiusza, podejmowane były też inne próby mające na celu zebranie wszystkich ksiąg w jedną. Efektem tych działań był rękopis moskiewskiego kopisty Iwaszki Czornowo oraz *Kodeks Supraski* (1502–1507). Zob. A.A. Алексеев, op. cit., s. 377; B.A. Ромодановская, *О целях создания Геннадиевской библии как первого полного русского библейского кодекса*, [w:] *Книжные центры древней Руси. Северорусские монастыри. Сборник статей*, Санкт-Петербург 2001, s. 278–305; P. Цуркан, свящ., op. cit., s. 181–182.

¹¹ Филарет (Гумилевский), архиеп., op. cit., s. 161.

¹² Zob. B.A. Ромодановская, *Геннадиевская Библия: борьба с жидовствующими или католическая экспансия? О целях создания полного библейского кодекса*, [w:] *Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира. К 500-летию Геннадиевской Библии*, Москва 2001, s. 50–52, przypis 11.

¹³ Ibidem; B.A. Ромодановская, op. cit., s. 278–305; zob. także A.A. Алексеев, op. cit., s. 372–373.

w celu szerzenia „propagandy katolicyzmu przy pomocy księgi”¹⁴. Według niego pierwszym zwycięstwem katolicyzmu na rdzennie prawosławnych ziemiach było wprowadzenie do kanonu Pisma Świętego niekanonicznych ksiąg przetłumaczonych przez Benjamina. Samo tłumaczenie zostało sporządzone m.in. na podstawie łacińskiej Wulgaty, teksów greckich oraz hebrajskich.

Drobne prace nad tekstem Pisma Świętego trwały aż do 1504 r., do momentu odejścia z katedry metropolity Genadiusza. Zainteresowanie Biblią jako kodeksem ksiąg wzrosło dopiero w drugiej połowie XVI wieku¹⁵. To właśnie z tym XV-wiecznym rękopiśmiennym przekładem Pisma Świętego najsilniej związane są początki drukowanej Biblii słowiańskiej w całym państwie ruskim.

Wprowadzenie drukarstwa w Wielkim Księstwie Moskiewskim przypada na połowę XVI wieku i obejmuje epokę Iwana Groźnego (1530–1584). W rozpowszechnieniu drukowanych ksiąg cerkiewnych, wolnych od błędów i regionalnych odmian tekstu widział on jeden ze środków zmierzających do centralizacji władzy w państwie¹⁶. Również Sobór Stogławy w 1551 r. zwrócił uwagę na wypaczenia w świętych księgach wynikłe z błędów popełnianych przez niepiśmiennych kopistów. Przyłączenie nowych ziem zamieszkałych przez pogańskie narody zapoczątkowało chrystianizację tych terenów. Do tego jednak potrzebne były księgi, zaś otworenie oficyny miało dostarczyć ksiąg w większej ilości, poprawionych, zgodnych z tradycją i oryginałem¹⁷. Do tej pory zapotrzebowanie to zaspokajali mnisi i zawodowi pisarze, którzy wykonane przez siebie rękopisy sprzedawali na specjalnie do tego celu przeznaczonych bazarach i z tego się utrzymywali. To właśnie ten silnie rozwinięty na Wschodzie przemysł książki rękopiśmiennej według H. Szwejkowskiej był jedną z przyczyn tak wielkiego opóźnienia drukarstwa w państwie moskiewskim¹⁸.

W 1547 r. zapoczątkowane zostały starania zmierzające do sprowadzenia do kraju biegłych w sztuce drukarskiej cudzoziemców. Swoją wrota car skierował w stronę Niemiec i Danii. Gdy nie dało to oczekiwanych rezultatów, poszukiwania rozpoczęto wśród mistrzów rodzimych¹⁹. W 1553 r. powołano do życia pierwszą oficynę drukarską w północno-wschodniej Rusi. Działała ona w latach 1555–1568 w Moskwie. Pierwszymi drukarzami tej anonimowej typografii zostali najprawdopodobniej Marusza Niefiedjew oraz Wasiuk Nikiforow. Do chwili obecnej

¹⁴ И. Е. Евсеев, *Геннадиевская Библия 1499 г.*, Москва 1914, s. 15.

¹⁵ В.А. Ромодановская, *op. cit.*, s. 278–305.

¹⁶ *Historia literatury rosyjskiej*, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976, s. 113–114.

¹⁷ M. Heller, *Historia Imperium Rosyjskiego*, Warszawa 2005, s. 149.

¹⁸ H. Szwejkowska, *Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny*, Wrocław – Warszawa 1987, s. 253.

¹⁹ *Ibidem*.

badaczom udało się ustalić, iż tylko 6 z niektórych ksiąg powstałych w tamtym czasie, a mianowicie: 3 ewangeliarze, 2 psalterze oraz 1 triod postny wyszły z tej oficyny²⁰. Historia działalności wydawniczej tej pionierskiej drukarni kryje w dalszym ciągu wiele zagadek.

Pierwsza w Moskwie udokumentowana oficyna, założona w 1563 r. „na polecenie dostojnego cara i wielkiego księcia Iwana Wasiljewicza całej Rusi”²¹, była prowadzona przez diakona Iwana Fiedorowa oraz jego współpracownika Piotra Mścisławca. Poza tym w XVI wieku w Moskwie pracowało kilku prywatnych drukarzy, np. Nikifor Tarasjew i Andronik Niewieża (syn Piotra Mścisławca), którzy prowadzili własne typografie. Wszystkie te cztery oficyny: drukarnia anonimowa (1555–1568), drukarnia Iwana Fiedorowa i Piotra Mścisławca (1563–1565), typografia Nikifora Tarasjewa (1568) oraz Andronika Niewieży (1587–1602) zajmowały się wyłącznie wydawaniem ksiąg w języku cerkiewnosłowiańskim. Były to zazwyczaj teksty niezbędne do wykonywania czynności liturgicznych czy też sprawowania sakramentów. Ostatecznie typografie te wydały wspólnie 22 księgi. Niestety pełnego wydania Biblii cerkiewnosłowiańskiej wśród tych pozycji nie odnajdziemy.

W XVII wieku na terenie samej Moskwy istniała już tylko jedna oficyna – tzw. Pieczatnyj Dwor (1614–1721), przemianowany później na Typografię Synodalną (1721–1917). Była to instytucja państwowa, zatrudniającą miejscowych drukarzy. Skoncentrowanie działalności wydawniczej w stolicy pod czujnym okiem cara i patriarchy miało służyć ujednoliceniu tekstów liturgicznych, od wieków zniekształcanych przez kopistów. W XVII wieku wydała ona łącznie 666 pozycji²². To, co charakteryzowało druk moskiewski, to wzorowany na rękopiśmiennych zabytkach zdobniczy styl i technika druku dwubarwnego²³ oraz posłowie umieszczane na końcu księgi. Wraz z pojawieniem się drukarstwa wzrosło też znaczenie *книжной sprawy*, tj. rewizji ksiąg cerkiewnych, w tym cerkiewnosłowiańskiego tekstu Biblii. Jednak pomimo tytuł oficyn działającym

²⁰ Ibidem, s. 255, a także *История книги. Учебник для вузов*, ред. А.А. Говоров, Т. Г. Куприянова, 2001, [online] <www.hi-edu.ru/e-books/HB/12-1.htm>.

²¹ Cyt. za A. Naumow, *Teologiczny aspekt druku (na materiale najstarszych wydań cerkiewnosłowiańskich)*, [w:] *Рękopis a druk. Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Materiały z sesji. Kraków 7–10 XI 1991*, Kraków 1993, s. 79–91.

²² A. Bolek, *Ogólna charakterystyka druków moskiewskich XVI–XVII wieku*, [w:] *Рękopis a druk. Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Materiały z sesji. Kraków 7–10 XI 1991*, Kraków 1993, s. 201–210.

²³ Najpierw cały skład pokrywano farbą czarną, a następnie części, które miały być koloru czerwonego, ścierano i pędzlem lub małymi wałeczkami pokrywano farbą czerwoną. Na koniec wszystko za jednym razem odbijano w prasie – zob. H. Szwejkowska, op. cit., s. 255.

w XVI wieku, Ruś Moskiewska nie doczekała się pełnego wydania tekstu Nowego Testamentu²⁴. Co więcej, zarówno w wieku XVI, jak i w XVII w atmosferze burzliwych sporów wokół korekty i rewizji ksiąg świętych nie odważono się na wydanie zweryfikowanego pełnego tekstu Pisma Świętego. Nasuwa się pytanie: dlaczego? Przecież zaplecze drukarskie, zapotrzebowanie na Biblię i możliwość zbytu stwarzały doskonale ku temu warunki. Próby niewątpliwie były podejmowane. Wystarczy wspomnieć metropolitę Cypriana, Maksyma Greka, patriarchę Filareta czy też Nikona.

Przyczyn mogło być kilka. Po pierwsze – jak wspomniano już wcześniej – silnie rozwinięta tradycja rękopiśmienna hamowała w pewnym stopniu rozwój drukarstwa, a tym samym powstanie pełnego, drukowanego kodeksu Pisma Świętego. Po drugie – dużą przeszkodę stanowiła cenzura carska i cerkiewna, o wiele silniejsza w Wielkim Księstwie Moskiewskim niż przykładowo na terenie południowo-zachodniej Rusi, gdzie teksty drukowane były w kilku kulturowych centrach (Lwowie, Wilnie, Ostrogu), a władze cerkiewne nie zawsze miały w nie wgląd. Na terenie Rusi Moskiewskiej centralizacja drukarstwa i cenzura powodowały niekończące się spory co do normalizacji tekstu oraz sprawiały, że droga do wypracowania konsensusu była dłuższa, trudniejsza, a tym samym oddalała w czasie powstanie pełnej wersji Biblii. Po trzecie – niewątpliwie dużą rolę odegrał strach władz przed reakcją ludzi na wprowadzane zmiany. Wierni byli przyzwyczajeni do świętej tradycji przekazywanej w Piśmie Świętym z pokolenia na pokolenie. Dlatego też każda zmiana wniesiona do tekstu mogła pociągnąć za sobą nieobliczalne dla Cerkwi skutki. Jak pokazała historia, rzeczywiście doszło później do rozłamu (tzw. *раскол*), który podzielił Cerkiew prawosławną na stulecia (pojawienie się „staroobrzędowców”).

Czynnikiem blokującym powstanie pełnego kodeksu Pisma Świętego w państwie moskiewskim mógł też być konserwatyzm języka tekstów z terenu wschodniej Rusi, tj. nowogrodzkich i moskiewskich. W odróżnieniu od korektorów zachodnich, którzy starali się wprowadzać do Biblii elementy języka rodzimego²⁵ oraz skolacjonować tekst cerkiewnosłowiańskiej Biblii z oryginałem greckim w nowym, europejskim (najczęściej weneckim) wydaniu, ignorując praktycznie rodzime księgi rękopiśmienne, korektorzy moskiewscy nie uznawali autorytetu Greków²⁶ i za podstawę do tłumaczeń przyjęli „stare”, „prawidłowe”

²⁴ A. Bolek, op. cit., s. 201–210.

²⁵ И. Е. Евсеев, *Очерки по истории славянского перевода Библии* (1916), [online] <http://bibliapologet.by.ru/statii/Slav_b.htm>.

²⁶ Grecy znajdowali się pod jarzmem tureckim.

przekłady z greki, tj. słowiańskie teksty rękopiśmienne²⁷. Wszystko to spowodowało, że po raz pierwszy wydana w Moskwie w 1663 r. Biblia była w dużym stopniu przedrukiem Biblii Ostrogskiej (1581), powstałej właśnie na terenie południowo-zachodniej Rusi. Nie było to wydanie zadowalające ani z punktu widzenia teologii, ani też języka. Rewizja ograniczyła się jedynie do zastąpienia przestarzałych słów i zwrotów nowszymi oraz wprowadzenia poprawek ortograficznych.

Liczne uchybienia (ros. *погрешности*), m.in. niedokładność tłumaczenia, opuszczenie niektórych wyrazów i całych wersetów biblijnego tekstu, dodanie wyrazów i zwrotów, których nie było w greckim wzorcu oraz pomieszanie kolejności biblijnych tekstów, sprawiły, iż dziesięć lat później, za czasów patriarchy Joachima (1674–1690) na soborze w 1673 r. postanowiono przetłumaczyć „Библію всю вновь Бетхій ѿ Новаго Завѣта съ книгъ греческихъ”. W tym celu do Moskwy przyjechał absolwent Akademii Kijowskiej Epifaniusz Sławinieckij. Przed śmiercią zdążył on wraz z powołaną przez siebie „komisją biblijną” ukończyć Pięcioksiąg oraz Nowy Testament (1673–1674)²⁸. Rewizja przekładu dokonana została m.in. na podstawie europejskiego wydania Septuaginty (Frankfurt, 1597 r., Londyn 1587 i 1600 r.), tzw. Czudowskiego Nowego Testamentu (XIV w.) autorstwa metropolity Aleksego (1293/8–1378) oraz Ewangeliarza z 1383 r. W przedmowie Epifaniusz Sławinieckij szczegółowo przedstawił cel swojej pracy i wskazał, w czym tkwi niedoskonałość moskiewskiego wydania Biblii z 1663 r.: „В Славянской Библии премногая суть прегрешения в речениях и разумении, не от хитрости, но от простоты и неведения, и несогласие величайшее с еллинского Седмдесятих преводников. Грех великий есть нам славеном [...] и укоризна и безчестие крайнее от иностранных народов, яко не имамы Библии добре переведенныя, паче же в священном Евангелии премногая суть погрешения”²⁹. Dlatego też dokonując korekty starał się, aby słowiańskie tłumaczenie w sposób dosłowny odzwierciedlało grecki oryginał. Pośrednikiem w przekazaniu tych greckich wzorców był język cerkiewnosłowiański w swojej południowej (kijowskiej) odmianie,

²⁷ W praktyce rewizja odbywała się nie na podstawie greckich tekstów, a w oparciu o południowo-zachodnie wydania tych ksiąg Por. M.A. Бобрик, *Представления о правильности текста и языка в истории книжной sprawy в России (от XI до XVIII в.)*, „Вопросы языкознания” 1990, nr 4, s. 61–85.

²⁸ Po śmierci E. Sławinieckiego prace nad *Nowym Testamentem* były kontynuowane w latach 1678–1679 przez nowo powołaną komisję. Szerzej na temat zmian wprowadzonych przez E. Sławinieckiego zob. T.A. Исаченко, *Новый Завет „Перевода и стяжания” иеромонаха Чудова монастыря Епифанія (Славинецкого) после трети XVII в.*, „Вопросы языкознания” 2002, nr 4, s. 73–92.

²⁹ Cyt. za: И. Е. Евсеев, *Очерки по истории...*

który znał i którym posługiwał się sam Epifaniusz Sławiniecki³⁰. „Основной герменевтический принцип [...] (так называемый «буквализм») непосредственно вытекает из ситуации, заданной, с одной стороны, полемикой со старообрядцами, с другой – с латинствующими и протестантствующими [...]. Переводчикам предстояло дать новое толкование местам, превратно толкуемым старообрядцами (то есть оказаться в следовании греческим подлинникам более точными их интерпретаторами, чем сами начетчики-старообрядцы). С другой стороны, эта чрезвычайная (и, к сожалению, даже чрезмерная) степень точности была необходима для обличения «неправильности» (а значит и несправедности) новых западных переводов»³¹.

W rezultacie rewizyjnej działalności Epifanusza Sławinieckiego i jego współpracowników język cerkiewnosłowiański moskiewskiej redakcji uległ znacznym zmianom: po pierwsze – przybliżył się do językowej normy południowo-zachodniej Rusi, po drugie – uległ greycyzacji³² i po trzecie – w związku z tym, iż język cerkiewnosłowiański Rusi Moskiewskiej poprawiany był zgodnie z opisami języka cerkiewnosłowiańskiego, ujmującymi w reguły gramatyczne cerkiewszczyznę w południowej odmianie, rewizja ksiąg przyjęła czysto gramatyczny charakter. Pomimo iż przedsięwzięcie to nie było pod względem językowym do końca udane (błędy wcześniejszych pokoleń nie zostały poprawione)³³, pod koniec XVII wieku tłumaczenia Epifanusza Sławinieckiego i jego pomocników były uważane za wzorcowe i stawiane na równi z przekładem tzw. Czudowskiego Nowego Testamentu i z pracami Maksyma Greka.

Wiek XVIII niewiele zmienił w moskiewskiej drukarni. Wprawdzie oficynę opuściło prawie dwa razy więcej pozycji niż w wieku XVII – 1376 ksiąg, to trzon wydań nadal stanowiły księgi liturgiczne (67,5%)³⁴. Teksty o charakterze świeckim nieprzerwanie pozostawały poza obszarem zainteresowań drukarzy

³⁰ Б.А. Успенский, 2002, *op. cit.*, s. 420; М.А. Бобрик, *op. cit.*, s. 61–85. Oddziaływanie południowo-zachodniej tradycji uwidoczniło się w obszarze ortografii i ortopeii, a grecki wpływ zauważalny jest przede wszystkim na płaszczyźnie składni i częściowo morfologii. Zob. *ibidem*, s. 437.

³¹ Т.А. Исаченко, *Московская книжность XVI–XVII вв.: переводческая школа митрополичьего и патриаршего скриптория. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук*, Москва 2009, s. 20.

³² Należy tu zaznaczyć, iż w odróżnieniu od „drugiego wpływu południowosłowiańskiego”, którego efektem była greycyzacja i archaizacja języka, „trzecia fala wpływów” zaowocowała przede wszystkim greycyzacją wprowadzoną przez zwolenników patriarchy Nikona. Archaizacja została zachowana przez старообрядców, którzy nie przyjęli reform i nawoływali do zachowania starych obrzędów. Zob. Б.А. Успенский, 2002, *op. cit.*, s. 412.

³³ И. Е. Евсеев, *Очерки по истории...*

³⁴ А. Бolek, *op. cit.*, s. 201–210.

Typografii Synodalnej. Za osiągnięcie można natomiast uznać pojawienie się w 1708 r. pierwszego całościowego w państwie moskiewskim wydania Nowego Testamentu, które do końca wieku doczekało się aż 17 edycji³⁵. Najważniejszym wydarzeniem było jednak ukazanie się w Petersburgu w 1751 r. tzw. Biblii Elżbietańskiej. Prace nad tym przekładem zostały zapoczątkowane jeszcze za czasów Piotra I, kiedy to w 1712 r. powołano pierwszą (z siedmiu) komisję ds. korekty Pisma Świętego. Egzemplarze nowej Biblii rozeszły się bardzo szybko, w związku z czym postanowiono wznowić nakład. Jednak nie chodziło o mechaniczne powielenie pierwszego wydania. W celu udoskonalenia tekstu Święty Synod ponowną rewizję tekstu zlecił Gedeonowi Słonińskiemu. W 1754 r. przedstawił on ujawnione „типографские погрешности, речения, неправильные въ грамматическомъ сочетания, или непонятные по своей неупотребительности”³⁶. Następnie Warłaam Laszewskij zestawiał wskazane miejsca z greckim oryginałem. Niektóre z tych zmian zostały naniesione bezpośrednio do tekstu, inne umieszczono na marginaliach. To poprawione wydanie rewizji ukazało się w Moskwie w 1756 r. wprawdzie bez przedmowy, ale z licznymi, umieszczonymi przy każdej księdze „kunsztami” (ukr.), tj. rysunkami. Niestety nie zaspokoilo ono zapotrzebowania na Biblię. W dalszym ciągu, co potwierdza w swojej wypowiedzi P. W. Znamienski: „Вместо славянской Библии в семинариях употреблялась более доступная, хотя тоже довольно редкая, латинская Вульгата; пользование ею было тем удобнее, что и лекции и оккупации (учебные занятия) по богословию были на латинском же языке”³⁷.

Słowiańska Biblia nadal stanowiła rzadkość, praktycznie niedostępną i nie zawsze zrozumiałą³⁸ nie tylko dla prostych, ale również i duchownych osób, zbyt drogą dla seminaryjnych bibliotek. Nic więc dziwnego, że nie było mowy o studiowaniu czy też czytaniu Pisma Świętego tak wśród słuchaczy seminariów, akademii, jak i samego duchowieństwa. Oprócz niedużego nakładu kolejnym czynnikiem zaporowym w rozpowszechnieniu nowej rewizji Biblii była cena. W sumie w latach 1751–1814 została ona opublikowana 22 razy.

Podsumowując, można stwierdzić, iż proces powstawania pierwszego drukowanego wydania Biblii w języku cerkiewnosłowiańskim na terenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego był złożony i długotrwały. Chociaż to Ruś południowo-zachodnia jako pierwsza wydała w Ostrogu pełną wersję Biblii słowiańskiej,

³⁵ Ibidem.

³⁶ И.А. Чистович, *Исправление текста славянской Библии перед изданием 1751 года*, Москва 2006, s. 510.

³⁷ Cyt. za: Б.А. Тихомиров, *Метаморфозы славянской Библии*, „Вода живая” 2007, nr 10, s. 59–63.

³⁸ Teksty sprzed 1751 r. nie zawierały podziału na wersety, co znacznie utrudniało ich odbiór.

to również powstały prawie sto lat wcześniej na terenie północno-wschodniej Rusi pierwszy rękopiśmienny kodeks Pisma Świętego, tzw. Biblia Genadiusza, wywarł ogromny wpływ na wszystkie wydania słowiańskiej Biblii. Tak więc proces formowania się drukowanej wersji Pisma Świętego w państwie moskiewskim przechodził na linii: rękopiśmienna Biblia Genadiusza (1499) – Biblia Moskiewska (1663) – Biblia Elżbietańska (1771) z szerokim wykorzystaniem tłumaczenia powstałego na terenie południowo-zachodniej Rusi – Biblii Ostrogskiej (1581).

Резюме

История печатания славянской Библии в Московской Руси

В данной статье прослеживается история старопечатной церковнославянской Библии в Северо-Восточной Руси. Автор пытается найти ответ на вопрос почему это государство, несмотря на удобные обстоятельства (печатная база, спрос на Библию, возможность продажи), не было в состоянии первым напечатать славянский текст Библии.

Summary

Slavic translations of the printed Bible in The Grand Duchy of Moscow

The article deals with the history of translation of the printed Bible into Church Slavic language in The Grand Duchy of Moscow. The first complete manuscript collection of Biblical books in the Church Slavic language was completed in The Grand Duchy of Moscow in 1499 under the auspices of Archbishop Genady of Novgorod (1484–1504). However, the first printed Bible appeared not in The Grand Duchy of Moscow but in south-west Rus – Ostrog Bible (1581). The first printed Bible from The Grand Duchy of Moscow was just reprinted from Ostrog Bible in 1663. The article is the attempt to analyze reasons why the first printed Church Slavic Bible did not appear in The Grand Duchy of Moscow.

Irena Matus
Białystok

Wokół problematyki kasacji unii kościelnej w latach 30. XIX wieku w obwodzie białostockim (od unickiego parocha do prawosławnego duchownego)

Około połowy lat 30. XIX wieku rozpoczął się proces intensywnych zmian w Cerkwi unickiej, prowadzących ostatecznie do kasacji unii i restytucji prawosławia. Objęły one także duchowieństwo unickie wszystkich szczebli. Zlikwidowano łacińską godność kanonika, wprowadzając tytuł *protojereja* zgodnie z obrządkiem wschodnim. Zmieniono również zasady udzielania święceń kapłańskich – drukowane *gramoty* w języku cerkiewnosłowiańskim (wzorowane na tych, jakie otrzymywało prawosławne duchowieństwo rosyjskie z małą, ale konieczną dla unitów modyfikacją) zastąpiły tzw. format o wyświęceniu w języku polskim i po łacinie. W tekście przysięgi składanej przy mianowaniu na proboszcza deklarację wierności papieżowi zmieniono na wierność cesarzowi. Wprowadzono system nagradzania kleru zgodnie z hierarchią wschodnią. Zmiany objęły także szaty liturgiczne. Zakazano zakładania komż. Polecono duchownym nabyć szaty liturgiczne według obrządku wschodniego bądź dokonać przeóbek dotychczasowych ornatów, dalmatyk i kap. Nie ingerowano natomiast w strój codzienny kapłanów.

Część duchownych unickich zawierała związki małżeńskie z katoliczkami. W tej sytuacji także ślub często odbywał się w obrządku żony. Praktykowano zasadę, by córki z matką wyznawały katolicyzm, a synowie byli unitami. W myśl reformy sytuacja taka była niewygodna i wręcz nie do przyjęcia. W 1837 r. zakazano udzielania święceń kapłańskich osobom, które wstąpiły w związki małżeńskie z katoliczkami. Jednocześnie kobietom z rodzin duchownych zezwolono przejść na wyznanie unickie, jednak nie stosowano przymusu.

Podstawowym źródłem utrzymania kleru unickiego była posiadana przez cerkiew ziemia funduszowa. W środowisku mieszanym pod względem wyznaniowym sytuację materialną kapłana mogła poprawić płacona przez parafian dziesięcina. W 1828 r. Senat wydał rozporządzenie w sprawie podziału dziesięciny pomiędzy księży rzymskokatolickich i unickich. Po kasacji unii duchownych

równano w prawach z klerem prawosławnym. Otrzymali oni początkowo zapomogę, a następnie stałe uposażenie. Teoretycznie kler unicki stali się prawosławni w 1839 r., lecz w praktyce proces ten trwał jeszcze wiele lat.

Należy przypomnieć, że wcześniej, tj. do połowy lat 30. XIX wieku, Cerkiew unicka w obwodzie białostockim¹ przechodziła daleko posunięty proces latynizacji, który nasilił się po soborze zamojskim. Dotyczył on nabożeństw, dogmatyki, wystroju i wyposażenia świątyń oraz wielu innych zmian, w tym szat liturgicznych, stroju noszonego na co dzień i ogólnie wizerunku kleru unickiego. W stylu łacińskim odbywały się święcenia diakońskie i kapłańskie. Zdarzało się, że żony i córki duchownych unickich oraz służby cerkiewnej wyznawały rzymski katolicyzm. W niektórych parafiach unicy wnosili dziesięcinę, ale nie zawsze trafiała ona do rąk ich kapłanów.

W obwodzie białostockim, leżącym na pograniczu etnicznym i religijnym, latynizacji towarzyszył proces polonizacji grekokatolików. Wyraźnie zmalała granica dzieląca unitów i rzymskich katolików. W tej sytuacji określanie unitów mianem grekokatolików jest trafne, choć ich pozycja była drugoplanowa. Unicy to potomkowie dawnej ruskiej ludności prawosławnej. Katolicy nie praktykowali zmiany wyznania na unickie.

Wraz ze wspomnianym procesem w znacznym stopniu z nabożeństw był wypierany język cerkiewnosłowiański, a pojawiała się łacina. Język polski² stał się językiem komunikacji, poczynając od domu rodzinnego poprzez szkołę³ i posługę duszpasterską. Kler unicki się polonizował. Przyszli księża zdobywali przygotowanie teologiczne w tym samym seminarium co i alumni rzymskokatoliccy⁴. Również w niższych szkołach duchownych językiem wykładowym stał się język polski. W tej sytuacji alternatywą dla kleru unickiego była miejscowa gwara, jaką posługiwali się chłopci. Postrzegano ją jednak jako mowę gorszą – język ludu.

W realiach społeczeństwa stanowego i poddaństwa chłopów duchowni unicy stanowili warstwę praktycznie zamkniętą. Ich przodkowie rekrutowali się

¹ Obwód białostocki była to jednostka administracyjna utworzona w 1807 r. w wyniku pokoju w Tylży, która funkcjonowała do czasu włączenia jej w 1842 r. do guberni grodzieńskiej. Obejmowała ona cztery powiaty: białostocki, sokólski, bielski i drohiczyński. W pierwszej połowie lat 30. XIX wieku w granicach obwodu białostockiego działały trzy dekanaty unickie: białostocki, bielski i drohiczyński (dwa ostatnie w połowie lat 30. połączono w jeden), które wchodziły w skład unickiej diecezji litewskiej (Konsystorz w Żyrowicach).

² Do lat 30. XIX wieku za wcześniej mówić o rusyfikacji. Imperium rosyjskie nie miało ono wtedy jeszcze wypracowanej polityki kulturalnej wobec tych terenów.

³ Е. Орловский, *Судьбы православия в связи с исторією латинства и униі въ Гродненской губерніи въ XIX столетіи (1794–1900)*, Гродна 1903, s. 30.

⁴ Ibidem, s. 31–32.

głównie ze szlachty (choć nie zawsze byli w stanie to udowodnić), rzadko mieszczaństwa, sporadycznie chłopstwa. Stan duchowny obejmował kler unicki i służbę cerkiewną: psalmistów (*diaków*), lektorów (*ponomarów*), dzwonników (*zvonarów*) i organistów z ich rodzinami.

Do 1836 r. w diecezji litewskiej było zaledwie kilka przypadków zwolnienia chłopów z poddaństwa i przyjęcia ich do unickiego stanu duchownego⁵. Sprawę rozpatrywał zarząd główny do spraw duchownych innych wyznań, a akceptował sam imperator. Zatwierdzone przez cara 19 grudnia 1835 r. rozporządzenie, które wydano głównie z myślą o pozyskaniu kandydatów do służby cerkiewnej⁶, usankcjonowało i stworzyło prawną możliwość przyjęcia do unickiego stanu duchownego przedstawicieli innych warstw społecznych, w tym również mieszczan i chłopów. Zastosowano identyczną procedurę, jak przy przyjmowaniu do prawosławnego stanu duchownego w Rosji. Był to proces długi i skomplikowany, a kapłanów i służbę cerkiewną obowiązywały te same zasady. Osoby takie powinny były posiadać, zgodnie z 193 artykułem zbioru ustaw tomu 9, prawomocne zwolnienie z dotychczasowego stanu (zgoda wspólnoty bądź właściciela ziemskiego). Stosowne dokumenty rozpatrywała izba skarbowa. Po jej akceptacji sprawie nadawano bieg, przekazując do rozpatrzenia naczelnikowi obwodu białostockiego (w przypadku guberni – gubernatorowi) i Senatowi. W obwodzie białostockim sytuacja taka dotyczyła praktycznie tylko włościan⁷. Synowie kleru unickiego szli w ślady ojców – wybierając kapłaństwo lub służbę cerkiewną. Sporadycznie decydowali się oni na zmianę zawodu i przechodzili do stanu świeckiego. W tym kierunku procedury były prostsze, ale przypadki rzadkie.

Objęcie przez Józefa Siemaszkę Katedry Litewskiej zapoczątkowało proces zmian w cerkwi unickiej, które objęły duchowieństwo unickie wszystkich szczebli – biskupów, *protojerejów*, kler parafialny i służbę cerkiewną. W sierpniu

⁵ W omawianym okresie w obwodzie białostockim odnotowano zaledwie jeden przypadek duchownego unickiego pochodzenia chłopskiego. Był to Celestyn Bren, któremu powierzono pod koniec lat 30. XIX wieku parafię w Nowym Korninie.

⁶ Służby cerkiewnej brakowało w tym czasie w ok. 300 cerkwiach unickich diecezji litewskiej.

⁷ Uzyskanie zwolnienia z poddaństwa w dobrach prywatnych zależało wyłącznie od pana (wyznania rzymskokatolickiego i nie bardzo zainteresowanego problemami cerkwi unickiej). Sprawa awansu chłopów państwowych była prostsza, ale tu podobnie jak i w pierwszym przypadku dodatkową przeszkodę stanowił powszechny analfabetyzm. Biskup Siemaszko zwrócił zatem uwagę na tzw. chłopów funduszowych, którzy pracowali przy cerkwiach i monasterach. Nie była to zbyt liczna grupa – łącznie ponad osiem tysięcy. W ich przypadku odpadał problem uzyskania zgody, a przede wszystkim lepiej orientowali się w cerkiewnej *gramocie*. Biskup Siemaszko 11 marca 1836 r. zwrócił się do Greckounickiego Kolegium Duchownego z prośbą o uproszczenie obowiązującej procedury przy przyjmowaniu ich do stanu duchownego. *Записки Иосифа Митрополита Литовскаго изданыя Императорскою Академією Наукъ по завещанію автора*, Типографія Императорской Академіи Наукъ Санктпетербургъ 1883, t. III, s. 264–265.

1835 r. biskup wikarny Antoni Zubko z polecenia biskupa Siemaszki wyświęcił na *sobornych* (katedralnych) protojerejów wiceprzewodniczącego Litewskiego Konsystorza Michała Gołubowicza i inspektora seminarium Ferdynanda Gomołickiego. Uroczystość odbyła się po raz pierwszy według *trebnika*⁸ moskiewskiego i z nałożeniem duchownym złotych *napiersnych*⁹ krzyży. Otrzymali oni dokumenty poświadczające święcenia według obrządku wschodniego, jak w przypadku duchownych rosyjskiej cerkwi prawosławnej¹⁰. Obie te ceremonie poświęcenia i uhonorowania krzyżami były praktykowane w Cerkwi wschodniej, a zostały zapomniane przez unitów. Przy okazji tej uroczystości odnowiono dawny system nagradzania duchowieństwa¹¹.

W miejsce kapituł unickich, które stanowili kanonicy (były one stworzone na wzór rzymskokatolickich), w każdej diecezji utworzono etaty *sobornego* (katedralnego) duchowieństwa – 6 starszych i 12 młodszych *protojerejów*. Wszyscy oni zamiast rzymskich dystyktorium¹² udekorowani zostali tzw. *napiersnymi* złotymi krzyżami prawosławnymi¹³. Tytuły *sobornych* protojerejów były mianem honorowym, w związku z czym duchowni pozostawali na dotychczasowych etatach, choć wyznaczono im pensje z cerkiewnych funduszy z uposażeniem 150 rubli starszy i 100 rubli młodszy¹⁴. W obwodzie białostockim do godności starszego protojereja wyniesiono byłego kanonika kapituły brzeskiej, wieloletniego proboszcza i zasłużonego działacza społecznego Antoniego Sosnowskiego z Kleszczel¹⁵. Do czasu kasacji unii mianowano jeszcze dwóch młodszych *protojerejów*. Byli to dziekani bielski Bazyli Kostyczewicz i białostocki Lew Markiewicz¹⁶.

⁸ *Trebnik* – Księga Posług zawierająca porządek udzielania sakramentów, sakramentaliów, błogosławieństw oraz teksty stosowanych do nich modlitw. Zob. A. Znosko, *Mały słownik wyrazów starocerkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej*, Warszawa 1983, s. 321.

⁹ Prawosławny krzyż noszony na łańcuchu, stanowiący atrybut kapłanów. Rozróżnia się trzy rodzaje krzyży nadawanych duchowieństwu w postaci odznaczenia (nagrody): biały, złoty i udekorowany drogocennymi kamieniami. Ten ostatni był zarezerwowany tylko dla protojerejów za wysługę lat i gorliwą służbę w Cerkwi. Ibidem, s. 157.

¹⁰ *Записки Иосифа Митрополита Литовского...*, t. III, s. 196–197, 202.

¹¹ E. Орловский, op. cit., s. 93–94.

¹² Dystyktorium to zazwyczaj medalion w formie krzyża noszony na łańcuchu przez prałatów i kanoników należących do kapituł.

¹³ E. Орловский, op. cit., s. 54–55.

¹⁴ Ibidem, s. 58.

¹⁵ Российский Государственный Исторический Архив (dalej: РГИА в Санкт-Петербурге), ф. 823: Канцелярия митрополита греко-униатских церквей 1470–1839, оп. 3, д. 1508: Описание ведомостей о состоянии церквей, к. 3: Послужны список А. Сосновского.

¹⁶ Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (dalej: LPAH w Wilnie), ф. 605, оп. 1, д. 3665: Рапорт Бельскаго благочиннаго протоиерея Костычевича от 24.04.1839 г.; ф. 605, оп. 1, д. 3665, к. 296–297: Ведомость о состоянии Греко-Униатских церквей и духовенства за 1838 г., по Белостокской благочинии.

Zmiana zasad udzielania święceń diakańskich i kapłańskich była jedną z pierwszych, jakie poczyniono po objęciu przez Józefa Siemaszkę Katedry Litewskiej. 11 sierpnia 1833 r. biskup Siemaszko poinformował Greckounickie Kolegium Duchowne o wprowadzeniu w diecezji litewskiej nowej formy i treści dokumentu potwierdzającego święcenia dla księży, diakonów i służby cerkiewnej. W maju 1834 r. z polecenia biskupa Józefa teksty przygotowała drukarnia bazylianów w Wilnie¹⁷. Zmieniony został także tekst przysięgi składanej przy mianowaniu duchownych na proboszczów, o czym 7 listopada 1834 r. poinformowano Ministra Spraw Wewnętrznych¹⁸. Greckounickie Kolegium Duchowne wydało rozporządzenie zabraniające wyświęcania osób, które nie kończyły diecezjalnego seminarium¹⁹.

Wprowadzane w XVIII wieku w Cerkwi unickiej zmiany dotyczyły także stroju i wizerunku kleru. Szaty liturgiczne zakładane do nabożeństw i noszone na co dzień upodobniono do tych, jakich używali księża rzymskokatolicy. Podobnie było z wyglądem zewnętrznym. W 1747 r. wprowadzono obowiązek golenia bród i strzyżenia włosów według określonej zasady²⁰. Greckounickie Kolegium Duchowne 7 lutego 1834 r. wydało obszerne rozporządzenie w sprawie zmian w tej mierze²¹. Przez parę lat po tym ukazie nie stosowano jednak nacisku na duchowieństwo unickie.

Wizytując w sierpniu 1834 r. świątynie unickie w diecezji litewskiej, w tym w obwodzie białostockim, biskup Siemaszko stan ich określił jako żałosny, a utensylia cerkiewne i szaty duchownych jako bardzo ubogie i zlatynizowane. W dużej mierze przyczyniły się do tego problemy finansowe, ale zdaniem biskupa był to po części wynik niedbalstwa²². Dlatego też 28 listopada 1836 r. biskup Siemaszko zlecił Konsystorzowi wydanie rozporządzenia zobowiązującego duchowieństwo unickie do nabycia, w miarę możliwości, nowych szat liturgicznych zgodnych z obrządkiem wschodnim. W sytuacji braku funduszy proponowano połowiczne rozwiązanie – przeróbkę dotychczasowych łańskich ornatów, dalmatyk i kap, jeśli świątynia posiadała ich kilka²³. Sprawę zmiany formy szat liturgicznych duchowieństwa unickiego i nadzór nad tym powierzono biskupowi

¹⁷ *Записки Иосифа Митрополита Литовского...*, t. III, s. 18–19; Е. Орловский, *op. cit.*, s. 80.

¹⁸ *Записки Иосифа Митрополита Литовского...*, t. III, s. 104.

¹⁹ *Записки Иосифа Митрополита Литовского...*, t. III, s. 18–19; Е. Орловский, *op. cit.*, s. 80.

²⁰ Г.Я. Киприанович, *Исторический очерк православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве*, Издательство Белорусского Экзархата, Минск 2006, s. 170–171.

²¹ Е. Орловский, *op. cit.*, s. 8.

²² *Записки Иосифа Митрополита Литовского...*, t. III, s. 86.

²³ *Ibidem*, s. 307.

Antoniemu Zubce²⁴. Duchowni unicy stopniowo zaczęli więc zakładać do nabożeństw stroje liturgiczne według obrządku wschodniego, jednak nie nastąpiło to od razu i wszędzie. Obwód białostocki, a zwłaszcza powiat drohiczyński był tym obszarem, gdzie najdłużej utrzymywały się dotychczasowe kroje szat liturgicznych.

W trakcie odprawiania nabożeństw żałobnych z form wschodnich najczęściej rezygnowano. W przypadku pogrzebów było to wynikiem surowo przestrzeganych zwyczajów, które w ciągu kilku pokoleń stały się już tradycją unicką. W tej kwestii warunki dyktowali parafianie – spolonizowani i zlatynizowani grekokatolicy. Na początku 1838 r. w powiecie drohiczyńskim wszyscy duchowni unicy w czasie pogrzebów, a zwłaszcza prowadząc zmarłego na cmentarz, zakładali wyłącznie łańskie komże²⁵. Poinformowane o tym władze diecezjalne podjęły stosowną interwencję. Pomimo iż w oficjalnych pismach (do dziekana i Konsystorza) kler unicki z powiatu drohiczyńskiego zapewniał o zmianie stroju, to w praktyce tego nie przestrzegał²⁶. W tej sytuacji 2 maja 1838 r. Konsystorz oficjalnie zakazał duchowieństwu unickiemu zakładania komż w czasie nabożeństw²⁷.

Wyraźnie różnił się także ogólny wizerunek prawosławnych popów i parochów unickich. Ci pierwsi nosili brody i długie włosy, tymczasem księżom unickim tak jak rzymskokatolickim nakazano niegdyś golenie bród i strzyżenie włosów²⁸. W trakcie zaprowadzanych w Cerkwi unickiej zmian okazało się, że duchowni unicy wielką wagę przywiązywali do dotychczasowego stroju. Zaświadcza o tym postawa duchownych obu dekanatów obwodu białostockiego, deklarujących zgodę na przyłączenie się do Cerkwi prawosławnej w okresie od 1836 do 1839 r. Podpisujący oświadczenia (poza nielicznymi, którzy prosili o pozostawienie w dotychczasowej parafii), zgodnie sprzeciwiali się zapuszczeniu brody i noszeniu na co dzień *riasy*²⁹. Duchowny z Supraśla Kazimierz Turowski podał dodatkowo powód tego sprzeciwu. Tłumaczył on to przywiązaniem się wiernych do dotychczasowego wyglądu kleru unickiego³⁰. Władze

²⁴ E. Орловский, op. cit., s. 96.

²⁵ LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 3373: Дело о неупотреблении священниками при Богослужении комжъ, к. 16–17: Списокъ съ рапорта Г. Правлящему должность Правителя Белостокской Области Дрогичинскаго Земскаго Исправника отъ 28 апреля 1838 г.

²⁶ Ibidem.

²⁷ LPAH w Wilnie, ф. 634, оп. 3, д. 375, к. 19: Рапортъ Белостокскаго благочиннаго Льва Маркевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 3.10. 1838 г.

²⁸ Г. Я. Киприанович, op. cit., s. 170–171.

²⁹ *Riasa* – wierzchni strój duchowieństwa wschodniego o szerokich rękawach, wkładany na sutannę o wąskich rękawach. A. Znosko, op. cit., s. 277.

³⁰ Petersburg, ф. 824, оп. 2, д. 349, к. 11, 17, 18, 19, 21.

duchowne zdawały sobie sprawę, że w ciągu kilku pokoleń strój łąciński stał się tradycją. Stąd nie wywierały na kler żadnego nacisku w sprawie zmiany formy ubrania noszonego na co dzień. Biskup Siemaszko zakazał wręcz duchowieństwu zakładania *riasy* bez jego zezwolenia. Strój ten, podobnie jak i zapuszczenie brody proponował on w formie nagrody. Dopiero w 1842 r. w diecezji litewskiej zezwolił 40 wyróżnionym duchownym zapuścić brodę, a 80 przywdziać *riasę*.

W piśmie z 1 grudnia 1838 r. do Protasowa, oberprokuratora Świętobliwego Synodu, biskup prosił o zgodę na noszenie jeszcze przez jakiś czas przez duchowieństwo unickie dotychczasowych strojów i o pozwolenie na golenie bród³¹. Zgodę taką otrzymał. Starał się o to, licząc się ze zdaniem kleru i ze względu na wiernych. Zastosowano zatem zasadę pełnej tolerancji wobec duchownych, którzy opierali się noszeniu *riasy*. Zresztą sam Siemaszko przywdział *riasę* dopiero w 1842 r. Wtedy też podczas siedmiodniowej pielgrzymki po prawosławnych sanktuariach w Rosji zapuścił brodę³². Po powrocie z Rosji, jeszcze w tym samym roku, odbył podróż w *riasie* i z zarostem po swojej diecezji, zachęcając i przyzwyczajając w ten sposób kler do nowego wizerunku. Wszyscy nowo wyświęceni duchowni mieli już obowiązek noszenia *riasy* i zapuszczenia brody³³. Młode pokolenie wychowane w seminarium diecezjalnym w Żyrowicach było już przyzwyczajone do szat liturgicznych i codziennego wizerunku duchownego w obrządku wschodnim.

Kler unicki, tak jak i duchownych prawosławnych, nie obowiązywał celibatu. Na początku XIX wieku była to jedna z nielicznych różnic dzielących duchowieństwo rzymskokatolickie i unickie. Do momentu kasacji unii kościelnej praktykowano w rodzinach duchownych unickich małżeństwa mieszane wyznaniowo, ale tylko unicko-rzymskokatolickie. W tej sytuacji i ślub odbywał się często w obrządku żony. Wychowując potomstwo, praktykowano zasadę, by córki uczęszczały z matką do kościoła i wyznawały rzymski katolicyzm, zaś synowie, którzy najczęściej szli zawodowo w ślady ojców, byli unitami. Zdarzały się oczywiście sytuacje, że żony zmieniały wyznanie w trakcie trwania małżeństwa. W tej sytuacji i córki wybierały wiarę matki. Córki duchownych unickich niejednokrotnie wychodziły za katolików. Wyznanie rzymskokatolickie i język polski stanowiły ważny nośnik kultury polskiej – postrzeganej jako pańska w odróżnieniu od unickiej – chłopskiej. Przyczyniła się do tego polskojęzyczna oświata czasów Wileńskiego Okręgu Szkolnego.

³¹ Г. Я. Киприанович, *op. cit.*, s. 170–171.

³² *Записки Иосифа Митрополита Литовского...*, t. III, s. 142.

³³ Г. Я. Киприанович, *op. cit.*, s. 62.

Sprawa małżeństw mieszanych w rodzinach duchownych unickich wypłynęła w czerwcu 1836 r. w związku ze ślubem Bielewicza – seminarzysty z Żyrowic. Zawarł on związek małżeński z katoliczką w obrządku rzymskokatolickim. W tej sytuacji biskup podjął decyzję o wstrzymaniu jego święceń kapłańskich do czasu wydania ogólnego rozporządzenia, jak postępować w takim przypadku³⁴. Poleciał też biskupowi wikarnemu Antoniemu Zubce, aby zorientował się, jak wygląda kwestia małżeństw duchownych unickich w diecezji litewskiej. Okazało się, że w wielu dekanatach znaczny procent żon i córek duchownych unickich był wyznania rzymskokatolickiego. W duchu katolicyzmu wychowywały one nie tylko córki, ale także i synów, którzy najczęściej zostawali unickimi duchownymi, przechodząc pierwszy szczebel edukacji w domu. W takiej sytuacji modlitw i katechizmu dzieci uczyły się wyłącznie w języku polskim, nie znając w ogóle języka cerkiewnosłowiańskiego³⁵.

Pierwsze rozporządzenie zakazujące seminarzystom wstępowania w związki małżeńskie z pannami wyznania rzymskokatolickiego Konsystorz Litewski wydał w 1837 r. Brakowało jednak ukazu odgórnego. Biskup Siemaszko polecił, aby przed udzieleniem święceń kapłańskich zasięgano informacji, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem, jakiego wyznania jest żona kandydata na duchownego³⁶. 14 kwietnia 1837 r. wystąpił do przewodniczącego Greckounickiego Kolegium Duchownego z wnioskiem o wprowadzenie zakazu zawierania małżeństw mieszanych kandydatom na duchownych unickich. Podniósł też problem związków już zawartych. W tej sytuacji należało przygotować ogólne rozporządzenie³⁷. Projekt opracowany na wniosek biskupa Siemaszki przez Greckounickie Kolegium Duchowne i zaakceptowany przez Protasowa 29 maja 1837 r. zatwierdził Mikołaj I. Ukaz ten zabraniał wyświęcania na diakonów i kapłanów osób, które wstąpiły w związki małżeńskie z katoliczkami. Jednocześnie rozporządzenie to zezwalało żonom i córkom duchownych unickich i służby cerkiewnej na przejście z wyznania rzymskokatolickiego na unickie³⁸. Nie wywierano jednak żadnego nacisków, ani tym bardziej nie było przymusu.

³⁴ *Записки Иосифа Митрополита Литовского...*, t. III, s. 322–323.

³⁵ *Ibidem*, s. 322.

³⁶ *Ibidem*, s. 311.

³⁷ *Ibidem*, s. 322–323.

³⁸ РГИА в Санкт-Петербурге, ф. 797: Канцелярия обер-прокурора Синода, оп. 7, д. 23190: О воспрещении возводить в духовный сан Грекоуниатов имеющих жен Римскокатолического исповедания и воспрещении рукополагать в диаконы и священники тех лиц которых жены или дочери принадлежат римскому исповеданию, к. 1–2: Рапортъ Греко-Униатской Духовной Колегии Протасову от 17.04.1838 г.

26 czerwca 1837 r. biskup Siemaszko, wypełniając polecenie Protasowa z 11 czerwca 1837 r., poprosił o zebranie szczegółowych informacji na temat sytuacji wyznaniowej rodzin duchownych unickich i służby cerkiewnej w podległej Konsystorzowi diecezji. Dotyczyły one żon i córek wyznających rzymski katolicyzm³⁹. 26 czerwca 1837 r. Siemaszko poinformował Świętobliwy Synod, że żony dwóch seminarzystów, których wyświęcenie wstrzymano, w tym także wspomnianego Bielewicza, przeszły na obrządek unicki⁴⁰. Opierając się na danych przekazanych z Konsystorza 17 stycznia 1838 r., biskup wymienił dekanaty, w których duchowni unicy byli w mieszanych wyznaniowo związkach małżeńskich⁴¹. W obwodzie białostockim sytuacja taka dotyczyła dwóch cerkwi w dekanacie bielskim. W parafii Mielnik w powiecie drohiczynskim żony, matki i siostry służby cerkiewnej wyznawały katolicyzm⁴². W powiecie bielskim żona proboszcza i wicedziekana Franciszka Łopuszyńskiego z Narwi Honorata oraz ich cztery córki (Józefa, Emilia, Paulina i Helena) były wyznania rzymskokatolickiego. Podobnie małżonki *ponomarów* tej cerkwi: Petronela Iwana Smoktunowicza i Helena Józefa Smoktunowicza⁴³. Jednak nie wszyscy dziekani nadesłali raporty. Nie uczynił tego np. dziekan białostocki Lew Markiewicz.

Mieszane wyznaniowo rodziny duchownych nie sprzyjały zmianom zaprowadzanym w cerkwi unickiej, gdyż powodowały one konflikty małżeńskie. Kwestią tą zajmował się biskup Antoni Zubko, który sprawdzał osobiście sytuację w diecezji⁴⁴. Była to sprawa neuralgiczna i bardzo delikatna, stąd biskup Siemaszko prosił władze diecezjalne, aby pamiętały o tym, wydając, a zwłaszcza egzekwując kolejne rozporządzenia. 31 lipca 1838 r. pismem nr 415 nakazał Konsystorzowi, aby w sprawie ewentualnego przyłączania się do wyznania unickiego żon i córek duchownych oraz służby cerkiewnej nie stosować żadnych środków nacisku. Wyjaśniał, że ukazem z maja 1837 r. kobietom zezwolono na

³⁹ W przypadku żon duchownych unickich wyznania rzymskokatolickiego informacje dotyczyły wyznania rodziców (katolicy czy unicy) i kiedy (przed ślubem czy po) przyjmowały katolicyzm.

⁴⁰ *Записки Иосифа Митрополита Литовскаго...*, t. III, s. 324–335.

⁴¹ РГИА в Санкт-Петербурге, ф. 797, оп. 7, д. 23190, к. 15: Рапорт Иосифа Семашко Протасову от 17.01.1838 г.

⁴² Były to żony: *ponomara* Kondrata Hackiewicza – Pelagia, *diaka* Konstantego Regenta – Anna, *ponomara* Antona Hackiewicza – Agata, chórzysty Warfolamieja Niedźwieckiego – Anna, *zvonara* Martina Panasiewicza – Anna, *diaka* Siemiona Lewickiego – Anna oraz *zvonara* Ludwika Trocewicza – matka Marianna i siostra Joanna. РГИА в Санкт-Петербурге, ф. 797, оп. 7, д. 23190, к. 29–29 об. Рапорт Иосифа Семашко Протасову от 17.01.1838 г.

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ Biskup Antoni podał przykład dziekana słuckiego Narkiewicza, którego żona stanowczo sprzeciwiała się zapuszczeniu brody i noszeniu riasy przez męża. Władze cerkiewne w tej sytuacji nie miały możliwości wpływania na osoby innego wyznania. *Записки Иосифа Митрополита Литовскаго...*, t. III, s. 371–372.

zmianę wyznania z rzymskokatolickiego na unickie, ale w żadnej mierze tego nie nakazano. O wydanym ukazie powiadomiono również księży katolickich⁴⁵. Później również nie wprowadzono przymusu ani restrykcji, stąd sprawa zawartych wcześniej małżeństw mieszanych ciągnęła się jeszcze długo.

Sytuacja materialna duchowieństwa unickiego była trudna. Dotyczyło to zwłaszcza cerkwi usytuowanych w majątkach prywatnych. W realiach wsi przedwłaszczeniowej i ogromnego ubóstwa chłopów położenie ekonomiczne kleru zależało przede wszystkim od posiadanej ziemi. Niewiele cerkwi zabezpieczonych było odpowiednim nadziałem ziemi funduszowej, stanowiącej podstawowe źródło utrzymania rodzin duchownych, zaś dochody z posługi duszpasterskiej stanowiły nieznaczne wsparcie finansowe.

Ubóstwo materialne duchowieństwa unickiego potwierdził w piśmie do Konsystorza z 1837 r. dziekan bielski Adam Kostyczewicz. Prosił o zwrócenie uwagi na położenie finansowe kleru unickiego i żalił się, że w takiej sytuacji zbieranie tzw. zdrowasiek stało się jedynym sposobem polepszenia budżetu ich rodzin⁴⁶. W końcu 1837 r. władze diecezjalne dokonały analizy sytuacji finansowej. Oba dekanaty w obwodzie białostockim uznano za biedne, a dziekanów zakwalifikowano do zapomogi w kwocie 75 rubli⁴⁷.

Tylko nieliczne parafie posiadały chłopów pańszczyźnianych. W dekanacie białostockim pracowali oni przy cerkwi fastowskiej, połączonej z knyszyńską i białostockiej, a w dekanacie bielskim przy siemiatyckiej, pasynkowskiej i katedralnej w Bielsku. Posłużę się statystyką za 1838 r., ostatni rok przed kasacją unii. W dekanacie białostockim dochód parafii unickich z majątku nieruchomego, kapitałów i dziesięcin otrzymywało duchowieństwo w siedmiu parafiach, w pozostałych 11 kler nie posiadał w ogóle dochodów z tego źródła. Kwoty wahały się od 10 do 120 rubli⁴⁸, natomiast ofiarowania intencyjne, datki na tacę i do skarbonek wyniosły 63 ruble i 25 kopiejek⁴⁹. W dekanacie bielskim datki i ofiary od parafian to 102 rubli 27 kopiejek⁵⁰, a z majątku nieruchomego, kapitałów i dziesięcin uzyskano 240 rubli 40 kopiejek⁵¹. W przypadku cerkwi leżących

⁴⁵ Ibidem, s. 388.

⁴⁶ LPAH w Wilnie, ф. 605 Konsystorz Wileńskiego Biskupstwa Prawosławnego, оп. 1, д. 3194, к. 3: Рапорт Бельскаго благочиннаго – протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 21.10.1837 г.

⁴⁷ *Записки Иосифа Митрополита Литовскаго...*, т. III, s. 335–337.

⁴⁸ LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 3665, к. 296–297: Ведомость о состоянии Греко-Унитских церквей и духовенства за 1838 г., по Белостокской благачини.

⁴⁹ Ibidem, к. 294–295.

⁵⁰ Ibidem, к. 295.

⁵¹ Ibidem, к. 296–297.

w dobrach prywatnych zdarzało się, że sytuację dodatkowo komplikowała zależność od dworu. Sprawa dotyczyła prawa do wyrębu lasu i wypasu bydła na pastwiskach⁵².

W niewielkiej części parafii unickich (usytuowanych głównie w środowisku mieszanym pod względem wyznaniowym) położenie materialne duchowieństwa mogła, choć w minimalnym stopniu, poprawić płacona przez parafian dziesięcina. Była ona uiszczana przez wyznawców obrządku unickiego, ale trafiała do księży rzymskokatolickich. Dziesięcinę wnoszono najczęściej w naturze (dziesięcina zbożowa), rzadziej praktykowano świadczenia pieniężne, bądź w naturze i pieniężne.

27 sierpnia 1828 r. Senat wydał rozporządzenie w sprawie podziału dziesięciny pomiędzy księży rzymskokatolickich i unickich. Nakazano, aby pobierana od unitów i przekazywana rzymskokatolickiemu duchowieństwu dziesięcina oraz wszelkie ustanowione w jej miejsce świadczenia były przekazywane duchowieństwu unickiemu w zależności od liczby parafian tego obrządku⁵³. A tam gdzie mieszkali sami unicy, dziesięcina oraz świadczenia ją zastępujące w całości winny trafiać do duchownych unickich. Sprawę każdej parafii w sytuacji spornej polecono rozpatrywać indywidualnie, posiłkując się miejscowymi dokumentami⁵⁴. Ukaz Senatu został przekazany do realizacji władzom w Białymstoku⁵⁵. Sprawę wyjaśniano od 1828 do 1837 r. Zajął się tym władze świeckie przy ścisłej współpracy z Konsystorzem, dziekanami, duchowieństwem unickimi i rzymskokatolickim.

Konfliktowa sytuacja dotyczyła tylko tych parafii, na terenie których mieszkała ludność mieszana pod względem wyznaniowym i tam, gdzie unicy uiszczali dziesięcinę na wzór łaćski. Okazało się, że w 1830 r. cerkwie unickie w Brańsku i Boćkach w powiecie bielskim oraz w Żurobicach, Żerczycach, Siemiatyczach, Ciechanowcu, Drohiczyń i obie w Mielniku w powiecie drohiczyńskim dziesięciny nie otrzymywały w związku z zagarnięciem jej przez proboszczów tamtejszych kościołów⁵⁶. W dekanacie białostockim dziesięcinę regularnie otrzymywali duchowni cerkwi w Nowej Woli od parafian z Nowej Woli, z Potoki od parafian z Topolan oraz płacono ją usytuowanej w majątku państwowym

⁵² Г. Я. Киприанович, *op. cit.*, s. 54.

⁵³ Е. Орловский, *op. cit.*, s. 70.

⁵⁴ ЛРАН в Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2050, к. 8–9: Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 5.10.1836 г.

⁵⁵ Ibidem, к. 30–34: Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 26.02.1837 г.

⁵⁶ Ibidem, к. 8–9, Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 5.10.1836 г.

cerkwi w Surażu⁵⁷. Problematycznie kształtowała się natomiast sprawa dziesięciny w parafii w Kuźnicy, gdyż jej część trafiała do kościoła w Sokółce⁵⁸.

Podział dziesięciny w parafiach zamieszkałych przez ludność wyznania unickiego i katolickiego był rozpatrywany przez niższe, powiatowe sądy ziemskie na polecenie władz obwodu białostockiego. Powoływano specjalne komisje, w skład których wchodziło dwóch duchownych deputatów wyznania unickiego i rzymskokatolickiego oraz przedstawiciel niższego sądu ziemskiego. Z przeprowadzonego postępowania sporządzano specjalne akty. Nie wszędzie sprawa podziału dziesięciny pomiędzy kościołem i cerkwią unicką przebiegała bezkonfliktowo⁵⁹. Dziesięcinę oddzielono dla cerkwi w Siemiatyczach⁶⁰ i Żurobicach⁶¹. Postępowanie wyjaśniające natomiast prowadzono w przypadku cerkwi unickich w Żerczycach, Mielniku, Ciechanowcu⁶², Brańsku⁶³, Boćkach i Drohiczynie w dekanacie bielskim oraz w Kuźnicy w dekanacie białostockim.

Zestawienie o otrzymywanej przez unickich duchownych dziesięcinie po podziale w dekanacie bielskim sporządził Adam Kostyczewicz w kwietniu 1837 r.⁶⁴ Uiszczano ją w życie, jęczmieniu lub owsie, ewentualnie w pieniądzu. W majątkach państwowych w dekanacie drohiczyńsko-bielskim wnoszono ją za okres od 19 maja do 19 kwietnia następnego roku. W powiecie bielskim oddawano dziesięcinę jeszcze dla cerkwi w Narwi i Kleszczelach, a w drohiczyńskim w Żerczycach, Siemiatyczach, Żurobicach, Narojkach, Ciechanowcu (w wysokości 20 rubli) i Grodzisku⁶⁵. Podział nie był natomiast definitywnie zakończony w przypadku cerkwi w Brańsku⁶⁶, Boćkach, Żerczycach, Drohiczynie i Mielniku. Ostatecznie udało się dokonać rozdziału wnoszonej przez unitów dziesięciny pomiędzy cerkwie i kościoły.

⁵⁷ Ibidem, k. 14ob.-15: Рапорт Белостокского благочинного Льва Маркевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 10.12.1836 г.

⁵⁸ Ibidem, k. 14–15: Рапорт Белостокского благочинного Льва Маркевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 10.12.1836 г.

⁵⁹ Ibidem, k. 35–35ob.: Актъ о десятинах Цехановской церкви от 28.12.1836 г.

⁶⁰ Ibidem: Актъ о десятинах Семятицкой церкви от 1.12.1836 г.

⁶¹ Ibidem, k. 39–40: Актъ о десятинах принадлежащей Журобицкой Греко-Унитской церкви от 2.12.1836 г.

⁶² Ibidem, k. 35–35ob.: Актъ о десятинах Цехановской церкви от 28.12.1836 г.

⁶³ Ibidem, k. 57–57ob.: Рапорт Бельскаго Благочиннаго – Протоиерея Адама Костыцевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 15.04.1837 г.

⁶⁴ Ibidem.

⁶⁵ Ibidem, k. 59–60: Ведомость о десятинах Греко-Унитским Церквям в Дрогичинско-Бельском деканате принадлежащих.

⁶⁶ Ibidem, k. 57–57ob.: Рапорт Бельскаго Благочиннаго – Протоиерея Адама Костыцевича... в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 15.04.1837 г.

Do połowy lat 30. XIX wieku księża unicy byli zlatynizowani i spolonizowani. W wyniku przeprowadzonych w Cerkwi unickiej zmian zmierzających w stronę restytucji prawosławia zmieniono formę kształcenia seminarzystów, zasady święceń, szaty liturgiczne, strój codzienny i ogólnie wizerunek księży. Zakazano wstępowania w związki małżeńskie z katoliczkami. Stopniowo eliminowano język polski, choć jeszcze przez wiele lat był on praktykowany podczas kazań i w kontaktach z wiernymi w cerkwiach obwodu białostockiego. Długo po kasacji unii po polsku rozmawiano w domach duchownych.

Po przyłączeniu Cerkwi unickiej do rosyjskiej Cerkwi prawosławnej zmieniła się zasadniczo pozycja duchownych. Zrównano ich w prawach z klerem prawosławnym. Jako że prawosławie było religią panującą w Rosji, wzrosła ranga i autorytet duchownych oraz podwyższyl się ich status społeczny. Poprawie uległa sytuacja materialna. Z czasem duchowni otrzymywali uposażenie z kasy państwowej, początkowo w formie zapomogi, a następnie już na stałe. Teoretycznie duchowni unicy stali się prawosławnymi w 1839 r., w praktyce proces ten trwał jeszcze wiele lat.

Резюме

Вокруг проблематики касации Бресткой церковной унии (1596) в 30-е годы XIX столетия в Белостокской области (От униатского пароха до православного священника)

После Замойского собора процессу латинизации Униатской церкви стало также подвергаться духовенство. Начали менять облачение и повседневную одежду униатского духовенства. Рукоположение в сан диакона и священника совершалось в латинском обряде. Случалось так, что жены и дочери униатских священников были римо-католичками. В некоторых приходах униаты платили десятину, но она далеко не всегда доставалась униатским священникам. В Белостокской области – территории, представляющей собой религиозно-этническое пограничье, процесс латинизации сопровождался ополячиванием греко-католиков.

Где-то в середине 30-ых гг. XIX столетия начались интенсивные изменения в Униатской церкви, приведшие впоследствии к касации унии и восстановлению православия. Они также коснулись всех санов униатского духовенства. Латинский сан „каноника” был заменен саном протоиерея в соответствии с византийским обрядом. Изменению подверглось рукоположение в сан диакона и священника. Была введена система вознаграждения причта в соответствии с византийской иерархией.

Изменения также коснулись облачения духовенства. Комжи были запрещены. Священству предписано купить литургические облачения византийского обряда или переделать казулу (орнат), далматyku и *капы*. Зато не говорилось о ежедневной одежде духовенства.

Некоторые униатские священники вступали в брак с женщинами римско-католического вероисповедания. Чаще всего в таком случае венчание производилось в соответствии с обрядом жены. В 1837 г. запрещено возведение в священнический сан

мужчин, вступивших в брак с католичками. Униатское духовенство находилось в трудном материальном положении. Основным средством их содержания была так называемая „фондовая /*фундушова*/ земля”, принадлежащая Церкви. В смешанной по вероисповеданию среде размер содержания мог увеличиваться за счет десятины, выплачиваемой прихожанами, которая, как правило, попадала в руки римско-католических священников. В 1828 г. сенат выдал распоряжение о разделении десятины между римско-католическими и униатскими священниками.

Формально униатское духовенство стало православным в 1839 г., но на практике этот процесс длился еще на протяжении многих лет.

Summary

*About abolishment of the church union in Bialystok District in the 30-ies of XIX century
(From the Uniate parson to the Orthodox priest)*

The process of Union church laicization, after council in Zamość, included the clergy, too. The style of liturgy and casual robes was changed. Priestly and deaconly orders were being in Latin style. It was happened that wives and daughters of Union priests were Roman Catholics. There was paid the tithe, but it was not always got to the clergymen. In Bialystok District, that was territory of ethnic and religion borderland, there were laicization as well as process of exerting an Polish influences on uniates.

The process of intensive changes in Union church, that caused abolishment of Union and restitution of Orthodox church, was started about the half of the 30-ies XIX century. Those changes included the Uniate clergy all levels. The Latin title of a canon was changed on *protojerej* title in accordance with the East ritual. The rules of taking holy orders were changed, too. A system of rewarding the clergy was implemented in accordance with the east hierarchy.

Liturgy robes of clergy were changed, too. Wearing surplices was prohibited. Priests were recommended to buy liturgy robes by east rites or to adopted their own chasubles, dalmaticas and copes. It was not interfered to casual wear of the priests.

Some of the Uniate priests got married to the Roman Catholic girls. In those cases, marriage was in wife's rites. In 1837 it was prohibited to take holy orders to people, who had got married to the Roman Catholic girls. The Uniate clergy was in a difficult situation. Its basic source of income was church's lands. In mixed religious environment, it could be improved by tithe paid by parishioners to the Roman Catholic priests. In 1828, Senate issued regulation in a case of tithe division between Roman Catholic and Uniate priests.

The Uniate priests were changed in the Orthodox in 1839, but that process was being for many years.

Joanna Wasiluk
Białystok

Да праблемы станаўлення нацыянальнай ідэі ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя

Падчас імклівага развіцця навукова-тэхнічных магчымасцей і звязанай з гэтым паскоранай уніфікацыі народаў вырашэнне пытанняў нацыянальнага самавызначэння з'яўляецца надзвычай важным для шэрагу краін. У сілу шматвяковых сацыяльна-гістарычных працэсаў, геапалітычага становішча асаблівае значэнне мае яно для Беларусі, што, не перабольшваючы, можна сказаць, усведамляецца сапраўднай беларускай навукова-творчай інтэлігенцыяй, як адказнасць за далейшы лёс беларускай нацыі ў свеце.

Выдатны беларускі філосаф, літаратуразнаўца, культуролаг Уладзімір Конан на адной з канферэнцый, прысвечаных асэнсаванню беларускай нацыянальнай свядомасці, лапідарна-дакладна акрэсліў сутнасць галоўнай яе кампаненты: „Нацыянальная ідэя – духоўна-творчы аналаг быцця народа ў трох вымярэннях – мінуўшчыне, сучаснасці і будучыні. Кожны этнас, які выявіў свае творчыя магчымасці і сфармаваўся ў нацыю, увасабляе сабой пэўную ідэю”¹.

У нацыянальнай ідэі звычайна выдзяляюць наступныя прырытэты: па-першае, любоў да гістарычнага мінулага і творчага дзеяння сваёй нацыі, сваёй мовы, свайго краю; па-другое, веру ў духоўную сілу свайго народа і, па-трэцяе, імкненне, волю да таго, каб свой народ быў годным членам у сям’і народаў свету².

Нацыянальная свядомасць, ідэя адлюстроўвае супольныя і агульна-нацыянальныя інтарэсы ўсяго народа. Яна з’яўляецца, з аднаго боку, своеасаблівым генератарам жыццядайнай энергіі этнасу на шляхах пошукаў формы самавыяўлення, а з другога, у працэсе гэтага, часта змагарнага, пошуку сама ўмацоўваецца, эвалюцыяніруе.

¹ У. Конан, *Беларуская нацыянальная ідэя: традыцыі, сучасныя праблемы, прאгнозы*, [у:] *Беларуская нацыянальная ідэя. Матэрыялы навукова-тэарэтычнай канферэнцыі*, Мінск 2000, с. 6.

² А. Астапенка, *Нацыянальная ідэя ў сучасным свеце*, Мінск 2003, с. 156.

Працэс станаўлення новай мастацкай традыцыі ў беларускай літаратуры, распачаты на мяжы XVIII–XIX стагоддзяў, быў напрамую звязаны з абуджэннем нацыянальнай свядомасці насельнікаў слаўнай у недалёкім мінулым дзяржавы, з вяртаннем з гістарычнага забыцця багатай спадчыны беларускага народа. У прадмове да Статуту ВКЛ 1588 года канцлер Вялікага Княства Літоўскага Леў Сапега з гонарам пісаў: „Не обчим яким языком, але своим власным права списаные маем и каждого часу чаго нам потреба ку опору всякое кривды ведати можем”³. На старабеларускай мове, якая з’яўлялася афіцыйнай мовай вялікай еўрапейскай дзяржавы, ствараліся дасканалыя юрыдычныя дакументы, перакладаемыя адразу і на лаціну, і на польскую мову. Невыпадкова Адам Міцкевіч у сваіх парыжскіх лекцыях аб славянскіх літаратурах, прачытаных у Каледж дэ Франс, выказаўся такім чынам пра беларускую мову: „Narzeczem Białej Rusi, nazywany ruskim lub litewsko-ruskim (białoruskim), mówi [...] mniej więcej 10 milionów; jest to narzecze najbogatsze i najczystsze; było ono niegdyś uprawne: za czasów odrębności Litwy wielcy książęta posługiwali się nim w korespondencji dyplomatycznej”⁴. „Status Litewski pisany jest językiem najharmonijniejszym i najmniej skażonym ze wszystkich dialektów słowiańskich”⁵.

Складаныя сацыяльна-палітычныя ўмовы XVII–XVIII стагоддзяў прычыніліся да заняпаду беларускамоўнай літаратурнай творчасці. Мова шэрагу летапісаў, Статутаў Вялікага Княства Літоўскага, прадмоў і перакладу Святога Пісання вялікага асветніка Францішка Скарыны ўступае сваё законнае месца лаціне і палышчызне, а пасля рускай мове. У 1696 годзе сейм прымае пастанову, якая забараняе выкарыстанне беларускай мовы ў афіцыйнай перапісцы, у дзяржаўных установах. Спыняецца друкаванне кніг на беларускай мове. У апошній чвэрці XVIII стагоддзя ў выніку трох падзелаў польскай дзяржавы беларускія землі далучаюцца да Расіі. Палітыка царызму адмаўляла не толькі дзяржаўную незалежнасць, але і культурна-этнічную самабытнасць беларусаў. Мікалай I, наклаўшы ў 1840 годзе вета на дзеянне Статуту Вялікага Княства Літоўскага, увогуле забараняе карыстацца тэрмінам „Беларусь”, які ў 30–40-ых гадах XIX стагоддзя пачаў пашырацца як назва значнай часткі ВКЛ. Вызначаючы Беларусь як „Северо-Западные губернии”, царызм спадзяваўся зрабіць яе сваёй спагонвечнай уласнасцю, часткаю расійскай імперыі. У тыя ж самыя 30–40-я гады, як

³ *Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588. Тэксты. Даведнік. Каментарыі*, Мінск 1989, с. 48.

⁴ A. Mickiewicz, *Dziela*, Warszawa 1955, t. VIII, с. 100.

⁵ *Ibidem*, с. 106.

слухна адзначае літаратуразнаўца Мікола Хаўстовіч: „Адсутнасць палітычнае ды нацыянальнае незалежнасці, нядобразычлівая, а часам і непрыязныя адносіны суседзяў не давалі мажлівасці ўжо народжанай беларускай нацыянальнай ідэі змагацца за развіццё, за станаўленне нацыі”⁶.

І пры гэтым напачатку XIX стагоддзя распачынаецца беларускае нацыянальнае адраджэнне. Па словах Уладзіміра Конана: „На першае месца выходзяць праблемы нацыянальнай самабытнасці мастацтва, альтэрнатыўныя думкі пра магчымасць стварэння новай у Еўропе беларускай літаратуры”⁷.

Вяртанне гістарычнай памяці і духоўнай спадчыны беларускага народа сталася пабуджальна-стваральным імпульсам для творчасці, а творчасць у сваю чаргу далей фарміравала нацыянальную ідэю. Ідэя ж нацыянальнага адраджэння, як і светапоглядная, і мастацка-эстэтычная дамінанта, з’яўляецца фактам мастацкай структуры кожнага твора. Нацыянальны светапогляд, варта пагадзіцца з даследчыцай Любою Уладыкоўскай: „[...] гэта рэальны светапогляд, нацыянальны ў тым сэнсе, што менавіта прыналежнасць яго носьбіта да пэўнай нацыянальнай культуры надае яму канкрэтны, своеасаблівы змест і рысы, што фарміруюць спецыфіку тлумачэння і асэнсавання навакольнага свету”⁸.

У сілу спецыфікі сацыяльна-гістарычнага развіцця Беларусі менавіта народная творчасць у гэты час аказваецца асноваю для фарміравання новай мастацкай традыцыі. Дакладна адзначыў вядомы даследчык XIX літаратуразнаўца Алесь Яскевіч: „Фальклор в этот период – пока единственный наличный опыт национального эстетического высказывания и, кроме него, первым поэтам негде брать уроки выражения национальных форм на родном языке”⁹. Сапраўды, у складаных сацыяльна-гістарычных умовах тагачаснай Беларусі народная творчасць была амаль адзіным сродкам эстэтычнага адлюстравання рэчаіснасці. На лёсаносную ў працэсе станаўлення літаратуры ролю народнай творчасці звяртае ўвагу Васіль Ліцвінка: „Сукупнасць зместу, шматстайнасць відаў і мастацкіх формаў фальклору, яго ўнутраныя і знешнія сувязі ўяўляюць сабой народную мастацка-філасофскую сістэму. У мастацкіх вобразах, мове, жанравай

⁶ М. Хаўстовіч, *Ян Баршчэўскі і літаратурна-грамадскі рух на Беларусі ў 30–40-я гг. XIX ст.*, [у:] *Шляхамі стагодзяў*, Мінск 1992, с. 121.

⁷ У. Конан, *Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі, у 3-х тамах*, Мінск 2010, т. 1, с. 330.

⁸ Л. М. Уладыкоўская, *Духоўныя ідэалы ў сучаснай культуры Беларусі і каштоўнасці глабалізму*, Мінск 2009, с. 142.

⁹ А. С. Яскевич, *Становление белорусской художественной традиции*, Минск 1987, с. 195.

вызначальнасці з'яў фальклору знайшлі ўвасабленне духоўныя асновы жыцця, маральна-этычны кодэкс, прадуктыўны вопыт абрадава-працоўнай, сямейнай дзейнасці народа”¹⁰.

Уладзімір Конан, параўноўваючы народную творчасць з Святым Пісаннем, адзначае, што „як у Бібліі ў рэлігійна сімвалічных вобразах і сюжэтах адлюстраваліся драматычны шлях станаўлення чалавечай духоўнасці, так і праз фальклор народная душа сягае далёка ўвысь, за вузкія межы свайго штодзённага побыту, здзіўляючы сваёй духоўнай празорлівасцю”¹¹. Такім чынам, Біблія і фальклор з’яўляюцца невычэрпнай крыніцай мудрасці, дзе па-мастацку, хаця і рознымі выяўленчымі шляхамі, асэнсаваны вечныя праблемы, жыццёвыя вобразы і сюжэты праз багацце мастацкіх сродкаў.

Пачатковы этап беларускага нацыянальнага адраджэння быў прадстаўлены двума кірункамі – літвінскім і беларускім¹². Літвінскі кірунак быў звязаны з дзейнасцю Віленскага ўніверсітэта і выяўляецца найперш у творчасці філаматаў і філарэтаў – Адама Міцкевіча, Яна Чачота і іншых, а пазней першага беларускага прафесійнага пісьменніка Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Беларускі кірунак аформіўся ў паўночна-заходняй Беларусі, у Віцебскай і полацкай губернях і прадстаўлены найперш творчасцю Яна Баршчэўскага.

У апошнія дзесяцігоддзі беларускае літаратуразнаўства належным чынам ацаніла ролю Яна Чачота ў фарміраванні нацыянальнай свядомасці. Ян Чачот (1796–1847) з’яўляецца адным з найвыдатных пачынальнікаў новай беларускай літаратуры. Сябар Адама Міцкевіча, далучыўшыся да дзейнасці Таварыства філаматаў, першым уводзіць беларускі фальклор (а пасля і мову) у літаратурны ўжытак арганізацыі. Да Яна Чачота, як амаль да ўсіх прадстаўнікоў беларускай літаратуры XIX стагоддзя, звычайна дапасоўваюць вызначэнне „польска-беларускі” альбо „польскі і беларускі” пісьменнік. Гэты тэрмін уведзены ў навуковы ўжытак польскім даследчыкам Юзафам Галомбкам на пачатку 30-х гадоў XX стагоддзя. І ў гэтым вызначэнні выяўляецца складанасць нараджэння новай беларускай літаратуры – паміж развітымі ўжо на той час польскім і рускім прыгожым пісьменствам.

Чачот добра разумеў значэнне мовы Статутаў ВКЛ для адраджэння гістарычнай свядомасці народа і сам ахвотна і пісаў па-беларуску. На жаль, з беларускамоўных вершаў філамацкага перыяду да нашага часу дайшло,

¹⁰ В. Ліцвінка, *Самабытнасць беларускага фальклору і яго месца ў нацыянальным Адраджэнні*, [у:] *Беларусіка – Albaruthenica*, Мінск 1993, с. 210.

¹¹ У. Конан, *Гісторыя этэтычнай думкі Беларусі...*, с. 287.

¹² Ibidem, с. 331.

па сутнасці, толькі тры: *Яжовыя імяніны, На прыезд Адама Міцкевіча, Да пакіньце горла драць*. Сваё захапленне беларускім творамі Яна Чачота выказаў у пісьмах да яго сам Адам Міцкевіч: „Лёгкасць ды яшчэ агонь, проста піндараўскі, пераўзышлі нават тыя надзеі, якія я ўскладаў на цябе. Прэч з дарогі, Заны, прэч Адамы! Не лянуйся, калі ласка! Ты пішаш усё лепш”¹³.

Значную частку літаратурнай спадчыны Чачота складаець балады, напісаныя на польскай мове ў 1818–1819 гадах. Усе восем адшуканых балад Чачота былі апублікаваны ўпершыню ў 1972 годзе Станіславам Свіркам у кнізе *3 кола філамацкага перадрамантызму*. У іх было „зафіксавана”, як падлічыў С. Свірка, дванаццаць паданняў і народных казак, а таксама дзесяць матываў з беларускіх народных вераванняў і звычаяў. Беларускую фальклорную афарбоўку маюць, напрыклад, балады Чачота *Мышанка* і *Свіцязь*, якія, па словах польскіх вучоных Станіслава Пігоня і Станіслава Свіркі, сталі матэрыялам для пераломных *Ballad i romansów* Адама Міцкевіча.

Аўтарытэтны даследчык беларускага XIX стагоддзя Алесь Яскевіч адзначыў, што „польскі ж язык – в данном случае лишь оболочка выражения, вынужденная запретом языка родного, да к тому же еще не вполне выкристаллизовавшегося из устного, чтобы служить средством поэтического высказывания”¹⁴.

Менавіта Ян Чачот ажыццявіў сапраўдны подзвіг пачынальніка новай мастацкай традыцыі: здолеў на працягу 1837–1846 гадоў сабраць і выдаць у шасці зборніках беларускія народныя песні „з-пад Дзвіны і Нёмана”. Ён лічыў, што паэзія, якую называлі ў яго час „народнай”, была ў старажытнасці „агульнай для ўсіх нашых продкаў: панскай, княскай, словам, нацыянальнай”, і выказваў думку, што дзякуючы менавіта сялянам былі захаваны старадаўнія абрады і песні, бо вышэйшыя класы лягчэй падпадалі пад розныя культурныя ўплывы заходняй Еўропы і забываліся пра свае традыцыі. Узгадаем, што ў Пецябурзе, у тыя ж самыя 40-я гады XIX стагоддзя, вялікі пісьменнік, прадстаўнік беларускага накірунку нацыянальнага адраджэння Ян Баршчэўскі сцвярджае гэткую ж думку ў галоўнай кнізе свайго жыцця *Шляхціц Завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях*. Сапраўды, фальклор як асобая духоўная сістэма не толькі адлюстравваў істотныя рысы нацыянальнай свядомасці беларусаў. Ён

¹³ *Філаматы і філарэты. Зборнік*, рэд. К. Цвірка, Мінск 1998, с. 123.

¹⁴ А. С. Яскевич, *op. cit.*, с. 52.

аказаў актыўны ўплыў на фармаванне нацыянальнага характару беларуса, які, пачынаючы з XIX стагоддзя, стаў творча адлюстроўвацца, увасабляцца пераважна дзякуючы вобразу селяніна ў літаратуры Беларусі. Чыннікамі нацыянальнай свядомасці становяцца калектыўна выпрацаваныя і ўвасобленыя ў фальклоры думкі, ідэі, вобразы, пачуцці і г.д.

У песнях, на думку Яна Чачота, можна знайсці не толькі гістарычныя звесткі, але і падказку да разгадкі нацыянальнага характару: „Гэтыя песні [...], здолелі б неяк паказаць апрача сваёй прывабнасці, нешта большае: характар, звычаі і норавы краю, дзе яны спяваюцца. Выяўленне таго, чаго ў іх болей – весялосці ці меланхоліі, нясціпласці ці прыстойнасці, рамантычнасці ці павучальнасці, – дапамагло раскрыць гэты характар”¹⁵.

Захапіўшыся прыгажосцю народнай паэзіі і, зразумеўшы, што найлепшы пераклад не можа перадаць у поўнай меры яе арыгінальнага хараства, Ян Чачот стаў друкаваць народныя песні ў аўтэнтчным выглядзе, без перакладу. У зборніку *Сялянскія песні з-пад Нёмана і Дзвіны з далучэннем іх арыгіналаў на славяна-крывіцкай мове* (1844) змешчаны запісы беларускіх народных песень у польскім перакладзе і ў арыгінальным гучанні. Амаль усе зборнікі адкрываюцца прадмовамі, у якіх аўтар абгрунтаваў свае літаратурна-эстэтычныя погляды і прагнозы адносна развіцця беларускай мастацкай традыцыі.

Варта зазначыць, што Чачот свята верыў у тое, „што дзеткі калі падрастуць, палюбяць больш, чым мы, сялянскую паэзію, сапраўды нацыянальную і свежую, хоць і спрадвечную”¹⁶.

Відавочным працягам працэсу збліжэння Чачота з беларускім словам стаў апошні зборнік *Сялянскіх песень...*, выдадзены ў 1846 годзе. У ім змешчана грунтоўная характарыстыка мовы. Такім чынам, шостая кніга ўяўляе сабой першы друкаваны збор арыгінальных беларускіх народных песняў з неацэннымі заўвагамі, цікавымі этнаграфічнымі звесткамі. У прадмове да зборніка змешчаны грунтоўны роздум Чачота над беларускай мовай. Ён у захапленні, што на гэтай „крывіцкай мове” гаварылі вялікія паны, пісаліся некалі афіцыйныя акты. Да таго ж тут змешчаны верш „Да мілых мужычкоў”, напісаны Чачотам па-беларуску.

Ян Чачот, як патрыёт роднай зямлі, усведамляў значэнне слаўнай гісторыі народа ў фарміраванні асобы і нацыі, быў захоплены гісторыяй Вялікага Княства Літоўскага, у выніку чаго і ўзнік ягоны гістарычны эпас

¹⁵ Я. Чачот, *Наваградскі замак*, укл. К. Цвірка, Мінск 1989, с. 169.

¹⁶ Ibidem, с. 176.

беларусаў. Гістарычныя балады былі напісаны Янам Чачотам у 1842–1844 гадах, але, як па іроніі лёсу, да 1994 года яны захоўваліся ў архіве. Ды, нарэшце споўніліся мары першага беларускага фалькларыста адносна таго, „каб яны спяваліся”: балады ў перакладах Кастуся Цвірка і Станіслава Судніка пакладзены на ноты кампазітарамі Васілём Купрыяненкам, Яўгенам Петрашэвічам і інш. У гэтых песнях Ян Чачот перанёсся ў далёкія гістрычныя часы ўладарання ліцьвінскага князя Керна (X стагоддзе) да смерці Уладзіслава Ягайлы. У 55 баладах пад адметнай назвай *Спевы пра даўніх ліцьвінаў да 1434 года* паэт нагадвае суайчыннікам, што Вялікае Княства Літоўскае мае слаўныя традыцыі, якія належаць сусветнай гісторыі.

Кожны народ шукае ў попеле мінуўшчыны сваю славу, хоча даказаць, што і ён заслугоўвае пашаны з боку іншых народаў. Слушна пераконваў сам Чачот у сваім уступе да *Спеваў*...: „Дык няхай жа ні ў кога не выкліча незадаволенасці, калі і ліцьвін успомніць сваю даўнюю славу, каб сціпла, па-хрысціянску раскажаць пра яе”¹⁷. Ян Чачот сваёй творчасцю пацвердзіў, што ядром нацыянальнага адраджэння і зыходным імпульсам яго з’яўляюцца памяць народа і яго духоўнае самавыяўленне ў роднай мове, нацыянальнай гісторыі, этнічных формах культуры, у народных святах. Паэт імкнуўся сваёй творчасцю давесці, што народ, які мае такую багатую народную культуру, заслугоўвае лепшых адносінаў да сябе.

Найяркім прадстаўніком беларускага кірунку на пачатковым этапе беларускага нацыянальнага адраджэння, як ужо згадвалася, быў Ян Баршчэўскі (1794–1851). Ён закончыў Полацкую езуіцкую калегію, а пасля аказаўся ў Пецярбурзе. Першыя свае вершы *Дзеванька*, *Гарэліца* і *Рабункі мужыкоў* Ян Баршчэўскі напісаў на беларускай мове яшчэ ў Полацку. Неспрыяльныя ўмовы для беларускага друку прычыніліся да таго, што два яго вершы пабачылі свет толькі ў 1843 годзе ў „Roczniku Literackim”, а антыпрыгонніцкі верш *Рабункі мужыкоў* захаваўся ў шматлікіх рукапісных спісках і быў перапісаны, між іншым, Паўлюком Багрымам. Верш суправаджалі ноты Антона Абрамовіча, якія паказвалі чытачу, што перад ім нібыта народная песня, бо ў змесце твора выказаны патрыятычныя думкі, скіраваныя супраць царскай улады.

Ян Баршчэўскі, усвядоміўшы, што чытацкую беларускамоўную аўдыторыю трэба яшчэ ствараць, звярнуўся да творчасці на польскай мове, тагачаснай літаратурнай мове Беларусі. Важнае месца ў творчасці

¹⁷ Цыт. за: *Спевы пра даўніх ліцьвінаў да 1434 года Яна Чачота 1842–1844 гадоў. Гістарычны эпас беларусаў*, укл. В. Ліцьвінка, Мінск 2004, с. 8.

пісьменніка займаюць польскамоўныя творы, заснаваныя на беларускім фальклорным матэрыяле – народных легендах і паданнях. Яго кніга *Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях* (Пецярбург, 1844–1846) стала эстэтычна-мастацкаю з’яваю, значнасць якой выходзіць далёка за межы сваёй эпохі. Варта таксама падкрэсліць, што ўвага да народнай творчасці, збіранне яе, выкарыстанне ва ўласных творах – своеасаблівая мадэль развіцця беларускай свядомасці і беларускага прыгожага пісьменства ў перыяд фарміравання новай мастацкай традыцыі. Мікола Хаўстовіч звяртае ўвагу на тое, што Рамуальд Падбярэскі, першы даследчык творчасці пісьменніка, крытык і публіцыст, ва ўступным артыкуле да галоўнай кнігі Яна Баршчэўскага *Беларусь і Ян Баршчэўскі* павёў гаворку і ўвогуле пра беларускую літаратуру. „Чыста народнай” ён называе літаратуру на беларускай мове, у той час як „нацыянальнай” – літаратуру, якая закранае нацыянальныя праблемы, нацыянальнае жыццё¹⁸.

Ян Баршчэўскі свядома абірае для свайго галоўнага твора польскую мову. Ён зазначае ўжо на пачатку *Шляхціца Завальні...*, што апавяданні, змешчаныя ў кнізе, пачуў ад людзей, якія валодаюць беларускай моваю. Так, „[...] не кожны чытач зразумее беларускую мову, дык гэтыя народныя апавяданні, якія пачуў я з вуснаў простага люду, вырашыў (наколькі змагу) у даслоўным перакладзе напісаць па-польску”¹⁹. Гэтая кніга была адрасавана найперш адукаваным суайчыннікам Яна Баршчэўскага, якія страцілі нацыянальную свядомасць, выракліся роднай мовы.

Ян Баршчэўскі бачыў у фальклору дасканалую крыніцу ведаў пра беларускі народ. Ён разумеў, што ў народнай традыцыі захоўваюцца спрадвечныя ісціны, разуменне беларускім народам добра і зла, выяўляецца ментальнасць народа і ўрэшце – беларускі архетып. Менавіта ў асэнсаванні мінулага краіны ён знайшоў карані тых асноў, якія абумоўліваюць існаванне народа. Пісьменнік імкнецца абудзіць у суайчыннікаў гістарычную памяць. „Апавяданні старых пра розныя здарэнні ў народных іх аповесцях, якія перайшлі ад чалавека да чалавека са старадаўніх часоў, былі для мяне – піша аўтар у *Нарысе Паўночнай Беларусі*, якім распачынае свой твор, – гісторыяй гэтае зямлі, характару і пачуццяў беларусаў”²⁰.

Пісьменнік актыўна карыстаўся алегорыяй, шматлікімі вобразамі-сімваламі. Дзякуючы ім выказана асноўная думка твора: Беларусь – гэта

¹⁸ М. Хаўстовіч, *Шляхамі да беларускасці...*, с. 89

¹⁹ Я. Баршчэўскі, *Шляхціц Завальня або Беларусь у фанастычных апавяданнях*, пер. М. Хаўстовіч, Мінск 1990, с. 26.

²⁰ Ibidem, с. 11.

краіна, якая мае сваё мінулае, краіна, гісторыя якой была шчаслівейшая, чым у сённяшні дзень, а жыхары яе павінны жыць паводле закону і звычаяў сваіх продкаў, а не прыгнятацца суседзямі і засвойваць іх лад жыцця. Пісьменнік лічыць, што беларусам дастаткова ўспомніць сваю гісторыю, слаўных асоб, якія ваявалі за незалежнасць краіны, каб іх сэрцы напоўніліся мужнасцю і гонарам за продкаў. Гэта дасць ім сілу ісці сваім шляхам да лепшай будучыні, а не шляхам, навязаным суседнімі краінамі. З галоўнай кнігі Яна Баршчэўскага вынікае, што нацыянальная ідэя набірае сілу з чыстых крыніц гістарычнага мінулага.

Сімвалам пакрыўджанай Беларусі, ідэйным стрыжнем твора Яна Баршчэўскага, што спалучае ўсе апавяданні-прытчы ў адну карціну нацыянальнага жыцця беларусаў, з'яўляецца вобраз Плачкі. Просты народ з прычыны сваёй неадукаванасці, а шляхта і паны з-за свайго прыста-савальніцтва не могуць ці не хочуць зразумець Плачку. У гэтым прычына яе слёз, вочы Плачкі заўсёды напоўнены смуткам. Многія людзі чулі яе словы: „Няма каму даверыць таямніцу сэрца майго”²¹, значыць няма яшчэ людзей у родным краі, па словах літаратуразнаўцы Віктара Каваленкі, „якія маглі б пранікнуцца вялікім пачуццём любові да яе”²². Пісьменнікам створаны алегарычны вобраз роднага краю, ён апісвае Беларусь, як дзяржаву, дзе адбываюцца трагічныя падзеі. Ад слёз Плачкі ўтварылася „крыніца жывой вады”. Народ гаварыў, што хто нап’ецца вады з гэтай крыніцы і пазнае Плачку раней, не ведаючы пра цуд, таму выпадзе роля народнага прарока, якому адкрыюцца ўсе таямніцы гэтага свету. Паны і шляхта не разумеюць значэння жывой вады, якая абудзіла б у іх нацыянальную самасвядомасць. Аднак аўтар верыць у лепшую будучыню, паказваючы нацыянальна свядомых людзей, якіх пакуль адзінкі, але ёсць надзея на тое, што яны дапамогуць неразумнай шляхце і панам вярнуцца да сваіх каранёў. Праўда і рэчаіснасць у кнізе добра замаскаваныя, каб цэнзарскае вока глядзела на тэкст як на звычайны збор фальклорна-фантастычных матэрыялаў. Фантастыка была для пісьменніка рэакцыяй на мікалаеўскі рэжым, які абмяжоўваў свабоду на радзіме. Тагачасныя палітычныя сітуацыя вымалала ад Я. Баршчэўскага стараннай кадзіроўкі ідэйна-мастацкай сутнасці сваіх твораў.

Шляхціц Завальня... Яна Баршчэўскага прасякнуты нацыянальным духам краю. Аднак тут, як падкрэслівае Р. Падбярэскі, „толькі адно ядро

²¹ Ibidem, с. 125.

²² В.А. Каваленка, *Вытокі. Уплывы. Паскоранасць*, Мінск 1975, с. 84.

належыць простаму народу, увесь малюнак – фантазія аўтара, сатканая на аснове нацыянальных колераў”²³, а гэта ўласна сведчыць аб тым, што перад чытачом не збор фальклору, а паўнавартасны мастацкі твор. Выкарыстанне народнай гаворкі ў апавяданнях падарожных мае істотнае значэнне ў паказе пісьменнікам рэальнай сітуацыі беларускага народа. У творах Яна Баршчэўскага даўніна сутыкаецца з сучаснасцю, народная фантастыка – з рэальнымі прычынамі людскіх пакут і нядолі.

Пісьменнік у галоўным сваім творы закранаў тэмы і праблемы, якія былі забароненымі ў гэты час, што датыкае найперш паказу гістарычнага мінулага Беларусі і непрызнання вынікаў падзелу Рэчы Паспалітай (праз адмаўленне сучаснасці і ўзвышэнне мінулага), як заўважыў Мікола Хаўстовіч, а таксама сцвярджэння права беларускага народа на незалежнасць (праз ідэю вяртання да Плачкі-Беларусі і гуртавання вакол яе). Ян Баршчэўскі ў неспрыяльных сацыяльна-палітычных умовах, калі забараняецца ўжываць сам тэрмін „Беларусь”, выносіць гэтую назву ў заглавак свайго твора, што надае яму яшчэ большую нацыянальную афарбоўку. Беларусь ён апісвае ў фантастычных апавяданнях, „яна становіцца яго аб’ектам даследавання, аб’ектам ягонае любові і натхнення”²⁴. Паводле слоў Рамуальда Падбярэскага, „місія пана Баршчэўскага не апошняя, ён адкрывае новы край, таму прычыняецца да развіцця і поступу думкі”²⁵.

Сапраўды, місія Яна Баршчэўскага ў развіцці нацыянальнай думкі не апошняя. Эвалюцыя беларускага нацыянальнага адраджэння выяўляецца ў лёсах і творчасці многіх пісьменнікаў тагачаснай Беларусі. Адным з цэнтральных і трагічных звенняў палітычнага і духоўнага адраджэння беларусаў было Студзенскае паўстанне 1863 года.

Пасля сялянскай рэформы 1861 года, якая ў значнай ступені адабрала ў сялян надзею на вызваленне, у Беларусі і Літве пачаліся бурныя выступленні ў падтрымку вызваленчага руху на тэрыторыі Польшчы. Кіраўніком паўстання 1863–1864 гадоў на землях ВКЛ стаў малады рэвалюцыянер Кастусь Каліноўскі (1838–1864). Найлепшай формай дзяржаўнага ўладкавання ён лічыў дэмакратычную рэспубліку, марыў пра роўнасць, распаўсюджванне адукацыі і культуры ў народзе, прызнаваў таксама права народа на самавызначэнне. Для здзяйснення азначанага К. Каліноўскі лічыў неабходным змяніць палітычную сістэму. Свае ідэалы ён выказаў

²³ Р. Падбярэскі, *Беларусь і Ян Баршчэўскі*, [у:] *Пачынальнікі*, укл. Г. В. Кісялёў, Мінск 2003, с. 68.

²⁴ М. Хаўстовіч, *Гісторыя беларускай літаратуры 30 – 40-х гг. XIX ст.*, Мінск 2001, с. 153.

²⁵ Р. Падбярэскі, *Беларусь і Ян Баршчэўскі*, [у:] *Пачынальнікі...*, с. 70.

таксама і ў мастацкай творчасці. Кастусь Каліноўскі вядомы ў літаратуры як аўтар першай нелегальнай газеты *Мужыцкая праўда* і палымянага запавету-трыпціху *Лісты з-пад шыбеніцы*, напісанага ім напярэдадні смерці ў віленскім астразе.

Беларускамоўная газета *Мужыцкая праўда* выдавалася з 1862 года. Гісторык Алег Латышонак зазначае: „пад канец існавання Рэчы Паспалітай «беларус» значыла «мужык», беларуская мова – простая мова”²⁶. Пазней вядомы паэт-дэмакрат Францішак Багушэвіч у сваёй прадмове да *Дудкі беларускай* адкрыта назаве „мужыцкую” мову беларускай. Газета – адозва, як лічаць некаторыя даследчыкі, была прызначана для сялянскага насельніцтва Беларусі, аб чым сведчыць сам заглавак. Магчыма, К. Каліноўскі намерваўся выдаваць газету пастаянна, але паліцэйская пагроза спыніла яе выхад на сёмым нумары. Паводле К. Каліноўскага, *Мужыцкая праўда* атаясамліваецца з зямлёй і свабодай для беларускага селяніна. Паказваючы сялянству шлях да вызвалення, публіцыст пастаянна падкрэслівае, што можа яно ажыццявіцца толькі дзякуючы актыўнаму яго ўдзелу ў барацьбе. Ён верыў у сэнс і паспяховасць рэвалюцыі, бачыў у ёй будучыню сваёй краіны. У беларускай літаратуры зварот да селяніна, яго ўнутранага свету назіраецца ад пачатку XIX стагоддзя. Просты народ быў пераважна далёкім ад адчування сябе паўнаважным членам краіны, у якой жыве, а тым больш не цікавіўся пытаннямі нацыянальнай прыналежнасці, сацыяльным ці палітычным становішчам краю. Менавіта таму, як згадвалася, каб паказаць народу шлях да шчасця і свабоды, селянін з’яўляецца ядром усёй грамадска-палітычнай сістэмы, эстэтычных поглядаў Кастуся Каліноўскага. На ролю правадыра сялян аўтар *Мужыцкай праўды* прапанаваў Яську – гаспадара з-пад Вільні, вобраз якога і быў створаны для наладжвання шчырага, адкрытага, а таксама сур’ёзнага дыялогу з селянінам. Яська, мабыць, такі ж самы просты гаспадар, але больш дасведчаны і адукаваны, чым некаторыя сяляне. Гэта дае яму магчымасць уплываць на просты народ, робіць з аўтара адозвы даверлівага суайчынніка: „Каб расталкаваць людзям, у чом праўда, я пішу пісьмо, а пісаці буду, як Бог і сумленне кажа – вы адно мяне, такога самага мужыка, як і вы, паслухайце добра”²⁷.

Кастусь Каліноўскі, паказваючы высокае прызначэнне простага народа, уздымаючы пачуццё годнасці селяніна, здольнага перанесці свае крыўды, хоча пераўтварыць яго з пасіўнага назіральніка ў актыўнага дзеяча, які

²⁶ А. Латышонак, *Нацыянальнасць – Беларусь*, Вільня 2009, с. 402.

²⁷ *Заняпад і адраджэнне. Беларуская літаратура XIX стагоддзя*, укл. Казбярук, Мінск 2001, с. 289.

можа пераіначыць сваю будучыню. „Мінула ўжо тое, калі здавалася ўсім, што мужыцкая рука здасца толькі да сахі, цяпер мы самі можам пісаці і то пісаці такую праўду справядлівую... Няхай пазнаюць, што мы можам не толькі карміць сваім хлебам, но і яшчэ і вучыць сваёй мужыцкай праўдзе”²⁸. Гэта можа быць заявай народа аб сваіх сацыяльных і нацыянальных правах. Слушна зазначае літаратуразнаўца Генадзь Кісялёў: „Яны [словы] азначаюць нараджэнне сялянскай дэмакратыі на Буларусі”²⁹. Можна меркаваць, што ў іншых сацыяльна-палітычных умовах успыхнуўшага паўстання 1863 года Кастусь Каліноўскі не спалучаў бы лёсу беларускай зямлі з Польшчай, рэалізаваў бы магчымасці незалежнасці сваёй Радзімы ад цывілізаванага Захаду і тыранічнага царскага Усходу.

1863 год адбіўся негатыўна на маладой беларускай літаратуры, на дзесяцігоддзі спыніў яе развіццё. Пасля паражэння Студзенскага паўстання царская ўлада жорстка расправілася з удзельнікамі паўстання. „Знішчаліся тыя, – як зазначае Адам Мадзьзіс, – хто стаў або мог стаць цветам беларускай нацыі”³⁰. Памёр Уладзіслаў Сыракомля, Вінцэс Каратынскі апынуўся ў Варшаве, у Сібір быў вывезены Арцём Вярыга-Дарэўскі, першы прафесійны беларускі пісьменнік Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч аказаўся пад паліцэйскім наглядом, ад пераследу за ўдзел у паўстанні схаваўся на Украіне Францішак Багушэвіч. Царская ўлада, якая глядзела на збройнае выступленне як на інтрыгу палякаў, у 1867 годзе афіцыйна забараніла беларускі друк (лацінкай).

Такім чынам, падаўленнем паўстання пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага 1863 года закончыўся своеасаблівы першы этап нацыянальнага Адраджэння ў XIX стагоддзі. І менавіта з творчасці Францішка Багушэвіча (1840–1900), касіянера ў паўстанні пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага, пачалася другая хваля гэтага адраджэнскага руху, скіраванага на абуджэнне нацыянальнай самасвядомасці народа, развіццё яго мовы, літаратуры, іншых відаў мастацтва, грамадскай думкі, на стварэнне незалежнай дзяржавы. Францішак Багушэвіч, як згадвалася, пасля падаўлення паўстання 1863 года апынуўся на Украіне, дзе скончыў Нежынскі юрыдычны ліцэй і працаваў судовым следчым. Калі ў 1884 годзе нарэшце выйшла амністыя паўстанцам, ён, як птушка з выраю, вярнуўся на Радзіму, каб скалануць знямелую цішу адвечным праўдзівым матчыным словам.

²⁸ Ibidem, с. 288.

²⁹ Г. Кісялёў, *Сейбіты вечнага*, Мінск 2009, с. 75.

³⁰ А. Мальдзіс, *Выбранае*, Мінск 2007, с. 124.

Францішак Багушэвіч – першы вялікі беларускі паэт, які з самага пачатку творчасці ўсведамляў сябе належным да нацыянальнага паэтычнага свету і раскрыў найбольш істотныя і трагічныя з’явы нацыянальнай рэчаіснасці. Менавіта яму належыць гонар выпрацоўкі асноватворных ідэй беларускага адраджэння: узвелічэнне мовы народа як асноватворнай духоўнай каштоўнасці, абуджэнне гістарычнай свядомасці як неабходнай умовы годнага самапачуцця.

Канцэпцыя нацыянальнага жыцця была выказана Ф. Багушэвічам найперш у яго паэтычных зборніках *Дудка беларуская* (1891) і *Смык беларускі* (1894), падпісаных псеўданімамі Мацей Бурачок і Сымон Рэўка з-пад Барысава. Абраў паэт розныя псеўданімы, каб стварыць у чытача ўражанне, што не загінула зерне, кінутае ў родную глебу Мацеем Бурачком, што пасля ягоных спроб вось і яшчэ нехта „задумаў паспрабаваць што-кольвек напісаць”³¹. Так, як у 60-я гады XIX стагоддзя Кастусь Каліноўскі падпісваўся псеўданімам на лістах *Мужыцкай праўды*, каб быць бліжэйшым сялянам, так і пад канец стагоддзя Францішак Багушэвіч абірае сабе псеўданімы, каб быць бліжэй да простага народа, дапамагчы яму ачнуцца з летаргічнага сну.

Абедзве прадмовы Ф. Багушэвіча да паэтычных кніг напісаны як бы на адным дыханні, ды за імі, па сутнасці, стаіць увесь жыццёвы вопыт пісьменніка. Яны – своеасаблівае падвядзенне вынікаў пакутлівых пошукаў Ф. Багушэвіча і яны ж – дэкларацыі, маніфесты беларускага рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага руху, беларускай дэмакратычнай літаратуры. У новых умовах яны працягваюць слаўныя нацыянальныя традыцыі, запачаткаваныя прадмовамі Францішка Скарыны і Васіля Цяпінскага ў XVI стагоддзі, Яна Чачота ў першай палове XIX стагоддзя. Прадмовы Францішка Багушэвіча таксама разлічаны найперш на простага чалавека, дзеля „дабра паспалітага” напісаны. У *Дудцы беларускай* паэт піша: „Братцы мілыя, дзеці Зямлі – маткі маёй! Вам афяруючы працу сваю, мушу з вамі пагаварыць трохі аб нашай долі нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, каторую мы самі, ды і не адны мы, а ўсе людзі цёмныя «мужыцкай» завуць, а завецца яна «беларускай»”³².

У прадмове аўтар падкрэслівае спрадвечнасць бацькавай мовы, што такая ж „людская і панская, як і французская, альбо нямецкая, альбо і іншая якая”. Мова была напісана рукою Творца на працягу стагоддзяў, каб мы маглі карыстацца ёю. Народы пазнаюцца па мовах, нездарма Бог,

³¹ Ф. Багушэвіч, *Творы*, Мінск 2001, с. 70.

³² Ibidem, с. 21.

паводле Старога Запавету, разбурыв Вавілонскую вежу, як бы запачаткаваўшы развіццё асобных этнасаў, моваў. Кожнаму вызначана сваё месца на зямлі і натуральна, калі чалавек бароніць яго. Параўноўваючы Беларусь з „Балгарыяй, Харватыяй, Чэхіяй” і іншымі краінамі, якія „маюць пасвойму пісанья і друкаваныя кніжкі і газеты і набожныя, і смешныя, і слёзныя”, паэт заўважае, што культурны чалавек павінен ведаць іншыя мовы, але найперш „трэба знаць сваю”. Францішак Багушэвіч выкарыстаў такія ж самы мастацкі прыём як яго папярэднік К. Каліноўскі: атаясамліваўся з простым народам, каб дасягнуць сваёй высакароднай мэты. Як было тутэйшаму селяніну, што ўсё жыццё правёў у вёсцы, не паверыць больш дасведчанаму, бываламу і разумнаму супляменніку, што гаворыць на адной з ім гаворцы: „я шмат гдзе быў, шмат чаго відзеў і чытаў і пераканаўся, што мова наша ёсць такая людская, як і панская [...]”. Як было не паверыць чалавеку, хай сабе незнаёмаму, калі ў кожным слове прадмовы да *Дудкі беларускай* гучала засцярога: „Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек прад скананнем, катораму мову займе, а потым і зусім замёрлі!”³³. Паэт, як і яго папярэднікі, усведамляе значэнне роднай мовы, прыгадвае часы Вялікага Княства Літоўскага, калі беларуская мова з’яўлялася дзяржаўнай: „Чытаў я ці мала старых папераў па дзвесце, па трыста гадоў таму пісаных у нашай зямлі і пісаных вялікімі панамі, а нашай мовай чысцюсенькай, як бы вот цяпер пісанья”³⁴.

Францішак Багушэвіч з жалем канстатуе: „Мы самі пусцілі яе на здзек”. Аўтар прадмовы адчувае, што беларускі народ часткова сам вінаваты ў тым, што давёў да заняпаду родную мову. Магчыма, меў ён на думцы палымяную прадмову да білінгвальнага выдання Святога Пісання свайго папярэдніка Васіля Цяпінскага з канца XVI стагоддзя, які абвінавачвае духавенства, вучоных, паноў, што выракліся сваёй мовы на карысць польскай і лацінскай. Сам Францішак Багушэвіч ставіць рытарычнае пытанне: „Можа, хто спытае: гдзе ж цяпер Беларусь?” І сам дае адказ: „Там, братцы, яна, гдзе наша мова живець!”. Менавіта распаўсюджанасць мовы вызначае тэрыторыю краіны. Францішак Багушэвіч верыць, што яго следам пойдучь многія, „бо пісаць ёсць шмат чаго...”.

Асноўны пафас прадмовы да *Дудкі беларускай*, як слушна выказаўся Алег Лойка, гэта „пафас нацыянальнага самавызначэння беларускага народа, сцвярджэння адзінства гістарычнага лёсу народа, яго мовы як

³³ Ibidem, с. 22.

³⁴ Ibidem.

„адзежы душы””³⁵. Праблема нацыянальнай самабытнасці ставіцца паэтам у залежнасць ад ступені мастацкага выяўлення рэчаіснасці. У гэтым сэнсе ён з’яўляецца ідэйным паслядоўнікам той справы, якой прысвяціў сябе ў маладыя гады Кастусь Каліноўскі: „О, загрыміць наша праўда і як маланка праляціць над светам!”³⁶. Але ж гэтая праўда павінна быць не „мужыцкая” ці „панская”, а агульная, для ўсіх адна: „Каб уся зямелька адну праўду мела”³⁷.

Францішак Багушэвіч прагне перайначыць свет. Лірычны герой верша *Мая дудка* сведчыць, што сорок гадоў ужо б’ецца і неяк не можа патрапіць на „вадзіцы хоць каплю”, якая дапаможа людзям здабыць праўду і вольнасць. Паэт з’яўляецца тым народным прарокам, пра якога пісаў яго папярэднік Ян Баршчэўскі ў сваім *Шляхціцу...*, згадваючы Плачку і крыніцу жывой вады. Францішак Багушэвіч выказвае імкненне напіцца:

Ды такой вадзіцы,
Ды з такой крыніцы,
Што як хто нап’ецца,
Дык вольным стаецца [...]³⁸

Другі зборнік Ф. Багушэвіча *Смык беларускі* таксама вобразна спавядае нацыянальную ідэю. У вершы *Не цурайся* паэт сцвярджае, што галоўны абавязак сапраўднай інтэлігенцыі – служыць народу, несці веды найперш у масы абяздоленага сялянства, усімі сіламі і сродкамі выходзіць народ, абуджаць яго свядомасць. Францішак Багушэвіч пацвердзіў думку Яна Баршчэўскага, што менавіта інтэлігенцыя нясе адказнасць за заняпад краіны, але таксама падкрэсліў, што мы самі – увесь народ – павінны ўзяць адказнасць за будучыню сваёй Айчыны. Ад імя селяніна паэт выкрывае тых, хто адварочваецца ад народа, ігнаруе яго інтарэсы. Нельга забываць, што просты народ дасканалы захоўвае ядро этнасу, народную культуру, але ў справе ўзрошчвання нацыянальнай свядомасці патрабуецца актыўнасць і інтэлігенцыі, інтэлектуальнай эліты.

Паэт Белай Русі³⁹ паслядоўны ў вобразным, эстэтычна-мастацкім разгортванні беларускай нацыянальнай ідэі, яго палымаяная любоў да народа і Радзімы выяўляецца ва ўсёй яго творчасці, прасякае ўсе ўзроўні паэтыкі яго верша.

³⁵ А. Лойка, *Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд*, Мінск 1989, с. 242.

³⁶ *Заняпад і адраджэнне. Беларуская літаратура...*, с. 288.

³⁷ Ф. Багушэвіч, *op. cit.*, с. 35.

³⁸ *Ibidem*, с. 24.

³⁹ *Пачынальнікі...*, с. 422.

Францішак Багушэвіч, як ужо згадвалася, праблему мовы вылучае як асноўную прыкмету нацыянальнасці, як найважнейшую форму выяўлення духоўнасці народа. Як калісьці ў XVI стагоддзі Францішак Скарына ажыццявіў выданне кніг на роднай мове, заклаўшы падваліны Першага беларускага Адраджэння, так напрыканцы XIX стагоддзя адраджэнец Францішак Багушэвіч па-свойму падвёў вынікі самаадданай працы пачынальнікаў новай мастацкай традыцыі.

Максім Гарэцкі, аўтар першай гісторыі беларускай літаратуры, справедліва выказаўся пра Францішка Багушэвіча: „Ён наш першы нацыянальны паэт у поўным значэнні гэтага слова. Па духу, па спосабе думання, па ідэалогіі ўся наогул паэзія Багушэвіча вельмі нацыянальная”⁴⁰.

Па глыбіні разумення ўнутраных патрэб народнага жыцця, творчай энергіі іх абвяшчэння і сіле ўплыву на паслядоўнікаў Францішак Багушэвіч стаў першым сапраўды народным выказнікам тыповых рыс і асаблівасцей нацыянальнай свядомасці, духоўным пачынальнікам і натхняльнікам працэсу нацыянальнага самаўсведамлення. „Францішак Багушэвіч – першы, хто найбольш поўна і паслядоўна выказаў наспелую патрэбу ў існаванні нацыянальнай літаратуры і эстэтыкі, ён ледзь не першым пісьменнікам, – пісаў класік беларускай літаратуры Максім Багдановіч, – які з’явіўся прапаведнікам усебаковага нацыянальнага адраджэння беларусаў, даказваючы, што яны прадстаўляюць асобы, самастойны народ”⁴¹.

Немагчыма пераацаніць значэнне XIX стагоддзя ў гісторыі Беларусі. Іменна тады развівалася нацыянальная ідэя, што паслядоўна выявілася ў творчасці пачынальнікаў новай беларускай літаратуры. Яны добра адчувалі, што ў фальклоры сканцэнтраваны духоўна-культурны патэнцыял народа, і таму трэба з максімальнай сілай выкарыстаць гэты скарб на карысць пазнання, развіцця і ўдасканалення ўсіх аспектаў жыцця – літаратурна-мастацкіх, маральна-этычных, сацыяльна-літэратурных, эканамічных і нацыянальных⁴². Пачынальнікі працавалі як у імя сённяшняга іх дня, так як і для будучыні – адраджэння духоўнага жыцця той краіны, дзе нарадзіліся, узраслі і якая была для іх найдаражэйшай на ўсё жыццё. „Спецыфіка ж працэсу нацыянальнай кансалідацыі, – дакладна адзначае Любоў Уладыкоўская, – у многім вызначаецца моцным уздзеяннем усвядомленай і мэтанакіраванай дзейнасці людзей з развітай нацыянальнай

⁴⁰ М. Гарэцкі, *Гісторыя беларускае літаратуры*, Мінск 1992, с. 260.

⁴¹ М. Багдановіч, *Збор твораў у 3-х тамах*, Мінск 1968, т. 2, с. 230.

⁴² В.П. Жураўлёў, *У пошуку духоўных ідэалаў*, Мінск 2000, с. 63–64.

самасвядомасцю”⁴³. Сапраўды, нацыянальная беларуская ідэя фарміравалася, увасаблялася ў значнай ступені дзякуючы самаахвярнай, падвіжніцкай дзейнасці і творчасці пісьменнікаў XIX стагоддзя, між якіх надзвычай важнае месца належыць Яну Чачоту, Яну Баршчэўскаму, Кастусю Каліноўскаму і Францішку Багушэвічу.

Streszczenie

Kształtowanie się idei narodowej w literaturze białoruskiej XIX wieku

Artykuł jest poświęcony kształtowaniu się idei narodowej w okresie formowania nowej literatury białoruskiej (XIX w.) i zwraca uwagę na rolę folkloru w tym procesie. Na przykładzie spuścizny literackiej członka Towarzystwa Filomatów i Filaretów Jana Czczota autorka analizuje wkład w białoruskie Odrodzenie litewskiego kierunku literatury białoruskiej (W. Konan). Rozpatruje też najważniejszą książkę Jana Barszczewskiego, przedstawiciela kierunku białoruskiego, pt. *Szlachcic Zawalnia albo Białoruś w opowiadaniach fantastycznych*. Podkreśla wpływ idei narodowej Franciszka Bahuszewicza, autora przedmowy do *Dudki białoruskiej*, będącej manifestem Odrodzenia białoruskiego. Utwór ten stał się bowiem impulsem do dalszego rozwoju literatury białoruskiej i formowania idei białoruskiej.

Summary

Forming of the national idea in the byelorussian literature in XIX century

The article is about shaping of the national idea in the period of forming the new Byelorussian literature (XIX century). Mainly the role of folklore in this process is taken into consideration. Studying the literary legacy of the member of Filomaci and Filareci association Jan Czczot there is analysis of Lithuanian contribution of the Byelorussian literature into Byelorussian renaissance (W. Konan). The most important book of the representative of Byelorussian trend Jan Barszczewski called *Szlachcic Zawalnia albo Białoruś w opowiadaniach fantastycznych* is examined. The contribution into the development of the Byelorussian national idea of Franciszk Bahuszewicz, the author of preface to *Dudka białoruska* – manifesto of Byelorussian renaissance is emphasized. His composition becomes the impulse to the further development of Byelorussian literature and to the forming of the Byelorussian national idea.

⁴³ Л. Уладыкоўская-Канаплянік, *Акварэлі любові*, Мінск 2000, с. 163.

Maria Polakowa
Katowice

Иконы поколения jeans

После распада СССР в 1991 году в Беларуси начались различные преобразования, целью которых было прежде всего построить демократию и утвердить свою независимость, развивая национальное сознание. В этот период наблюдается стремительное сближение на социальном и экономическом уровне с соседней Польшей. Это время для обоих государств обуславливалось выбором похожего курса как внешней, так и внутренней политики, основывающегося на заподноевропейской идее. Подтверждением этому может послужить хотя бы тот факт, что благодаря стараниям польской дипломатии Беларусь была переведена из ассоциированных членов Центральноевропейской инициативы в постоянные¹. Ситуация эта начинает, однако, постепенно меняться после 1994, когда в результате президентских выборов к власти приходит Александр Лукашенко. Одной из главных причин охлаждения отношений с Польшей явилось избрание новым правителем противоположного направления развития страны: сближение с Российской Федерацией, результатом чего было подписание договора о создании Союзного государства России и Беларуси. Кроме этого, все большее беспокойство соседних стран, в том числе и Польши, начинал вызывать характер власти белорусского Президента: уже в 1995 наблюдается сворачивание процесса беларусизации², средства массовой информации практически целиком переходят под контроль государства, а после изменений в Конституции в 2004, позволившим Лукашенко снять ограничение времени пребывания на своем посту, Беларусь все чаще

¹ См. подробнее в Александр Шарапо: *Польша — Беларусь: история и современность*. „Журнал международного права и международных отношений” 2007, № 4. Доступно на <http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1238&Itemid=188>, доступ: 20.05.2011.

² Здесь следует напомнить, что еще в 1990 году был принят Закон „О языках в Белорусской ССР”, предусматривающий постепенный переход страны на белорусский язык, однако в 1995, после проведения референдума, правительство приняло решение признать государственными два языка: белорусский и русский, что в большой степени негативно повлияло на дальнейшее распространение белорусского языка и традиций.

и чаще стали называть „последней диктатурой Европы”. Подтверждением недемократического характера власти в Беларуси стали последние выборы Президента, состоявшиеся в декабре 2010 года, в результате которых очередное избрание Александра Лукашенко вызвало волну негодования и протестов как внутри страны, так и за ее пределами.

Одним из наиболее активных оппозиционных деятелей стал коллектив „Свободного театра”³, созданный в 2005 году, его организаторами

³ „Свободный театр”, который появился в 2005 году в Минске, имеет в своей основе пять основополагающих принципов: „[1] позитивно повлиять на развитие новой драмы в Беларуси и за ее пределами; [2] объединить силы молодых драматургов в продвижении новых театральных идей; [3] создать коммуникационные мосты между театральной Беларусью и внешним миром; [4] сформировать альтернативную систему образования для белорусских драматургов и режиссеров; [5] продвигать идеи свободы творчества и демократических принципов в театральной сфере Беларуси”.

Здесь невозможно не оговорить некоторых фактов, связанных с деятельностью данного движения. Прежде всего значение имеет особая политическая ситуация в Беларуси, которая отражается в том, что в официальной прессе и телевидении (а только таковые практически действуют на территории страны) о „Свободном театре” даже не упоминается, его просто как бы не существует, кроме этого, со стороны властей создаются постоянные преграды на пути развития вышеупомянутого движения вплоть до арестов. В подтверждение этих слов позволю себе привести цитату из журнала „The Observer” за 10 февраля 2008 года: „Белорусский «Свободный театр» был создан в 2005 г. с целью постановки неподцензурных спектаклей, в ответ на авторитарный режим президента Александра Лукашенко, который подавляет свободу выражения так же, как и политическую оппозицию. В августе 2007 г., представление театра было штурмом взято государственной полицией, и 50 человек были арестованы”.

Ничего удивительного, что театр проводит репетиции и представления в секретной обстановке, более того, места постоянно меняются и подаются часто за несколько часов до спектакля. Случалось даже, что представления проходили на частных квартирах. Большинство актеров и режиссеров, выступающих в представлениях потеряла работу, а некоторые также место жительства. В сущности, принимая во внимание диктаторский характер белорусской власти, нельзя удивляться преследованиям с их стороны, достаточно присмотреться к репертуару „Свободного театра”, чтобы понять беспокойство власть имущих. Одним из первых спектаклей, выставленным силами движения, была пьеса драматурга из Уфы Наталии Мошиной *Техника дыхания в безвоздушном пространстве*, написанная, несомненно, под влиянием *Кислорода* Ивана Вырыпаева. Уже перед премьерой начался сильный прессинг со стороны властей, угрожающих расторжением договоров и прекращением официальных отношений со всеми, кто так или иначе был задействован в „Свободном театре”. Однако премьера состоялась, но привела к запрету на дальнейшие показы данного произведения. Следующим проектом, который своеобразно представлял действительность в Белоруссии, был спектакль *Мы. Самоидентификация*. Он был создан из четырех пьес, причем три из них – *Друг (Сестра для мертвеца)* Константина Стешика, *Дело принципа* Павла Рассолько и *Родина-2* Павла Пряжко – это своеобразные попытки проанализировать такие темы как смерть, доверие, брак, свобода в современных реалиях, а четвертая, также принадлежащая перу Павла Рассолько, *Карты и было в два ствола*, написанная с помощью техники „вербаиум”, как бы пронизывает и объединяет произведение в одно целое. Потом появились *Поколение Jeans* и *Быть Гарольдом Пинтером* авторства художественного руководителя „Свободного театра” Николая Халезина. В 2007 году „Свободный театр” был принят в Европейскую театральную конвенцию, объединяющую около 35 ведущих театров из различных

выступили Николай Халезин⁴ и Наталья Коляда. Первоначально этот проект был направлен прежде всего на развитие белорусской драматургии, прежде всего современной, однако после многочисленных репрессий со стороны властей, приобрел своеобразный статус нелегального, андеграудного театра. Это в большой степени определило характер и тематику произведений „Свободного театра”, носящих часто ярко выраженные документально-политические черты. Первым из спектаклей, принесших международный успех и признание коллектива ведущими театрами мира, было представление *Быть Гарольдом Пинтером*⁵, в основе которого лежат фрагменты пьес⁶ английского драматурга, поэта, активного политического деятеля и отрывки из его выступления при получении Нобелевской премии. Этот материал переплетается с высказываниями белорусских политических заключенных, вставляя тем самым ситуацию в Беларуси в мировой контекст. Спектакль представляет различные проявления насилия от внутрисемейных до репрессий, направленных властями различных государств против граждан:

стран, кроме того ему была присуждена одна из самых престижных театральных наград Европы – Премия Европы.

Необходимо заметить, что при проекте „Свободный театр” возник Международный конкурс современной драмы, почитателями которого являются Вацлав Гавел и Том Стоппард. На последний – пятый по счету – было прислано 390 пьес из 12 стран. Данные сведения появляются также в моей статье *Любовь к свободе или „Простая история” в стране страха*.

⁴ Биографическая справка взята из интервью Сергея Элькина с Николаем Халезиным, оставшегося 8 февраля 2007 года в Минске: „Николай Николаевич Халезин родился в 1964 году в Минске. Художник, драматург, журналист. Один из основателей и сценограф Минского альтернативного театра. Один из учредителей галереи «Вита Нова» (позднее – Центр современного искусства). Создатель газеты «Имя» (1995–1998 годы) и автор проекта *Тадж-МаХал* в этой газете. Работал в белорусскоязычных газетах «Навіны» и «Наша свабода», закрытых властями Беларуси. Занимался полит. консалтингом, участвовал в создании сайта *Хартия-97* (<http://charter97.org/rus/news/>). Пьеса Халезина *Я пришел* вышла в финал Берлинского международного фестиваля современной драматургии и получила несколько российских театральных премий. 30 марта 2005 года Халезин со своей женой Натальей Колядой создали «Свободный театр». Сегодня Халезин – художественный руководитель этого театра”. Информация доступна на: <http://sergeyelkin.blogspot.com/2007_08_01_archive.html>. Данные сведения появляются также в моей статье *Любовь к свободе или „Простая история” в стране страха*.

⁵ Спектакль *Быть Гарольдом Пинтером* (режиссер Владимир Щербань) был выставлен в 2007 году в Минске, однако во время представления все участники, в том числе и зрители, были арестованы. Однако показ все же прошел позже в частном доме в деревне Кучуны (Минская область). Позже представление попало на сцены Москвы, Лондона, Мельме (Швеция), Нью-Йорка, принося везде успех и награды.

⁶ В спектакле *Быть Гарольдом Пинтером* использованы фрагменты пьес Пинтера *Былые времена*, *Возвращение домой*, *Перед дорогой*, *Прах к праху*, *Горский язык* и *Новый мировой порядок*. Отметим также, что Гарольд Пинтер из всех театров в Беларуси позволил только „Свободному театру” использовать свои произведения.

„Истина в драме – всегда неуловима”, – говорил он [Гарольд Пинтер] в своей речи. И действительно, постановка Владимира Щербаня постепенно переходит в явно более политические, леденящие кровь пьесы Пинтера, такие как *Перед дорогой*, в ходе которой следователь ведет необоснованный допрос, применяя все более изощренные пытки обессиленной семьи политзаключенных.

Ближе к концу спектакля *Быть Гарольдом Пинтером*, когда смотрим фрагменты из *Горского языка* и *Прах к праху*, мы начинаем понимать, что далее мы слышим не слова Пинтера, а откровения настоящих белорусских политических заключенных. К этому моменту все пространство сцены уже находится в кромешной темноте. Мы становимся свидетелями, как актеры, люди, находящиеся на сцене, были подвержены бесчеловечному насилию и унижению. Это шокирующе и незабываемо. Благодаря таланту Владимира Щербаня, актеры, в составе семи человек, придают невероятную силу словам Пинтера. Мы начинаем осознавать, что, какие бы пытки и акты насилия не демонстрировались на сцене, на самом деле, все эти вещи происходят по сей день в нашей повседневной жизни⁷.

Примечательно, что в спектакле, кроме сведений о принципах создания героев и ситуаций своих произведений, появляются также рассуждения Пинтера на тему сущности и целей политического театра, перенятые, как кажется, представителями „Свободного театра”:

Политический театр ставит перед драматургом совершенно иные задачи. Здесь надо любой ценой избегать морализаторства. В данном случае объективность – неперемное условие. [...] Политический язык, то есть язык, на котором изъясняются политики, – это нечто совсем другое, ведь большинство политиков, насколько мы знаем, интересуется не правда, а власть и сохранение этой власти. Для сохранения же власти им необходимо держать людей в неведении – чтобы люди не знали правды, даже правды о собственной жизни. [...] Я считаю, что, несмотря на огромные трудности, мы, граждане, обязаны проявить непоколебимую и упорную решимость и установить истинную правду о нашей жизни и нашем обществе, такова наша обязанность. Таков наш долг.

И эта решимость должна найти воплощение в нашем политическом видении, иначе нет надежды на восстановление того, что мы уже почти утратили – человеческое достоинство⁸.

⁷ Из рецензии на спектакль Дэвида Гордона на nytheatre.com за 6 января 2011. Доступно на <http://dramaturg.org/?lang=ru&menu=expand_article&article_id=2597661322>, доступ 20.05.2011.

⁸ Цитирую по рукописи, присланной мне Николаем Халезиным.

Эти последние слова как нельзя лучше относятся к пьесе *Поколение jeans*⁹, написанной Николаем Халезиным, при участии его жены Натальи Коляды. Сам автор назвал свое произведение „одой новой генерации”, о чем свидетельствует не только тематика, но и целый ряд мероприятий, связанный с постановками спектакля. Так, например, в марте этого года в Лондоне прошла манифестация, направленная на то, чтобы привлечь внимание мировой общественности на ситуацию в Беларуси, среди ее участников появились звезды такого формата как Джуд Лоу, Кевин Спейси или Том Стоппард, а также представители более чем десяти английских театров¹⁰. Кроме всего этого, *Поколение jeans* была первой в истории пьесой, выставленной в Большом зале комитетов Палаты общин Британского парламента, а главную роль сыграл Джуд Лоу¹¹. Все эти факты свидетельствуют о несомненной актуальности и большой эмоциональной насыщенности произведения Халезина. Причиняется к этому не только тематика, но и способ ее представления.

Итак, в пьесе выступают только два персонажа: Герой и Ди-джей, причем последний участвует в представлении только посредством музыки: „Начинает звучать музыка. На протяжении всего спектакля между Героем и Ди-джем происходит бессловесный диалог, временами понятный только им двоим”¹². Для максимальной сосредоточенности на тематике сценическое пространство максимально упрощено: кроме ди-джейского пульта, на сцене находится только „ширма, составленная из четырех решетчатых металлических панелей”. Герой выходит на сцену с большой сумкой, из которой в течении спектакля извлекает различные предметы, соответствующие рассказам.

⁹ Пьеса вышла в сборнике *Поколение Jeans: пьесы молодых драматургов Беларуси* в переводе на белорусский Андрея Коляды (сост. Н. Халезин, Н. Коляда, Минск 2007). Кроме этого, в сборнике *Rock'n'Roll для накаления Jeans*, в котором содержится пьеса Тома Стоппарда и две Николая Халезина (в соавторстве с Натальей Колядой). Минск 2009. Необходимо отметить, что предисловие к сборнику написал известный писатель и политический деятель, бывший Президент Чехословакии и первый Чехии Вацлав Гавел, активно поддерживающий „Свободный театр”.

¹⁰ Отметим, что в 2007 году „Свободным театром” была начата инициатива Глобальной артистической кампании солидарности с Беларусью, которую активно поддержали Том Стоппард, Вацлав Гавел, Гарольд Пинтер, Мик Джаггер, Стивен Спилберг, Ариана Мнушкиана, Эмма Томпсон, Джуд Лоу, Сиенна Миллер, Алан Рикмен, Джереми Айронс, Марк Равенхилл, Сэм Уэст и многие многие другие. Больше информации на сайте „Свободного театра” <http://dramaturg.org/?lang=ru&menu=expand_article&article_id=1447732681>, доступ 20.05.2011.

¹¹ Специально по этому случаю текст пьесы скорректировал Том Стоппард, разбивая его на абзацы, в результате чего получился своеобразный диалог на русском и на английском языках.

¹² Здесь и далее цитирую по рукописи, присланной мне автором.

Герой – это, как кажется, обычный человек, каких могут быть тысячи, однако в течение пьесы появляется все больше и больше информации из биографии самого автора, придавая тем самым произведению особого рода документализм, основанный, однако, не на сухих фактах и цифрах, а на рассказах их участника. Монолог героя начинается с его воспоминаний о первых джинсах, о „фарцовках” фирменными целлофановыми пакетами, благодаря которым он мог эти джинсы приобрести. Перед нами постепенно разворачивается образ Беларуси восьмидесятых – начала девяностых, когда „веяния Запада” только начали проникать в еще на то время Советскую Республику. В этом процессе важную роль играла Польша, которая для большинства граждан коммунистической державы была окном в европейскую цивилизацию:

Пластинки пластинками, но больше всего на свете хотелось продавать джинсы и называться фарцовщиком. Выходить вечером на „Парковую”, забуиваться в „Ромашку”, выпивать там коктейль с черносливом, перекидываться парой фраз с местными „зондершами”, и идти в „Юбилейку” „бомбить панов”. (Пауза) Понимаю, что это теперь малопонятный бред, но так было... было так... (Пауза) „Парковая” – это Парковая магистраль, которая теперь называется проспектом Победителей; „Юбилейка” – гостиница „Юбилейная”; „зондерши” – валютные проститутки... а выражение „бомбить панов” не содержало и капли агрессии – это значило „покупать товар у заезжих поляков”. [...] Мы не могли и думать о покупке квартиры или хорошей машины. Об этом думали какие-то специальные люди, которые вращались в каких-то специальных сферах... В тех сферах, где фигурировали иномарки и бриллианты, посольства и торгпредства, продовольственные пайки и лечкомиссия... Нашим продовольственным пайком был коктейль с черносливом в „Ромашке”; торгпредством – „Юбилейка”; послами – приезжие польские строители, а бриллиантами – пластинки Led Zeppelin и Rolling Stones.

Постепенно перед зрителем/читателем из воспоминаний героя возникает образ представителя молодого поколения – человека, желающего самому решать, как должна выглядеть его жизнь:

Мы хотели знать все про Мика Джаггера, и ничего – про коммунистическую партию. Потому что понимали – именно эта сраная партия не пускает к нам Мика, и не позволяет нам вживую услышать *Satisfaction*! Американский и британский флаги стали для нас знаками свободы – и чем больше коммунистические власти рассказывали нам о „бесчинствах американских агрессоров”, тем больше нам хотелось иметь майку со звездно-полосатым флагом на груди. Мы мечтали тоже быть „агрессорами” и бесчинствовать... на концертах Sex Pistols или AC/DC.

Здесь видно естественное желание быть свободным человеком, а символами этой свободы становится рок-музыка и джинсы. В этих воспоминаниях героя появляются также описания первых столкновений с властями, пытающихся всячески противостоять распространению свободолобивых мыслей и „растлевающих действий Запада”. Одним из таких эпизодов является рассказ о задержании молодого „фарцовщика” в гостинице для иностранцев специальными органами:

„Уходить с товаром” нужно тихо. Сначала послушать коридорные звуки, затем выйти и добраться до лестницы, благополучно миновав горничную, потом – вниз по лестнице, фойе, улица... Но все это лишь в том случае, если швейцар дядя Миша и старуха-ключница не стукнули... Ну, а если стукнули... Ну, а если стукнули, то на пути к лестнице тебя ждут два мужчины в серых костюмах. Они мельком смотрят на твою спортивную сумку, приближаются, и один из них говорит таким же, как костюмы, серым голосом: „Пройдемте”... Лаконично так – „*пройдемте*”. В этот момент можно было сделать такой взгляд, который как бы говорил: „Я – посол Соединенных Штатов Америки. Я обладаю дипломатической неприкосновенностью”. (Короткая пауза) Именно такой взгляд две этих серых мыши видели по несколько раз за вечер... и никогда не верили ему. (Короткая пауза) Не верили потому, что знали – посол США никогда не пойдет в гостиницу „Юбилейная” покупать джинсы у заезжего польского строителя.

Далее в пьесе монолог главного героя диалогизируется, представляя сценку с допроса, важно отметить, что здесь автор пренебрежительно называет следователя „мышь за столом”. Задержавшие, понимая, что перед ними только мелкий спекулянт, пытаются склонить его к сотрудничеству, которое основывалось бы на доносах. Интересуют их прежде всего „люди, которые скупают у иностранцев валюту: доллары, франки, немецкие марки...”, с этой целью в ладонь главного героя всовывается номер Сергея Ивановича, которому нужно позвонить, в случае встречи с валютчиками. Сам „фарцовщик”, однако, только и мечтает о том, чтобы как можно скорее выйти из маленькой комнатки серого цвета и чтобы у него не отобрали товар – четыре пары джинсов. На этот раз ему везет, и первым делом, почти убегая со своей сумкой из гостиницы, герой идет в бар „снять стресс”. Этот бар представляется как некая схема нелегальных отношений внутри государства:

В баре всегда можно было встретить кого-то из знакомых. Одни из них приходили потусоваться и снять девушек, другие – по фарцовой нужде, а третьи... Про третьих говорить было не принято – они жили своим миром.

Именно про них „мышь” хотели получать какую-то информацию. Но какую?! Какую информацию мог дать рядовой фарцовщик о валютчиках, каталах, цеховиках?.. Фарцовщики общались с фарцовщиками, а валютчики с валютчиками. Именно поэтому урны были полны календарных листочков с надписью „Сергей Иванович 229-33-15”.

Из этого высказывания четко видно, что главный герой, хотя и функционирует в этом своеобразном мире, однако с ним себя не идентифицирует:

Джинсы были для нас символом свободы – свободы доступной. К тому же, они были кусочком Америки или Британии – недоступных нам центров мира настоящей музыки и настоящего кино. Настоящих! Не наших вечных подделок „под...”. Не кино про Америку, снятое в Прибалтике... На-сто-я-щих!!!
Знаете, для чего мы фарцевали джинсами и пластинками? Для чего нам нужны были деньги? *(Пауза)* Чтобы покупать пластинки и джинсы. *(Пауза)* Ну, еще, может быть, хороший магнитофон... *(Пауза)* И все. Все!
Мы не знали, что можно хотеть чего-то еще. Джинсы и музыка были нашими символами достатка. А что же еще?! Пластинка Джимми Хендрикса американского производства была нам дороже модных зимних сапог, а 501-й Levi's затмевал синим потертым джутом буржуазные дубленки...

Далее представлены размышления о том, как должна выглядеть политика, и какая должна быть роль правительства и Президента в этом, причем своеобразным толчком к этому служит 1994 – год, в котором Лукашенко приходит к власти. Здесь появляются также рассуждения о роли спонсоров в искусстве и о роли самого искусства в жизни как государства, так и каждого человека в отдельности. В процессе этих высказываний, можно сделать вывод, что самой важной чертой для героя кажется прежде всего искренность и настоящие идеалы, в которые каждый должен верить. Именно поэтому он противопоставляет деловой костюм, за которым стоит притворство и ложь, „свободным” джинсам:

Политик в джинсах – нонсенс. Политик – это костюм. Если политик левый – костюм скромный, если правый – костюм дорогой. Политики не ходят в джинсах – в джинсах ходят борцы за свободу. Для костюмов – кабинеты, для джинсов – баррикады. Диктаторы не любят джинсов – они любят темные костюмы и военные френчи. Я не люблю костюмы, и поэтому мое место оказалось на улице... на баррикадах.

Так рассказ постепенно переносит нас в уже современную Беларусь, в которой сам Халезин был несколько раз арестован за манифестации и выражения протеста против все большему и большему угнетению со стороны властей. Так, вкладывая слова в уста своего героя, драматург рассказывает о своей деятельности, о задержаниях, об издевательствах над арестованными, о тюремном быте, о сокамерниках, о других борцах за свободу, о своей встрече с будущей женой – Натальей, совместной жизни. Здесь необходимо отметить, что благодаря частым появлениям сленга, разговорных оборотов, а иногда и вульгаризмов, речь героя кажется очень естественной и искренней, без тени мученичества и желания возвыситься:

Свой первый арест я помню очень хорошо. Да, собственно, их было-то всего ничего... *(Пауза)* Не хочется выглядеть таким пафосным уродом *(с пафосом)*: „Я и мои аресты!“. Нет никакого пафоса, тем более что у нас в стране есть люди, которых арестовывали по 20, 30... по 50 раз... Настоящие герои. *(Пауза)* Настоящие Jeans!

Здесь появляется определение *Jeans*, ясно свидетельствующее, что это значит для главного героя. Настоящие Jeans – это люди, не боящиеся постоять за свои права, не пугающиеся репрессий и насилия, направленных на то, чтобы сломить волю и уничтожить человеческое достоинство, превращая людей в немыслящих рабов и невольников страха. А почему именно Jeans, сам герой отвечает, что:

Джинсы могли появиться только в свободной стране. Ни на что не похожие штаны – даже вытираются у каждого индивидуально. Нет двух пар одинаковых джинсов, как нет одинаковых судеб.

Халезин, желая представить ситуацию в Беларуси, а скорее даже людей, жертвующих своим добробытом, безопасностью, а иногда даже жизнью для того, чтобы обрести свободу, вводит в пьесу исторические лица, знакомые каждому и ставшие своего рода символами – иконами борьбы с несправедливостью, ложью и преступной деятельностью государства:

Мартин Лютер Кинг был jeans... и Махатма Ганди – jeans... Мать Тереза – jeans... и Андрей Сахаров... [...] Лех Валенса был jeans... и Даниэль Ольбрыхский – jeans... Збигнев Буяк – jeans... и Папа Иоанн Павел II – jeans...

Эти люди, несомненно, сыграли огромную роль в распространении идеалов свободы личности, свободы слова, призывали к толерантности и уважению других людей, культур, традиций. Именно поэтому драматург ставит их как пример поколения свободных людей – поколения Jeans:

Наверное, каждый из вас сейчас хочет спросить: а я – jeans? *(Пауза)* Вам лучше знать. Если человек пришел к возрасту, когда положено носить костюм и галстук, но продолжает носить джинсы – это еще не факт, что он принадлежит к поколению jeans. Поколение Jeans – это люди свободы! Они не принадлежат к определенной возрастной группе, расе, сословию...

Одним из таких людей является и герой пьесы, а тем самым и сам автор причисляет себя к этой категории. Называя произведение „одой новой генерации”, Халезин, как кажется, обращается к своим соотечественникам и представителям других стран с призывом не поддаваться и не предавать свои идеалы. Как пример герой рассказывает о Яне Палахе – одним из поколения Jeans, который сжег себя в 1969 на центральной площади Праги, освобождая:

Дух, которому было тесно среди цинизма и лжи.

Дух, который восходил к свету, обрекая себя на вечную жизнь.

Дух, у которого хватило сил вдохновлять новые поколения на борьбу за свободу.

Толпы студентов провожали Палаха, несмотря на запрет и насильственные действия по отношению к участникам властей. Однако смерть чеха пробудила нечто в народе и привела к бархатной революции, начавшуюся в 20-летие смерти Яна.

В этой, как и в остальных историях, которые рассказывает герой пьесы, доказывается, что иногда одна личность может изменить целый мир. Благодаря этой идее и введению исторических событий, лиц, пьеса становится своеобразным манифестом, обращением, призывом, свидетельствует об этом также и следующий факт, введенный в произведение:

16 сентября 2005 года на центральную площадь Минска вышли молодые люди. Они принесли с собой национальный флаг – бело-красно-белое полотнище. *(Пауза)* В эзотерике красный цвет означает мужество, белый – сострадание... *(Пауза)* Они и вышли на площадь с отчаянным мужеством и состраданием к погибшим... На подходе к площади сотрудники милиции отняли флаг... И тогда молодой человек по имени Никита снял с себя джинсовую рубашку и привязал к древку.

Когда джинсовая рубаша поднялась над толпой, это была уже не рубаша, а флаг – флаг Поколения Jeans – генерации свободных людей.

Интересным приемом, вносящим еще более реалистическое ощущение всего происходящего, является просьба главного героя, обращенная к зрителям:

Вы тоже можете попробовать, и сразу почувствуете, что стало легче... Можно хором: я сво-бо-ден!. Хором. Хором легче. Раз, два, три... Я сво-бо-ден!!! Еще раз – громче! Я сво-бо-ден!!! (*Достает из сумки милицейскую дубинку, замахивается на зрителей, сидящих в первом ряду... пауза*) А теперь? Ну?!! (*Короткая пауза*) Тяжело, правда?.. Знаю, тяжело... но хочется... (*Пауза*) Вот когда „хочется” больше, чем „тяжело” – человек становится свободным... и отважным...

Именно благодаря введению в пьесу исторических фактов, сведений из собственной биографии, способу представления – свободному и эмоциональному рассказу, произведение особо воздействует на зрителя/читателя, становясь своего рода репортажем, документом, описывающим белорусскую действительность, помещая ее в контекст мировой истории борьбы за свободу. *Поколение jeans* – это одно из немногих произведений на свете, которое пробудило людей действовать – организовывать акции протеста, помогать репрессированным, даже просто сочувствовать. Из-за своей искренности и большой эмоциональной насыщенности пьеса, как своеобразное зеркало белорусской реальности, смогла повлиять на действительность в целом мире, призывая к борьбе за духовные ценности и идеалы, величайшим и наиболее важным из которых является свобода.

Streszczenie

Ikony pokolenia jeans

Nikołaj Chalezin – бiałорускі драматопісарз і кіроўнік „Wolnego teatru” w niektórych swoich sztukach wprowadza postacie historyczne, które odegrały znaczącą rolę w walce o wolność jego kraju. Artykuł analizuje znaczenie i sposób ukazywania bohaterów sprzeciwiających się totalitaryzmowi na przykładzie „politycznych” dramatów *Pokolenie jeans* i *Być Haroldem Pinterem*. Wprowadzając do swoich sztuk postacie historyczne, Chalezin ukazuje podobieństwa i paralele do obecnej sytuacji na Białorusi, tworząc w ten sposób specyficzny gatunek dramatu: reportaż będący jednocześnie swojego rodzaju manifestem i to skierowanym nie tylko do rodaków, ale również do całego świata.

Summary

The icons of jeans generation

Several plays by Nikołaj Chalezin – Belorussian playwright and head of “Free Theater” – feature historical characters who had a dominant role in their country’s strife for freedom. Drawing on the examples of two “political” plays – *The Jeans Generation* and *To Be Herold Pinter* – the article is an attempt to illustrate how the national heroes were portrayed and what meaning it holds in the context of the anti-totalitarian resistance. By introducing historical figures into his works, Chalezin depicts certain parallels to the current state of affairs in Belarus. In doing so, he creates a specific type of drama – a reportage, which at the same time becomes a certain manifesto, addressed not only to his compatriots, but also to the entire world.

Olga Letka-Spychała
Olsztyn

Metaforyzacja lustra w cyklu Inny Lisnianskiej *Stare lustro*. Próba kognitywnej analizy wybranych utworów

Metafora od wielu wieków była przedmiotem rozważań i dociekań wielu filozofów, literaturoznawców, językoznawców oraz teoretyków literatury. Arystoteles określił ją jako: „przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną: z rodzaju na gatunek, z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną na zasadzie analogii”¹. Definicja ta na przestrzeni lat uległa wielu modyfikacjom, wielokrotnie była poddawana krytyce, gdyż zarzucano jej pewne uproszczenie problemu, a co za tym idzie niekompletność i nieprecyzyjność. Ogromnym niedostatkiem Arystotelesowskiej teorii substytucji było przede wszystkim potraktowanie metafory w sposób marginalny oraz skupienie uwagi tylko na jej walorze dekoracyjnym. Według Arystotelesa, metafora i język przenośny nie wpływają na tworzenie nowych jakości, nie powołują również do życia nowych sensów i znaczeń, natomiast chronią język przed pospolitością, wzbogacając go wyszukаныmi wyrażeniami. Jak stwierdził filozof: „Użycie glosy, metafory, ozdobnika i innych tego rodzaju wspomnianych form uchroni język poetycki od pospolitości i przyziemności, a słowa obiegowe zapewnią mu jasność”².

Koncepcja antyczna traktowała metaforę jako mechanizm oparty na zasadzie substytucji wyrażającej się nie tylko poprzez transpozycję znaczeń bądź zastąpienie jednej kategorii rzeczy inną, ale również jako rozszerzenie znaczenia nazwy przez odstępstwo od literalnego znaczenia słów. Uzasadnieniem tego odstępstwa według retoryków było obiektywne podobieństwo, na którym opiera się porównanie zastępowanego (tego, co porównujemy – *comprandum*) i zastępującego (tego, do czego porównujemy – *comparans*)³.

¹ Cyt. za: O. Jakel, *Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu*, przeł. M. Banaś, B. Drag, Kraków, 2003, s. 56.

² Cyt. za: G. Lakoff, M. Turner, *Metafory w naszym życiu*, przeł. i wstępem opatrzył T. P. Krzeszowski, Warszawa 1980, s. 52.

³ J. Świątek, *W świecie powszechnej metafory*, Warszawa 2003, s. 20.

Uchwyceniu metafory z zupełnie innej perspektywy oraz głębszemu zastanowieniu się nad jej rolą w sytuacjach codziennej komunikacji sprzyjało pojawienie się w 1975 r. w Stanach Zjednoczonych kognitywizmu – interdyscyplinarnej nauki zasadzającej się przede wszystkim na ludzkim poznaniu, a także odwołującej się do działania ludzkiego umysłu. Ogromny wkład w rozwój tej dziedziny, a przede wszystkim w teorię metafory wniosła praca George’a Lakoffa i Marka Turnera pt. *Metafory w naszym życiu*. Różniąc się od tradycyjnego, klasycznego pojmowania metafory jako atrybutu języka poetyckiego teoria opiera się przede wszystkim na stwierdzeniu, zgodnie z którym: „Metafory są tak powszechnym zjawiskiem, że często nawet ich nie dostrzegamy. Używanie, rozumienie i tworzenie metafor musi uchodzić za element ogólnej kompetencji językowej, zatem należy zeń uczynić przedmiot semantyki lingwistycznej”⁴.

Kognitywna teoria metafory zdecydowanie przeciwstawiła się traktowaniu jej jako swego rodzaju ozdobnika czy też elementu „upiększającego” utwory literackie. Lakoff podkreślił ogromną wartość wyrażen metaforycznych, które według niego są głęboko zakorzenione w koherentnym systemie pojęć każdego człowieka, przez co stają się zjawiskami nie tyle językowymi, co pojęciowymi. Teza Lakoffa, jakoby metafory były zakotwiczone w myślach, a także języku, którym posługujemy się w codziennych sytuacjach, implikuje stwierdzenie, iż rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy warunkuje funkcjonowanie metafory. Autor ten przybliżył w swych dociekaniach istotę metafor konceptualnych, określając je jako „powstające na skutek systematycznego powiązania dwóch różnych domen pojęciowych, z których jedna (X) funkcjonuje jako domena docelowa, zaś druga (Y) jako domena źródłowa metaforycznego rzutowania”⁵. Możemy dostrzec tutaj sprzeczność z teorią klasyczną, która sytuowała metaforę jako relację w obrębie pojedynczych słów, co uniemożliwiało dotarcie do *verbum proprium*, czyli słowa właściwego.

Pobieżne przywołanie powyższych koncepcji nie jest bezcelowe, gdyż w procesie interpretacji motywu lustra na materiale utworów Inny Lisnianskiej wielokrotnie odwołam się do metody kognitywnej analizy. Dlatego też nadrzędnym zadaniem niniejszego artykułu będzie próba wskazania nie tylko zależności pomiędzy wspomnianą już domeną docelową, jaką u Lisnianskiej jest LUSTRO, a domenami źródłowymi, ale również korelacji między tymi domenami i rolą, jaką w utworach wypełnia zwierciadło.

⁴ Cyt za: G. Lakoff, M. Turner, op.cit., s. 52.

⁵ Cyt za: ibidem, s. 56.

Przedmiot badań stanowi cykl wierszy zatytułowany *Старое зеркало* pochodzący z 2002 r.⁶ Cykl zawiera czternaście wierszy powiązanych ze sobą motywem lustra i jego odbicia, których charakterystyczną cechą jest emocjonalność wyrażająca się w takich stanach, jak melancholia, przygnębienie oraz tęsknota. Kumulację tych uczuć najwyraźniej możemy zaobserwować w wierszu pt. *Ностальгия зеркала*, będącym wyrazem tęsknoty za rodzinnym Baku, za dzieciństwem, a także przejmującym obrazem samotności. Jak czytamy w utworze:

Чем дольше нахожусь вдали от места,
Где выросла, где улицы узки,
Тем реже нахожу себе я место
Свободное от въедливой тоски.
(*Ностальгия зеркала*)

Nostalgia jest nostalgią spersonifikowanego lustra zdefiniowanego jako „полуживое существо, которое много помнит”.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż tematyka cyklu oscyluje wokół problemów egzystencjalnych. Poruszona zostaje kwestia upływu czasu, przemijania, których wyznacznikiem staje się tytułowe stare lustro. Lisnianska w całym utworze nie powstrzymuje się od subiektywnych opinii. Z wrodzoną prostotą egzystencjalno-ontologiczne problemy zamyka w kilku lakonicznych wypowiedziach do złudzenia przypominających maksymy. Przykładem jest chociażby utwór *Искажение*, gdzie czytamy: „Как меж пальцами вода или песок/Утекает наше время между строк...”. Należy podkreślić, iż kategoria czasu dominuje w całym cyklu rosyjskiej poetki. Przytoczony powyżej cytat traktować możemy jako rozbudowaną metaforę skonstruowaną na zasadzie porównania (WODA, PIASEK – *comprandum*, CZAS – *compranas*), co umożliwia zestawienie pozornie odmiennych domen. Przypomnijmy, iż dla Lakoffa „metafora jest połączeniem dwóch konceptualizacji czy znaczeń poprzez rozszerzenie znaczenia, które jest konsekwencją założenia, że do kategoryzacji w języku naturalnym stosuje się zasady teorii prototypów”⁷. We fragmencie swego wiersza Lisnianska dokonała kategoryzacji CZASU poprzez wykorzystanie podobieństwa rodzinnego z elementami pe-ryferyjnymi, czyli PIASKIEM i WODĄ. Oprócz zastosowania motywu żywiołów, poetka za pomocą predykatu „утекает” podkreśliła nie tylko upływający czas, ale odwieczny ruch, któremu podlega wszystko we wszechświecie (nasuwa się tu podobieństwo ze stwierdzeniem Heraklita z Efezu *panta rhei* – wszystko płynie).

⁶ И. Лиснянская, *Старое зеркало*, „Знамя” 2002, № 4 (wszystkie cytaty na podstawie tego wydania).

⁷ Twórczynią teorii prototypów jest Eleonore Rosh.

Występowanie PIASKU oraz WODY w charakterze peryferii motywowane jest sposobem funkcjonowania obu domen w naszym systemie pojęciowym. WODA implikuje skojarzenia z ciągłą zmiennością, dynamiką, gdyż płynie tak samo jak CZAS. PIASEK natomiast jest częścią pewnego schematu mającego źródło w europejskiej kulturze. Mowa jest tu oczywiście o klepsydrze, która odmierza czas, przez co staje się jednym z jego głównych symboli. Lisnianska posłużyła się synekdochą, gdzie charakterystyczna część (PIASEK) jest wyznacznikiem całości – klepsydry (część za całość – *pars pro toto*). Konceptualizacja czasu w kategoriach wspomnianych elementów peryferyjnych odbywa się w oparciu o cechy fizyczne oraz doświadczanie ich poprzez dotyk (woda przeciekająca przez palce oraz przesypujący się piasek). W przeciwieństwie do PIASKU oraz WODY CZAS nie jest odbierany przez żaden ludzki zmysł. Zostaje on poprzez Lisnianską umiejscowiony w zupełnie innej sytuacji kontekstowej, czyli ramie obejmującej szeroko pojętą twórczość poetycką, której symbolem w pierwszej kolejności jest wiersz, a zaraz za nim wers.

CZAS w swej istocie warunkuje przemiany zachodzące w autorce cyklu, jak również wpływa na jej poezję. Oddziałuje na przedmioty, w tym na lustro, zmieniając jego fizyczność (lustro staje się stare). Stare lustro, które poddało się czasowi, rozpatrywać należy dwojako – z jednej strony jest ono „zużyta”, niepotrzebną, zapomnianą rzeczą, z drugiej symbolem pewnego nabytego doświadczenia. Konstrukcja sceny w cyklu *Старое зеркало* jest przeważnie upodmiotowiona, gdyż podmiot liryczny jako konceptualizator pełni rolę obserwatora, sam w danej scenie nie uczestnicząc. Subiektyfikacja dotyczy również samej poetki, która utożsamia się ze starym zwierciadłem. W przytoczonym utworze *Ностальгия зеркала* ogromną rolę odgrywają wspomnienia autorki cyklu, która w chwili powstania utworu miała 80 lat. Być może podeszły wiek Lisnianskiej oraz nieustanne sięganie pamięcią do czasów dzieciństwa sprawiły, iż mimowolnie wcieliła się w tytułowe stare lustro.

Postać autorki cyklu jest niezwykle intrygująca, w pełni identyfikuje się bowiem z bohaterką liryczną znajdującą się w nieokreślonej przestrzeni – na granicy jawy i snu, „w” lustrze i „poza” nim. Lisnianska, podobnie jak podmiot liryczny, z ogromną wrażliwością odbiera sygnały płynące wprost z otaczającego ją świata, potrafi zauważyć jego najdrobniejsze detale. Podobieństwo przejawia się również w emocjach towarzyszących autorce i lirycznemu „ja”. W obydwu przypadkach odczuwalne jest wyalienowanie oraz poczucie obcości. Lisnianska w stosunku do własnej osoby stosuje takie określenia, jak: „одинокa”, „отчуждена”, w utworze *В проточном зеркале* stwierdza: „мир меня забыл”. Aleksander Sołżenicyn w następujący sposób scharakteryzował

twórczość poetki: „Всегда – напряжённое душевное чувство, а если покой (редко) – то глубинный. Ничего искусственного, никакой позы – всегда отсердечная искренность. Душа автора дрожит, а стих – в лёгком спокойном дыхании и плотен, безупречен по форме. Чувства передаёт лаконично, малыми деталями, иногда вторичными, третичными, даже исчезающими намёками, ничего прямо-грубо. Стихи всегда кратки (как это хорошо!), а в них – законченная мысль, чувство, образ, а то и афористические строчки. И за метафорами – нет никакой нарочитой погони, измышления их. Видно, много пришлось Вам пережить, а все боли и раны преодолены неуклонной силой духа. Из «душеломного мотива» вырастает осмысление жизни не только своей, но и вселенской [...]”⁸.

Cykl *Старое зеркало* rozpoczyna się od wspomnianego utworu *Искажение (Выпачение)*, co wprowadza pewną skazę na pozornie jednorodnej płaszczyźnie projektowanego obrazu. Przyjrzyjmy się konceptualizacji przestrzeni w utworze. W ramach oglądu znajduje się centralny element – lustro, które z punktu widzenia kognitywistyki traktowane jest jako schemat wyobrażeniowy, czyli: „obraz mentalny, wykorzystywany jako szablon, interpretując codzienne sytuacje”⁹. Schematy te – według Petera Stockwella, autora książki *Poetyka kognitywna* – stają się ucieleśnione, a przez to fizyczne i materialne.

Lustro, oprócz bycia schematem, jest także źródłem powstających na jego bazie metafor. Opierają się one na symbolice obecnej w cyklu Lisnianskiej w sposób bezpośredni lub zawoalowany. Symbolika ta ma korzenie przede wszystkim w pierwotnych wierzeniach, w których zwierciadło było postrzegane jako magiczny instrument. Uważano, iż z jego pomocą można przejść do „innego” świata. Negatywny aspekt lustra spotykamy w folklorze rosyjskim, gdzie postrzegane jest jako wynalazek diabła mający moc wydobywania ludzkich dusz z ciała. Ponadto lustro bardzo często było przedmiotem praktyki wróżbiarskiej – krystalomancji, o której wspomniała Lisnianska w utworze *Гадание на зеркале* dedykowanym Dmitrowi Poliszczukowi. Należy podkreślić, iż lustro jest „źródłem metafor”¹⁰ rozciągającej się na cały cykl Lisnianskiej. Z perspektywy holistycznej stanowi swoiste centrum, dominującą figurę, najbardziej wyeksponowany element, gdyż to właśnie na nim zogniskowana zostaje uwaga zarówno podmiotu lirycznego, jak i potencjalnego czytelnika. Spróbujmy dokonać skanowania sekwencyjnego, w którym „pewne elementy składowe scen

⁸ Zob. [online] <<http://books.vremya.ru/authors/1048-lisnyanskaya.html>>, dostęp: 15.06.2011.

⁹ P. Stockwell, *Poetyka kognitywna. Wprowadzenie*, przeł. A. Skucińska, Kraków 2003, s. 80.

¹⁰ Określenie Maksa Blacka.

czy też cechy będą postrzegane kolejno”¹¹. We utworze *Искажение* napotykamy kontynuację pierwszej, rozbudowanej metafory pojęciowej. Lisnianska stwierdza:

Утекает наше время между строк

О различных в этой жизни зеркалах –
О твоих чёрнорябиновых глазах,
Об озёрах, о наблещенных полах,

Медных трубах, самоварах и дверных
Медных ручках...

Jak już wspomniano, lustro pełni funkcję domeny źródłowej. W powyżej przytoczonym fragmencie zauważamy pewną prawidłowość – Lisnianska zestawia ze sobą obraz lustra z obrazem oczu, jezior, nabłyszczonych podłóg, zaliczając je do „различных в этой жизни зеркал”. Wyłaniają się tu metaforyczne konstrukcje: LUSTRO TO OCZY, LUSTRO TO JEZIORO, LUSTRO TO BŁYSZCZĄCE PODŁOGI. W wyniku analogii następuje odwzorowanie cech jednej domeny w drugiej. Oczy, jezioro, podobnie jak i lustro związane są ze zmysłem postrzegania, w nich możemy dostrzec odbicie czy to własnych uczuć (oczy), czy to samych siebie (lustro wody).

Nie bez znaczenia dla całego utworu pozostaje również przymiotnik „медный”, gdyż dzięki niemu następuje rozszerzenie ram kontekstowych o element historyczny. Otóż w starożytności i średniowieczu za lustra służyły przedmioty z polerowanego metalu – miedzi, brązu, srebra. Dlatego możemy uznać za w pełni uzasadnione przywołanie w utworze Lisnianskiej „медных ручек”, „самоварного серебра”, „спального никеля”, w których poetka nie może rozpoznać własnego odbicia.

Szczególną rolę w cyklu *Старое зеркало* odgrywają bezokoliczniki odnoszące się do zmysłu wzroku, wpatrywania się – „глядеться”, „всмотреться”, „увидеть”, co z punktu widzenia kognitywistyki generuje kierunek mentalnego skanowania odbywającego się horyzontalnie i zgodnie ze schematem: OCZY – PRZEDMIOT – WPATRYWANIE SIĘ – ODBICIE. Jak już wspomniano, poetka pomimo zabiegu „przecierania” powierzchni nie rozpoznaje siebie w przedmiotach i jak sama mówi:

¹¹ Definicja Elżbiety Tabakowskiej, patrz: *Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu*, Kraków 2001, s. 52.

Порошком зубным любила протирать
Шар из никеля, венчающий кровать,
Чтоб глядеться, и себя не узнавать

В медных ручках, в самоварном серебре,
В спальном никеле и в лужах на дворе,
Даже в горнах пионерских на заре.

(Искажение)

Wpatrywanie się w przedmioty – lustra obejmuje w cyklu Lisnianskiej stronę zewnętrzną człowieka, bez ingerencji w jego wnętrze, duszę:

Прежде умение в себя всмотреться
Давало мне, как ни странно, способность
Понять своё и чужое сердце,
Увидеть лица и вещи подробность,
Границу меж зеркалом и стеклом,
Меж точкой зрения и углом.

(Прежде умение в себя всмотреться...)

Wpatrywanie się w siebie obejmuje sferę wewnętrznego „ja”, które posiadało zdolność analizowania nie tylko siebie, ale i otaczającego świata. Utożsamienie własnej osoby ze zwierciadłem generuje metaforę pojęciową – JA TO LUSTRO, podkreślając tym samym jej antropocentryczną tendencję. Należy wspomnieć, iż według Olafa Jakela konceptualizacja bardziej konkretnych przedmiotów np. LUSTRA przebiega antropocentrycznie, poprzez personifikujące odwołanie się do samego człowieka¹². Potwierdzeniem tego są utwory z cyklu *Старое зеркало*, w których zostają uwypuklone coraz to inne atrybuty lustra. W odniesieniu do przedmiotu wykorzystywane są przede wszystkim predykaty świadczące o tym, iż jest ono żywą istotą.

Należy podkreślić, iż w poezji Lisnianskiej „antropocentryzm” przejawia się w strukturze pojęciowej LUSTRO TO JA. Przywołany konstrukt metaforyczny budowany jest przede wszystkim przez użycie w wypowiedzi pierwszej osoby liczby pojedynczej. Metafory z tej grupy są wyrazem pewnego egocentrycznego spojrzenia na świat bohaterki lirycznej. Do głosu dochodzą jej wewnętrzne emocje, postrzeganie świata przez pryzmat JA – LUSTRA. Niezwykle trudno w danej konstrukcji zidentyfikować grunt metafory, a więc to, co kognitywizm uważa za cechy wspólne dwóm strukturom pojęciowym (LUSTRO, JA). Przypomnijmy,

¹² O. Jakel, *Metafory...*, s. 45.

iż zgodnie z definicją metafory pojęciowej, jej działanie opiera się na odwzorowaniu cech jednej przestrzeni w drugiej (wówczas mamy do czynienia z amalgamem pojęciowym) bądź jednej domeny w drugiej.

Za egzemplifikację występowania metafory LUSTRO TO JA niech posłuży utwór *Монолог зеркала*. Wybór przez autorkę autonomicznej formy wypowiedzi, jaką jest monolog, świadczy nie tylko o silnym zabarwieniu emocjonalnym wiersza, ale również o samotności bohaterki lirycznej, która już w pierwszym wersie rozpoczyna relację wydarzeń z punktu widzenia lustra:

Под стеклянной кожей
Есть во мне душа.
Я стою в прихожей,
На окно дыша, –

Но в открытом настежь –
Перспективы нет,
Потому, что застишь
Ты мне белый свет.

За тобой – ни сада
Ни теченья дня...
Что же ещё надо
Вызвать у меня?
(*Монолог зеркала*)

Stosując metaforę oglądu, Lisnianska doskonale zarysowuje poszczególne elementy perspektywy. W ramie oglądu znajduje się „żywe” LUSTRO, które w swojej wypowiedzi zwraca uwagę na dwa ważne komponenty: skórę (w tym przypadku jest ona „lustrzana”) i duszę. Przekonanie LUSTRA o posiadaniu duszy świadczy o tym, iż nie jest ono martwym przedmiotem, jest obdarzone cechą charakterystyczną dla gatunku ludzkiego, która w pewnym sensie nobilituje jego istnienie.

Stopniowo rama kontekstowa ulega rozszerzeniu, gdyż następuje mentalny transfer, a więc celowe przeniesienie jednej przestrzeni do innej. W przypadku wiersza Lisnianskiej odbywa się ruch mentalny od „wnętrza” lustra wprost do „wnętrza” pomieszczenia (прихожая), w którym się ono znajduje. W obu przypadkach mamy do czynienia z metaforą pojemnika. Tak jak lustrzana skóra ogranicza przestrzeń wewnętrznego „ja” (duszę) LUSTRA, tak „прихожая” zamyka dostęp do świata zewnętrznego.

Pomimo utożsamienia siebie z lustrem bohaterka liryczna broni się przed uprzedmiotowieniem i zdecydowanie zaprzecza:

Более я не предмет в предмете,
Не вижу ни морщин – ни своих, ни моря,
Ни птиц на ветвях, ни лягушек в кювете
Ни своего, ни чужого горя,
Ни своего, ни чужого лица –
Так наступает пролог конца.

(Монолог зеркала)

Sprzeciw wobec zreifikowania siebie związany jest z bardzo charakterystycznym motywem – niemożnością dostrzeżenia elementów otaczającego świata, niemożnością wnikięcia we własne wnętrze oraz wnętrze drugiego człowieka. Bohaterka Lisnianskiej z goryczą mówi o tym, iż nie dostrzega własnych zmarszczek ani zmarszczek morza, nie widzi nie tylko swego i cudzego nieszczęścia, ale również twarzy.

Znaczenie lustra w cyklu Lisnianskiej należy rozpatrywać na dwóch biegach – dosłownym i przenośnym. W wierszu *Ностальгия зеркала* z jednej strony staje się ono magicznym przedmiotem, który ukazuje przeszłość, z drugiej poetka dokonała kategoryzacji sprowadzającej się do ludzkiej pamięci (LU-STRO TO PAMIĘĆ) umożliwiającej przywoływanie własnych wspomnień. Przyjrzyjmy się relacji podmiotu lirycznego:

Полуживое существо,
Но много помнит, и бывает,
Что место детства моего
Мне зеркало изображает...
(Ностальгия зеркала)

Zastosowanie metafory gramatycznej „место детства мне зеркало изображает” podkreśla wspomnianą już czarodziejską funkcję zwierciadła, dzięki któremu bohaterka liryczna powraca do swego dzieciństwa. Dokładność w odwzorowaniu poszczególnych elementów miasta Baku, w którym poetka się wychowała, a także bakijskiego krajobrazu świadczy o doskonałej znajomości topografii danego miejsca, co potwierdza ogromny udział pamięci oraz wspomnień. Tytułowa nostalgia lustra jest nostalgią autorki cyklu (potwierdzenie metafory JA TO LUSTRO) niemogącej poradzić sobie z doskwierającą jej tęsknotą.

Чем дольше нахожусь вдали от места,
Где выросла, где улицы узки,
Тем реже нахожу себе я место
Свободное от вьедливой тоски.

(*Ностальгия зеркала*)

W analizowanym utworze należy zwrócić uwagę na pewien pozornie niedostrzegalny fakt – dwoistość (dwoistość natury ludzkiej i odwieczna antynomia między duszą a ciałem, opozycja sen i jawa), która zostaje uwarunkowana już przez sam obiekt. Zwierciadło u Lisnianskiej jest symbolem innego, magicznego i enigmatycznego świata. Bohaterka liryczna tkwi pomiędzy rzeczywistością i odrealnioną, „lustrzaną” czasoprzestrzenią, istnieje w niej i poprzez nią obserwuje otaczającą perspektywę. Jednocześnie ma świadomość rozdwojenia i obawia się jej („я двойственности боюсь”), gdyż nie może odnaleźć własnego „ja”, nie ma poczucia przynależności do jakiegokolwiek z przestrzeni. Wymownym przykładem tego jest utwór *Паутина*, gdzie wydarzenia rozgrywają się we śnie, tak jakby „wewnątrz lustra”. Owe „wewnątrz lustra” traktować można jako wyobraźnię bądź podświadomość, w której do głosu dochodzą niezrealizowane pragnienia, a także obawy. Ujęcie zwierciadła w kategorii podświadomości niesie ze sobą wyodrębnienie kolejnej metafory pojęciowej: LUSTRO TO PODŚWIADOMOŚĆ, WYOBRAŹNIA, odwzorowującej wewnętrzne stany psychiczne i emocjonalne podmiotu lirycznego.

Dla Lisnianskiej lustro jest czymś więcej niż tylko przedmiotem, powierzchnią odzwierciedlającą poszczególne elementy świata zewnętrznego. Za sprawą unikalnej właściwości „odbijania” rzeczywistych obrazów poetka buduje metafory opierające się na analogiach pomiędzy zwierciadłem a zwykłymi rzeczami, takimi jak np. srebrny samowar. W cyklu *Старое зеркало* na pierwszy plan wysuwa się jednak „subiektywna” metafora – LUSTRO TO JA, odnosząca się do postaci samej poetki bądź podmiotu lirycznego. Uwarunkowana jest ona przede wszystkim wewnętrznymi przeżyciami i uczuciami Lisnianskiej, co potwierdza wcześniejszą tezę o emocjonalności cyklu. Wokół metafory LUSTRO TO JA oscylują pozostałe konstrukcje wyodrębnione w niniejszej analizie. Każda z metafor pojęciowych: LUSTRO TO PAMIĘĆ oraz LUSTRO TO PODŚWIADOMOŚĆ, LUSTRO TO WEWNĘTRZNE „JA” odwołuje się zarówno do warstwy psychicznej, jak i duchowej. Widoczna antyteza pomiędzy odbiciem tego, co zewnętrzne, widoczne dla oka, a tym, co utajone i niedostrzegalne, określa rolę, jaką zwierciadło odgrywa w cyklu. Jako główna domena, schemat wyobrażeniowy, oprócz funkcji stylistycznej (składnik metafor) i kompozycyjnej, pełni funkcję pośrednika pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, realnością i fikcyjnością, między ciałem a duszą, stając się jednocześnie wyznacznikiem dwoistości.

Резюме

*Метафоризация зеркала в цикле Инны Лиснянской „Старое зеркало”.
Попытка когнитивного анализа выбранных стихотворений*

Данная статья посвящена метафоризации зеркала в поэзии Инны Лиснянской. Материалом анализа является цикл стихотворений *Старое зеркало*, в котором поэтесса использовала характерный мотив зеркального отражения. Автор статьи пытается проанализировать данный мотив с точки зрения когнитивной поэтики, обращая внимание не только на концептуальные метафоры, но и на теорию прототипов.

Summary

*Metaphorical representation of the mirrors in the series of poetry “Staroye zerkalo”
of Inna Lisnianskaya*

Inna Lisnyanskaya is one of the most popular contemporary Russian poetesses. She was born in Baku in 1928. In 1960 she moved to Russia and got married to a translator and poet Siemion Lipkin. She has penned many series of poems i.a. *Do not just love, Rain and mirrors, At the edge of sleep*. She was awarded the Poet Prize in 2009.

Present article is devoted to the metaphorical representation of mirrors in Lisnyanskaya's poems. The analysis is performed in the light of the cognitive poetics. The author is focusing on the cognitive theory about conceptual metaphors and prototype theory.

Liubov Savelova
Sewerodwinsk (Rosja)

Речевой портрет северного крестьянина в прозе Мариуша Вилька

Объектом анализа в данной работе является книга М. Вилька *Волок* в ее переводе на русский язык. Как и в целом для прозы Вилька, для этой книги характерен особый тип повествования, предполагающий контаминацию жанров. Взгляд на русский Север, который здесь представлен, нельзя однозначно определить ни как „взгляд со стороны”, ни как „взгляд изнутри” – это, скорее, „взгляд в контексте” (истории, культуры, социума).

Сочетание вызывающего интерес и привлекательного по ряду причин объекта посещения (севера России), впечатлений от него, которые становятся предметом описания и основой развертывания информации, а также авторского угла зрения и обзора, живого, динамичного изложения – все это делает чтение увлекательным и втягивающим в „орбиту” глубоких размышлений по разным вопросам современности и истории человечества. Специфику художественного метода Вилька в сконцентрированном виде выражают его слова:

Во время путешествия я делал пометки – записывал мысли и сны, маршрут и встречи с людьми, еду, запахи и названия растений, оттенки облаков и направления ветра, а также обрывки прочитанных зимой историй. Словом, запечатлевал на бумаге текущий момент¹.

Но важно учесть, что этот „текущий момент”, во-первых, включен в широкий социо-культурный и исторический контекст, и, во-вторых, он запечатлевается в своем развитии, продвижении – в динамике, в течении, а не исключительно как соответствующий „настоящему времени”. Этому подчинен и словесный код, в том числе элементы народной речи, которые составляют предмет нашего исследования.

¹ М. Вильк, *Волок*, перевод с польск. И. Адельгейм, Санкт-Петербург 2008, с. 65. Здесь и далее страницы указанного издания приводятся в тексте статьи в круглых скобках.

С лингвистической точки зрения нам показалось интересным понаблюдать, как представлен речевой пласт культуры жителя (обитателя) северной российской глубинки в прозе Вилька. Определяя „русский Север” как „особый этнокультурный регион” (с. 28), Вильк указывает, что

до самой революции (а некоторые утверждают, что и по сей день) сохранились здесь в более чистой форме, чем где бы то ни было в империи, остатки старинного русского быта – крупницы русского мира. (с. 29)

К таким „крупницам” можно отнести и народную русскую речь, весьма немногословно, но довольно ярко представленную в дневниковой прозе Вилька.

Образ крестьянина органично вливается в систему действующих лиц, выведенных в книге с разной степенью индивидуализации – от простого упоминания до более или менее развернутого портрета. Среди них: бояре, купцы, ушкуйники, старцы, иноки, люди военной профессии, инженеры, зеки, люди искусства и др. Социально-статусные характеристики иногда не значимы, они могут соединяться и в одном человеке, и в рамках одного микросоциума – в этом случае нужно принимать во внимание условность всякого деления. Таково одно из художественных обобщений, вырастающее из рассуждений Вилька. Например, в описании закрытого поселка Ерцево читаем:

Можно сказать, мы незаметно – словно из яви в сон – проникаем из поселка в зону. [...] Впрочем, граница между поселком и зоной – понятие в Ерцеве условное. (с. 224)

Следует подчеркнуть, что образ „обитателя глубинки” собирательный, но представлен он во вполне конкретном воплощении – в героях, каждый из которых не вырисован выпукло, с разных сторон, но производят они впечатление ярких, запоминающихся. Их ряд (и он, по всей видимости, открытый) именно в совокупности воссоздает целостное (но в то же время не лишенное размытости) представление о рядовых жителях северной русской деревни. При всей их характерности, индивидуальности улавливается все же некий культурный инвариант, имеющий различные проявления: мировоззренческие, аксиологические, поведенческие, и в том числе – речевые. При этом образы жителей села легче слить воедино, чем представить типологию их характеров.

Как это проявляется на уровне речевых характеристик? Элементы русской народной речи (а носителями ее являются прежде всего крестьяне) причудливо вплетаются в ткань авторского повествования. Они воспринимаются одновременно и как знаки культурного кода (в отношении русского Севера), и как знаки авторской модальности, ценностной составляющей содержания текста; ср. одно из рассуждений:

А ведь контекст, выговор или ударение для каждого понятия необычайно важны; я знаю, о чем говорю, поскольку второе десятилетие живу на пограничье двух языков (вер и культур) – побегов, как бы там ни было, одного ствола. (с. 155)

При этом в тексте книги находит отражение многослойность народной речи (это ее свойство, кстати сказать, не всегда получает всестороннюю характеристику в научных описаниях территориальных диалектов). В частности, в прозе Вилька наблюдается взаимодействие нескольких пластов языковых единиц из числа тех, которые структурируют народный (крестьянский) вариант речи – это наименования специфических реалий быта и природы, народная терминология, топонимика, просторечные элементы организации фразы, ругань (обценный слой), мифопоэтическая составляющая, связанная прежде всего с остаточными явлениями из сферы фольклора и суеверий. И все это вписывается в более широкий контекст языковой рефлексии автора.

Упомянутые языковые средства можно назвать маркерами живой народной речи. Их употребление подчинено двум разным стратегиям текстообразования. Первая заключается в том, что они разбросаны по тексту, обеспечивают его глобальную связность и появляются в связи с актуализацией разных компонентов его смысловой структуры. Например, давая представление о поморах, автор использует показательные вкрапления народно-речевого характера:

Со временем на русском Севере сформировался этнический тип поморов – смелых и предприимчивых людей, привыкших к свободе, поскольку север не знал ни крепостного права, ни татарского ига. Суровый климат их закалил, ветра **вытравили**, компас они называли „**матерью**“, море – „**дорогой**“, и мерили его **днями**, не верстами, ходили против солнца до самой Оби – реки великой, и до Мангазеи. (с. 33)

Описанию реалий, показательных для северной природы и образа жизни людей в этих краях, в тексте отводится в целом значительное место, но одним из них посвящены специальные разделы (например, „Чага”, „Что касается «клюквы»”, „Калган”), другие поясняются с помощью попутных замечаний:

Под вечер, как спадет **межень** („**меженью**” называют здесь июльский зной, когда температура поднимается выше двадцати пяти градусов) и немного посвежеет, можно пройтись по Каргополю... (с. 163)

Из народной терминологии разнообразнее всего представлена морская и строительная. Специальные понятия выступают средством особой поэтизации текста:

(а) Бабе, как ни старайся, ни в жизнь не угодишь, а яхта... С яхтой проще... Как себе сошьешь, так и поживешь. Важно, чтобы она ветер чувствовала, как жинка мужика. Вот представь, идешь на Север... Если дует **летний** (южный) или **обедник** (юго-западный) – оба с кормы – полетишь, словно у яхты крылья вырастают, **сток** (западный) ее моментально накренил, и заскользишь на бок, **побережник** (северо-западный) или **полуношник** (северо-восточный) задувают в морду, тут уж только галсами. А **марину** лучше переждать в какой-нибудь бухточке. [...] **Мариной** Вася именует и **морянку** (северный ветер), и свою жену. (с. 88–89)

(б) Наумов рассказывает, как строили на севере Руси в прежние времена. Девиз мастеров плотничьего цеха – „рубить **добро** и **стройно**” – подчеркивает красоту и надежность постройки и роль топора в народном зодчестве Севера (распиленные балки быстро впитывают влагу, набухают и гниют). Мастер сам подбирал в лесу подходящий материал. Предпочитал **конду** (боровую, смолистую сосну), а если под каблуком выступала вода, на дерево и смотреть нечего, знамо дело – **мянда** (болотная сосна). [...] Затем дерево **корили**, тесали доски, **драли дранку**. (с. 142–143)

Знания, объективируемые данными словами со специальным значением, постепенно утрачиваются, на это указывает и автор *Волока*:

(кто из россиян знает сегодня, чем отличается сруб „в чашу” от сруба „в лапу”?). (с. 135)

Названия ветров, к примеру, известны человеку, который ходит в море, а для других это знание неактуальное, и потому часто фрагментарное. Одна

из составляющих культуры сельского общения – это ее традиционность, которая, с одной стороны, обеспечивает сохранность архаических элементов в диалектной речи, а с другой стороны – актуализирует связь языка и мировидения и проявляется, в частности, в фольклоре, народной афористике, приметах и т. п. Территориальные варианты языка неоднородны в функциональном плане; так, Л.И. Баранникова предлагает выделять в пределах диалектной речи три такие разновидности: а) разговорно-бытовую речь, б) народно-поэтическую речь, в) элементы публичной речи².

В прозе Вилька находим вариант художественного воплощения этой функциональной сложности и неоднородности сельского общения. Он вводит в повествование элементы обычаев, обрядов (в их трансформированном, осовремененном виде), фольклорных текстов, поверий:

Бражку принес Васильич – „на посошок”. По-нашему – „на стремленного”. В Польше путешествовали верхом, отсюда в прощальном тосте звон „стремян”, в России же посох „обмывали” на дорожку. Васильич говорит, что начиная с Ивана Купалы и до святых Петра и Павла режут березовые ветки на веники. Нас как раз не будет. (с. 66)

Гроза в начале пути – хорошая примета, – говорит Вася. (с. 67)

Большую роль при выборе дерева играли суеверия. Запрещалось рубить деревья „святые” и „проклятые” (к несчастью), избегали деревьев старых. (с. 142)

Есть такая местная поговорка: “Берешь из Киж и с нею спишь”. Но она не пожелала. (с. 149)

На кладбище я оказался свидетелем необычного, отчасти православного, отчасти языческого обряда. Баба Клава накрошила на землю крошек для птиц-душ, покормила кладбищенского пса, Ивану налила водки в стакан, после чего мы сами присели на скамеечку, выпили по сто грамм и закусили... (с. 171)

Функционально-стилевая синкретичность традиционного сельского общения кратко и наглядно выражена и в таком фрагменте текста:

На отдаленных рыболовных угодьях Мурмана, Шпицбергена и Новой Земли работали **артелями**, в селах жили **миром**, верили **по-старому**, творили чудеса деревянной архитектуры, сложили сотни **былин**. (с. 33)

Еще одна стратегия вовлечения рассматриваемых языковых средств (маркеров живой народной речи) в структуру текста состоит в их

² Л.И. Баранникова, *Общее и русское языкознание: Избранные работы*, Москва 2005, с. 180.

использовании в непосредственном взаимодействии на уровне локальной связности текста, в условиях относительно узкого контекста. Например – в портретно-речевых зарисовках, посвященных уроженцам каргопольской деревни Харлушино: Васильичу – Александру Васильевичу Костину, Бабе Клаве – его сестре, Анне Павловне – его учительнице. Речь героев проникает в авторскую, она имеет типичную для бытового общения синтаксическую организацию, включает традиционно-поэтические элементы, соответствует народным представлениям об обычаях и порядке. Приведем фрагменты речевых характеристик названных персонажей.

(а) Баба Клава:

Сидим на кухне у бабы Клавы. Сестра Васильича говорит на чудесном каргопольском наречии, например: „А мне **всяко однако**”. Москвич бы сказал: „А мне все равно”. Не успели мы познакомиться, она сообщает, что у нее все готово для пути на тот свет – **подорожник**, саван и платье – осталось только пуговицы пришить. Даже тридцать тысяч рублей собрала.

– На памятник своей души, – так она выразилась.

Баба Клава любит хорошо заваренный чай. Масло покупает только вологодское, карамельки „Красный октябрь”, чай обязательно китайский, колбасу можно няндомскую. Словом, баба Клава заботится о качестве продуктов на столе.

Баба Клава все бормочет что-то под нос (прямо как Ленин в *Тельце*), порой я улавливаю целые фразы, вот, например:

– **Временечко** идет, все ближе и ближе до смерти.

Чаще, однако, долетают до меня отдельные слова.

– Баба Клава, что значит „махомалка”?

– **Махомалкой** может быть капуста, а может – человек.

Полцарства и коня в придачу тому, кто мне объяснит, о чем речь.

Кстати. Однажды вечером баба Клава заметила, что белые ночи подходят к концу. А когда конец? **На Ильин день. После него белого коня ночью в поле не разглядишь.** (с. 161–163)

(б) Анна Павловна (ее речевое поведение подчинено коммуникативной тактике скрытого выпрашивания, манипулирования):

Заходим и словно попадаем в роман Пелевина: в сенях мрачно, как бывает на границе другого мира, в избе по стенам ковры и портрет Сталина, иконы в красном углу, вырезанные из журнала, у стены кровать с горой уложенных друг на друга подушек – от самой большой до самой маленькой, под кроватью ржавый ночной горшок.

В кухне кривая бабуля с палкой (ей восемьдесят два года, на каких-нибудь девять лет старше Васильича) не сразу признала Сашку, любимого ученика, и пустила слезу, что угостить нас нечем. Мы вынули свой чай, потому что у Павловны даже того не оказалось, а когда я выложил на стол рафинад, она горстями хватала его и прятала под подушку, не видя, что мы смотрим.

– Бог мне вас послал, – бормотала бабка беззубо, – с утра молилась, чтоб хоть сухарик.

Оставить нас на ночь она, к сожалению, не может, сын с приятелями на рыбалку приехал. Это его „БМВ”. Не дай бог чужого дома застанут. (с. 165–166)

(в) Васильич (его монологи связаны с актуализацией знаний о прошлом и ценностях прежней жизни):

По дороге Васильич рассказывал о жизни в колхозе во время войны. Вставал в полчетвертого, кормил лошадь и шел в поле – до десяти вечера. С перебивом на обед – для лошади... Ей-то силы нужны.

– А сами вы когда ели?

– Как мама в поле принесет. **Калитки** с картошкой или ржаные лепешки да кружку молока.

Во время войны колхозники получали по триста граммов зерна в день. Они с мамой и сестрой каждые пять дней брали четыре с половиной кило овса или ржи – что было. Зерно мололи жерновами, добавляли сосновую кору, мох, клубни айра, клевер. Из этого теста мама пекла калитки или лепешки.

Еще у них была корова, и хотя молоко, в принципе, полагалось сдавать, поллитра всегда себе оставляли. Иногда мать ходила к рыбакам на озеро Лача и чистила им рыбу за потроха – икру и печень. Эти потроха запекала в **рыбнике**. [...] Это зерно потом вычитали из доли. Урожай делили в декабре: восемьдесят процентов государству, из оставшегося откладывали на сев, остальное – раздавали колхозникам, в зависимости от количества трудодней. На эту долю надо было прожить – матери с сестрой – полгода зимы. Васильич зимой работал на лесоповале. (с. 167–168)

Вместе с изображением поступков, внешних признаков речевые характеристики весьма значимы для проникновения в суть наивной философии, уяснения системы ценностей северян. Это особенно показательно в контексте рассуждений автора о стихии языка.

Ранее мы отмечали, что в собирательном образе жителя северной российской глубинки, в его речевом портрете в прозе Вилька свое место занимает грубая бранная речь, сквернословие. Примечательно, что в индивидуальном речевом портретировании трех рассмотренных здесь персонажей этот компонент ослаблен, нивелирован. В целом же данный речевой слой Вильк не игнорирует. Надо сказать, что в лингвистических описаниях дисфемистическая (огрубляющая) составляющая живой речи по

разным причинам очень часто не принимается во внимание. Но она не может не быть замечена даже невнимательным слушателем. В книге Вилька речевой слой мата отчасти воспроизводится в безоценочном контексте, отчасти изображается косвенно, через упоминание самого факта сквернословия.

Наконец, в связи с темой статьи кратко остановимся на заглавии книги. Функцию заглавия выполняет слово *волок*, обладающее высокой культурологической значимостью, вектор которой задается исторической перспективой и функционально-территориальными ограничениями в плане употребления данного слова.

В контексте интересующей нас проблематики важным является то обстоятельство, что в русском языке данное слово является диалектным и как элемент народной речи оно до сих пор характеризуется активностью употребления, то есть принадлежит актуальной части народного лексикона. Об этом в совокупности свидетельствуют и данные диалектных словарей, и результаты экспедиционного обследования населенных пунктов. Так, в материалах *Архангельского областного словаря* это слово отмечено во множестве значений для всех районов Архангельской области³. *Словарь русских народных говоров* показывает распространение этого слова (опять же следует сделать оговорку – в разных его значениях) не только в архангельских говорах, но и в вологодских, вятских, новгородских, костромских, пермских, тобольских, тверских, псковских, ярославских и некоторых других диалектах русского языка⁴.

Анализ семантических признаков слова *волок* (включая этимологические) свидетельствует об амбивалентности его пространственного значения: это и ‘место (локус)’ и ‘путь’. Для прозы Вилька, рассматриваемой в свете ее ключевых образов и содержательно-концептуальных доминант, определяющим смыслом является ‘путь’. Ср.: „Слово-образ *тропа*, а также семантически близкие ему *путь*, *дорога* выполняют в «северной прозе» Вилька текстообразующую функцию, определяя [...] внутреннюю цельность и связность этого синтетического текста”⁵. Вероятно, он усложняется этимологически выводимым семантическим признаком – ‘преодоление’⁶.

³ *Архангельский областной словарь*, под ред. О.Г. Гецовой, вып. 5, Москва 1987, с. 42–45.

⁴ *Словарь русских народных говоров*, под ред. Ф.П. Филина. Ф.П. Сороколетова, вып. 5, Ленинград 1970, с. 49–51.

⁵ Т.В. Лошакова, *Русская тропа Мариуша Вилька*, [в:] *Дар слова, сборник статей к юбилею Аллы Алексеевны Камаловой*, Северодвинск 2011, с. 200.

⁶ П.Я. Черных, *Историко-этимологический словарь современного русского языка*, в 2 т., Москва 2004, т. 1, с. 157.

Подводя предварительные итоги, выскажем предположение, что использование элементов народной речи в прозе Вилька – это все-таки результат эстетически переосмысленного употребления данных единиц (умело и талантливо стилизуемого под живую речь), в тексте они проживают иную, нежели в повседневном общении, жизнь, выполняют иной набор функций, подвергаются смысловым преобразованиям. Подчеркнем, однако, что мы воздерживаемся от сравнения эстетически переосмысленного варианта народной речи и ее конкретных территориальных вариантов. Ср. иной подход к литературным текстам, в которых употребляются диалектизмы: „Вводя диалектные особенности в речь персонажей произведения – крестьян – и создавая тем самым речевую характеристику героев описываемых событий, писатель не должен упускать из виду, что такая характеристика должна соответствовать образу персонажа как представителя населения, живущего на определенной территории и пользующегося в повседневной жизни местным говором. Она должна соответствовать и территории, на которой происходит действие, и тому диалекту или говору, который на данной территории расположен. Иначе говоря, отражая диалектные особенности в речи персонажей-крестьян, писатель должен отдавать себе отчет, какие диалектные черты этому персонажу могут быть приписаны, т.е. иметь представление о территориальном распределении основных русских диалектных явлений”⁷.

Здесь, как нам кажется, постулируется сугубо формальный и во многом механистичный подход к созданию художественного текста.

Сам образ „северного крестьянина” („северного мужика”) в рассматриваемой книге не является четко очерченным, но его можно отнести к числу смысловых скреп текста. Художественная техника создания образа сродни импрессионистской: определяющую роль в структурировании смыслового поля играют детали – чистые составляющие, на которые раскладываются сложные средства. Они позволяют эстетически точно передать впечатления, настроение. Функции таких „мазков” (деталей) наряду с другими средствами выполняют и рассмотренные нами словесные вкрапления, фрагменты речи „обитателей глубинки”.

⁷ В.В. Иванов, *Диалектная речь в художественном тексте (к постановке проблемы)*, [в:] *Материалы и исследования по русской диалектологии*, вып. II (VIII), Наука, Москва 2004, с. 469–470.

Streszczenie

Językowy portret północnego chłopca w prozie Mariusza Wilka

W artykule na przykładzie książki M. Wilka *Wołoka* rozpatrywane są językowe jednostki, które strukturyzują chłopski wariant języka rosyjskiego. Pod uwagę wzięto w szczególności nazywanie specyficznych realiów bytu i przyrody, narodową terminologię, szczątkowe zjawiska ze sfery folkloru i przesądów. Podkreśla się, że użycie wyznaczników żywego narodowego języka podporządkowano dwóm strategiom tekstowego obrazowania: (1) zapewnieniu ogólnej łączliwości tekstu i aktualizacja różnych komponentów jego znaczeniowej struktury; (2) wyzyskaniu tekstu w bezpośrednim oddziaływaniu na poziomie związków lokalnych.

Summary

A speech portrait of a northern peasant in Marius Vilks's prose

The book *Portage* by M. Vilks is analyzed in the article. We consider the linguistic units that structure peasant variant of Russian speech, particularly – the names of the specific realities of life and nature, folk terminology, residuals from the sphere of folklore and superstitions. It is emphasized that the use of live traditional speech markers is subjected to two strategies of text generation: (1) ensuring the global coherence of the text and updating the different components of its semantic structure, and (2) the use of a direct interaction at the level of local text coherence.

Tatiana Loshakova
Sewerodwinsk (Rosja)

Миф и реальность в северной прозе Мариуша Вилька

В 1915 г. Н. Бердяев в своей работе *Судьба России* писал: „Для западного культурного человечества Россия все еще остается совершенно трансцендентной, каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством. Даже Толстой и Достоевский привлекают западного культурного человека, как экзотическая пища, непривычно для него острая”¹. Эти слова указывают на то, что к началу XX века на Западе сложился устойчивый комплекс стереотипов (миф) о России. Такого рода стереотипы – зачастую контрастные, основанные на полярных оценках – существуют в сознании европейца до настоящего времени.

В. С. Елистратов выделяет несколько структурных типов западного мифа о России: литературный, бытовой, политический. Примечательно, что зарождению последних двух во многом способствовала путевая литература, создатели которой, как правило, предпочитали занимать позицию стороннего наблюдателя, туриста. Поэтому бытовая культура оставалась для них неясной. Попытки же объяснить какие-либо явления этой культуры, используя „цивилизованные” представления, еще более ее искажали². Что же касается политического мифа, то в основе его – представления о России как о стране деспотизма, а о русском народе как таком, который принимает и даже любит несвободу, рабство. В качестве примера можно сослаться на знаменитую книгу французского журналиста и публициста А. де Кюстина *Россия в 1839 году* (1843), которая многими в России воспринимается как символ „антирусскости”. В частности, Кюстин писал: „Обо всех русских, какое бы положение они не занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством”³. Ему же принадлежит

¹ Н. Бердяев, *Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности*, Москва 1990, с. 2.

² В.С. Елистратов, *Россия как миф (к вопросу о структурно-мифологических типах восприятия России Западом)*, [в:] *Россия и Запад: диалог культур*, вып. 1, Москва 1992, с. 81.

³ А. де Кюстин, *Россия в 1839 году*, в 2 т., т. 1, пер. с фр. В. Мильчиной, И. Стаф, Москва 1996, с. 126.

и знаменитое высказывание „вся Россия – тюрьма”, позже перефразированное Лениным и превращенное им в идеологическое клише „Россия – тюрьма народов”.

Современный польский писатель М. Вильк, создатель популярной ныне „северной” прозы о России, в отличие от своих предшественников и современников, решил Россию „пережить”. Поселиться в России и через многолетний личный опыт, через „опыт странствий” освоить „русский мир” и „формы русского бытия”, которые неподвластны „категориям европейской логики”⁴. Он не пожелал ограничиваться, подобно многим своим соотечественникам, „коллекцией туристических впечатлений” и исключил из поля своего интереса жизнь крупных городов – будь то Москва или Петербург, которые традиционно олицетворяют собой Империю. Его влекла русская глубинка, „Русь-матушка”, познания о которой у чужеземцев, по его словам, были и продолжают оставаться весьма скудными⁵.

„Территорией исследования” для Вилька стал Русский Север. Именно здесь до XX века существовали демократические свободы, определившие своеобразие характера северного человека. Север в понимании писателя – это русский мир в его концентрированном выражении. Личные впечатления, приобретенные во время „кочевья” по Кольскому полуострову, Соловкам, Карелии, определили содержание документально-художественных книг Вилька *Волчий блокнот* (*Wilczy notes*, 1998), *Волок* (*Wołoka*, 2005), *Дом над Онего* (*Dom nad Oniego*, 2006), *Тропами северного оленя* (*Tropami rena*, 2008). Цель предпринятых им северных „хождений” Вильк разъясняет в каждой из своих книг, имплицитно посредством эпиграфов, взятых, в частности, из сочинений Жозефа де Местра:

Кто изучает Россию по книгам, тот вообще ее не понимает, в ней скрываются особенности, которые я поехал бы изучать в провинцию... если бы только знал язык. (с. 13)

Этот край – совершенно иной мир, и судить о нем невозможно, не пожив там какое-то время. (с. 55)

Будучи чужеземцем, я бесстрастно изучаю историю этой страны и с дистанции озираю современные события. (с. 92)

⁴ М. Вильк, *Волок*, пер. с польск. И. Адельгейм, Санкт-Петербург 2008, с. 48. Далее страницы указанного издания приводятся в тексте статьи в круглых скобках.

⁵ M. Wilk, *Wilczy notes*, Warszawa 2007, s. 16.

И живет надежда, что мое писание может не только позабавить, но и склонить к размышлению. (с. 69)

Заканчиваю Ваше Высочество, на том, с чего начинал: Россия – это великое зрелище, на которое я всегда буду смотреть в равной мере с восхищением и страхом. (с. 124) и др.

Отсылки к французскому публицисту и мыслителю, которые в обилии представлены в *Волчьей блокноте* – первой книге северной прозы, позволяют предположить, что сочинения де Местра помогли Вильку сформировать творческую „стратегию” освоения России. Соответственно, не могли не учитываться им и основные идеи русофила де Местра, искренне восхищавшегося Россией и в то же время считавшего недопустимой отмену крепостного права, которая, как ему казалось, непременно повлекла бы за собой революцию – „пожар”, способный испепелить всю страну. В правильности или ошибочности этих идей Вильку предстояло убедиться в ходе странствий.

Отметим попутно, что небезынтересной оказалась для Вилька и позиция маркиза-русофоба А. де Кюстина, имя которого не раз упоминается на страницах „северной одиссеи”. Особенно любопытен, на наш взгляд, фрагмент *Северного дневника* Вилька (*Волок*), в котором рассказывается о том, как именно начиналось его многолетнее русское странствие. Здесь не только проявлен ряд ведущих мотивов северной прозы, но и описано психологическое состояние путешественника, решившегося переступить черту, отделяющую его от „иного мира”, более того – возложившего на себя, подобно дантовскому Вергилию, миссию проводника по этому „инопространству”.

В Россию я прибыл под кайфом. Кто-то из друзей, провожавших меня в Гданьске, [...] сунул мне на прощание косяк, словно приговоренному последнюю трубку. О косяке я вспомнил перед самой границей. Я ехал поездом Прага–Москва, в русском вагоне. Кроме меня, в купе одни русские. Запах травки не так уж отличался от дыма их „Беломора”. Потом поменяли колеса, то есть переставляли нас с узкой европейской колеи на свою, широкую. (с. 177)

И далее – впечатления, которые, по стечению обстоятельств, легко укладываются в рамки стереотипных представлений о России. Возникает традиционный символический образ медведя, картина снежной Москвы, чужого, но неожиданно гостеприимного дома с набожной хозяйкой, водка

(„водка нас сблизилa”), иконы. Завершает данный „листок” дневника неожиданный для массового читателя и явно не вполне понятный для него вывод: „Де Кюстин оказался прав” (с. 178).

Надо отдать должное Вильку, пытаясь выйти из круга привычных стереотипов и создать собственный, оригинальный образ русского мира, он прокладывает северные „тропы” и запечатлевает увиденное и пережитое в дневниках и записках.

Как осваивает Вильк Север? Прежде всего – через слово, через русский язык, в котором, по Милошу, „есть уже все, что можно узнать о России”. Языковая „тропа” Вилька – не единственная в его книгах. Вильк путешествует и в пространстве, и во времени. Столь же привлекательным, как языковая „тропа”, оказывается для автора „северной одиссеи” „путь в историю”, изучение и расшифровка ее „следов”:

[...] на поверхности что видно? Останки тоталитарных иллюзий XX века: клубки колючей проволоки, прогнившие вышки, стены барака, то и дело человеческие кости. Вглядевшись поглубже, обнаружишь осколки старых и новых верований [...], еще глубже [...] следы колонизаторов, цивилизаторов и миссионеров всех мастей: волокиты тракты, поросшие травой... (с. 47)

Примечательно, что в оценках русского тоталитаризма автор „северной прозы” откровенно непоследователен. Представленное в цитируемом фрагменте оценочное суждение „останки тоталитарных иллюзий” кажется случайным на фоне многочисленных рассуждений Вилька о том, какую пользу принесли бы современной России крепкая „сталинская” рука и подневольный лагерный труд.

Он соотносит Север допетровской эпохи, запечатленный в книгах и летописях, и Север нынешний, оценочно противопоставляет их. В давние времена жили здесь „смелые и предприимчивые люди, привыкшие к свободе”, „верившие по-старому, творившие чудеса деревянной архитектуры, сложившие сотни былин”, „герои суровых боев с польскими панами и мужественные приверженцы старой веры, участники мужицких бунтов и раскольничьих гарей” (с. 33, 124). Сегодня, „к сожалению, ни ярмарки, ни веры”.

[Одни] верят в священные деревья, к ветвям которых привязывают красные лоскутки, другие почитают „православных богов” и их святых, коих здесь множество, третьи же бьют поклоны всем остальным – неважно, Сталину, Брежневу или Путину, была бы водка к празднику... Ну что ж, умом Россию не понять. (с. 196)

Что же до самосожжений, в позапрошлом году один мужик по пьянке вместе с халупой сгорел. Только обугленные валенки остались. (с. 124)

Обратим внимание на то, как проявляется в текстах Вилька оппозиция „свой – чужой”, являющаяся одним из наиболее существенных жанровых признаков путевой прозы. Это тем более важно, что данная оппозиция позволяет наглядно представить ценностную „систему координат” прозаика, который именует себя „русским писателем, пишущим по-польски”⁶. Кроме того, представляется, что автор „северной” путевой прозы – вольно или невольно – либо укрепляет стереотипные представления об описываемой стране, либо их разрушает. Изображая современную Россию, он стремится быть максимально объективным:

Не отрицаю, в России бывает черно. „По-черному” можно запить и „почерному” истопить баню, на улице может встретиться „черный человек”, может выпасть „черный понедельник”. Но черный цвет в России не доминирующий. Разве что взирать на страну через темные очки от Армани. (с. 176)

Однако для Вилька точкой преткновения оказываются два из многочисленных „черных” мифов о России: миф о русском пьянстве и миф о любви русского народа к рабству.

Примечательно, что идейно значимые акценты, присутствующие в книгах Вилька о России, не вызывают нареканий со стороны отечественных критиков. Показательно в этом отношении мнение А. Базилевского, который расценивает эссеистический цикл писателя как „крупный успех польской литературы рубежа тысячелетий в осмыслении русской темы”:

[...] взгляд Вилька на нашу страну можно уподобить умному взгляду вольного „степного волка”. Этот поляк, осевший на русском севере, [...] практически полностью освободился от удручающе стандартной „ясновельможной” польской оптики. Как точно заметил Вильк о своих пишущих соотечественниках: „На Россию смотрят то издалека, то свысока...”. Репортажные книги самого Вилька – редкое и отрадное исключение: „чужое” пространство становится у него своим, он искренен и не патетичен...⁷.

⁶ М. Wilk, *Dom nad Oniego*, Warszawa 2006, с. 22.

⁷ А.Б. Базилевский, *Версии образа России в современной польской журналистике*, „Новые российские гуманитарные исследования” 2008, № 3, [online] Архив. Литературоведение, <www.nrgumis.ru/articles/archives/full_art.php?aid=86&bin_rubric_pl_articles=277>, опубли. 9.12.2008.

На наш взгляд, тексты самого Вилька заставляют усомниться в правомерности такого рода оценок. Взгляд на проблемы России извне, его идеологическая заданность и, следовательно, суженность кругозора, несмотря на оседлость Вилька на русском севере, вполне даже ощутимы, и особенно в тех местах текста, где он явно эмпатизирует читателю-европейцу, рассчитывая на его понимание и поддержку. Соотнося, например, „свой” – европейский – мир с миром российским, Вильк приходит к „парадоксальным”, с его точки зрения, выводам:

Да уж, загадочна русская душа русского человека – любая аналогия псу под хвост. Взять хотя бы сравнения советских лагерей с немецкими. Представь себе, дорогой читатель (!), папиросы марки „Освенцим” или „Треблинка”. (с. 86)

А на Соловецких островах все еще празднуют Октябрьскую революцию. Сегодня „выходной” день – день, свободный от работы, повод выпить. Вот еще один вопросительный знак... Можете себе представить, чтобы в сегодняшней Германии каждая годовщина прихода Гитлера к власти праздновалась как выходной день? И день этот именовался днем согласия и примирения? (с. 150)

Однако вряд ли „загадочная русская душа” имеет прямое отношение к подобным аналогиям. Допустимо ли так прямолинейно ставить вопросы, не беря в расчет того, что в войне с фашистской Германией победил Советский Союз, что Германия сумела дать однозначную оценку своему прошлому, в отличие от России, в которой вопрос о „десталинизации общественного сознания” все еще злободневен и находится лишь „в ближайших планах Совета при президенте по правам человека”⁸.

Между тем Вильку недосуг разбираться в подобных „парадоксах”: „я хочу вести сюжет от своего имени, свободно прыгать с темы на тему, от случая к случаю (с. 154). И он действительно торопится. Действительно „прыгает” от одного „курьеза” к другому, стараясь произвести впечатление на читателя-европейца. Чем? Например, не сопровождаемой необходимым комментарием броской цитатой из Шаламова: „Ни одна сука из «прогрессивного человечества» к моему архиву не должна подходить. Запрещаю писателю Солженицыну и всем, имеющим с ним одни мысли, знакомиться с моим архивом” (с. 58) или эффектным сообщением об особых свойствах климата на Соловках, либо провокационной „телесностью”, вдруг

⁸ М. Федотов, *Я надеюсь провести линию преемственности не только от Памфиловой, но и от Сергея Адамовича Ковалева...*, „Новая газета” 2010, № 114 (13.10.2010), с. 7.

заявляющей о себе даже на уровне пейзажных описаний: „Лето на Островах короткое и стремительное, как эякуляция”⁹; сочными типажам разбитных „девах”, пьяных „мужиков”, а то и изображением „упившегося попа”, который крестил „целое стадо захмелевших жителей” (с. 196), упоминанием о „стадах пьяных туристов”, заполонивших соловецкую улицу¹⁰.

„Легендарное русское пьянство, – по словам Вилька, – приобрело апокалипсические размеры”¹¹. Мотив пьянства в его книгах бесконечно повторяется, варьируется; апогей достигается в эпизоде, описывающем деревенскую „оргию в стиле *a la russe*” (с. 237). Снобистское *a la russe*, впрочем, не мешает автору записок быть непосредственным участником как этой „оргии”, так и ряда других „пьяных” историй.

По словам Вилька, он хотел всмотреться в лицо страны, которое в XX в. радикально изменили „не войны, не революции, ни даже строительство социализма, а уничтожение деревни”; взглянуть в лицо тем, кто уцелел на месте гибели, „посмотреть в их пьяные, обезумевшие глаза”¹². Надо думать, последовательной реализацией данной установки и объясняется то обстоятельство, что пространство его прозы заполнено по большей части фигурами откровенно гротескными. При этом специфически гротескные очертания приобретают в книгах Вилька и персонажи, не вписывающиеся в обозначенный выше контекст. Так, явное раздражение вызывает у автора обрусевший поляк Франек. Бывший аковец, отсидевший десять лет в советских лагерях, он „женился на русской воровке, построил дом за оградой зоны и живет в ее тени, прямо как у Господа за пазухой. [...] Герлинг и Франек... – подумал я, глядя на него (с. 232–233).

Очевидно, это сравнение призвано подчеркнуть никчемность Франека. Трагедия человека, без вины виноватого, не по своей воле утратившего отчизну, а спустя десятилетия – и родной язык, остается „за скобками”. Оппозиция „свой – чужой” обретает у Вилька свойства примитивной схемы, за пределы которой он не может (или не хочет) выйти, а значит и не может подняться на бытийный уровень осмысления мира и человека в нем. И в этом смысле его книги вряд ли могут претендовать на статус „большой” литературы. Вряд ли они могут определять и лицо литературы польской.

⁹ M. Wilk, *Wilczy notes...*, с. 55.

¹⁰ Ibidem, с. 29.

¹¹ Ibidem, с. 18.

¹² M. Wilk, *Dom nad Oniego*, с. 21.

По крайней мере обескураживает российского читателя ряд умозаключений Вилька, к которым он приходит, путешествуя по Беломорканалу с намерением „прочитать край, лежащий вдоль водной тропы, будто книгу” (с. 63). Вполне логично, что этот маршрут, сопряженный с темой сталинских лагерей, должен был появиться в книгах польского писателя, поскольку и он определяет облик Русского Севера в XX веке. Интересно, что Е. Зиновьева, аннотируя русское издание *Волока*, пишет по этому поводу следующее:

Изучая историю сталинских лагерей, Вильк приходит к парадоксальным выводам. Его источники не только свидетельства, оставленные в первую очередь интеллигенцией. Он анализирует статистику, посещает территорию бывших лагерей, беседует с местными жителями, „простыми” обитателями бывших лагерных пространств, бывшими заключенными, охранниками. Мнение его не раз расходится с мнением А. Солженицына и даже чтимого им Шаламова. Конечная цель М. Вилька – различить, где растет дерево, а где „клюква”¹³.

Заметим: автор заметки предпочла умолчать о том, в чем именно состоит „парадоксальность выводов” Вилька, в чем суть его расхождений со „чтимым им Шаламовым” и с Солженицыным.

Действительно, Вильк изучает статистику и книгу *Беломорканал*, созданную советскими литераторами. Сравнивая, „что писали о Канале Горький или Пришвин” и „что пишет о нем Солженицын”, он нарочито удивляется „здесь ведь у каждого своя вера. [...] И кто мне докажет, где «развесистая» клюква, а где самая обыкновенная ложь?” (с. 70).

Между тем, эрудит, знаток русской истории и литературы (по крайней мере, Вильк настаивает на том, что он таковым является) не может не знать той истины, что Горький (как и его собратья по перу) „был вынужден или молчать, или представлять факты «в нужном свете», своим авторитетным словом освящая целое направление в советской литературе, называемое «литературой факта», а на поверку являющееся не чем иным, как псевдодокументалистикой. [...] Так стало возможным появление книги «документальных» очерков «Беломорканал»”¹⁴.

¹³ Е. Зиновьева, *Мариуш Вильк. Волок*, пер. с польск. И. Адельгейм, [online] *Дом Зингера. Журнальный зал*, „Нева” 2009, № 6. Архив <www.magazines.russ.ru/Нева/2009/6/zi13.html>.

¹⁴ Е.Г. Местергази, *Литература нон-фикшн / non-fiction: экспериментальная энциклопедия. Русская версия*, Москва 2007, с. 63.

Однако и „правда” Шаламова, чья „проза, пережитая как документ”, является, по словам автора „северной прозы”, для него ориентиром в собственном творчестве, вызывает сомнение у „русского писателя” Вилька: не „клюква” ли? (с. 220–222). Писатель действительно беседует с „обитателями лагерных пространств”: с бывшим начальником Надвоицкого порта, с ветераном войны и бывшим вохровцем Рыкусовым и др. В их рассказах звучит ностальгия по „сильной руке”: „Эх, Сталина бы!” (с. 96). Он явно симпатизирует просталинистским высказываниям своих собеседников. Предпринимает Вильк и анализ лагерной системы, завершая его вполне оптимистичными выводами:

Задачи немецких лагерей – уничтожение узников, задачи же советских лагерей были самыми разными: строительство канала или железной дороги, добыча золота, свинца, урана. А кроме того, лагерь лагерю рознь, и валить их все в одну кучу – абсурд: на Соловках были две театральные труппы, камерный оркестр, музей, издавались журналы и книги. Николай Виноградов написал здесь фундаментальный труд о каменных лабиринтах, Павел Флоренский организовал научные экспедиции на близлежащие острова и вел лабораторные исследования беломорских водорослей, а Дмитрий Лихачев, будущий академик, анализировал блатной жаргон; на Беломорканале тоже работал театр и был симфонический оркестр (где играла первая скрипка Венской филармонии), а лагерная газета „Перековка” имела 3 750 корреспондентов. Приравнивание советских лагерей к немецким затемняет русский генезис первых, подменяя его универсальным (и в определенном смысле абстрактным) понятием „тоталитаризм”. (с. 58–59)

И далее:

Это не преуменьшает – естественно – кошмара советских лагерей, не оправдывает их существования. Просто **смерть рабов была побочным эффектом** [выделено нами. – Т.Л.], следствием необычных условий труда и обычной советской безалаберщины. (с. 60)

Не будем комментировать вывод: он достаточно красноречив сам по себе. Напомним только, что о „чудесах культуры в нескольких километрах от печей” в свое время писал соотечественник Вилька Т. Боровский в рассказе *У нас в Аушвице*. И уже одна эта оговорка – „в нескольких километрах от печей” – несла в себе оценочный смысл, адекватный „трагическому фарсу” (В. Шаламов) лагерного быта. Ср. также реплику Вилька о папиросах марки „Освенцим” или „Треблинка”, процитированную нами выше.

Квинтэссенцией идей, которые свидетельствуют об анахроничности мышления писателя-путешественника, становится, на наш взгляд, его пространный диалог с единомышленником – петрозаводским художником Борисом Акбулатовым (*Дом над Онего*). Приведем несколько небольших фрагментов, имеющих характер тезисов, из высказываний Вилька о „русском мужике”:

Я считаю, что рабам, то есть людям с ментальностью невольника, предначертан рабский труд. [...] Я приехал в Россию пятнадцать лет тому назад сторонником демократии и всех гражданских свобод, а уезжаю как трибун рабства и лагерей труда¹⁵.

Случайны ли такого рода суждения? Надо думать, нет. Во-первых, они лейтмотивны: повторяются в *Волоке*, возникают в *Доме над Онего*. Во-вторых, Вильк не считает зазорным признаваться в следующем:

Недавно он [начальник Канала Михаил Яковлевич Амигуд – Т.Л.] слышал мое интервью питерскому радио, и ему очень понравился парафраз де Кюстина, что я приехал в Россию противником рабского труда, но, прожив тут восемь лет, порастерял уверенность, что либеральный путь лучше (с. 121);

России нужна просвещенная диктатура¹⁶.

Представляется, что здесь уместно было бы вспомнить о „русской тропе”, проложенной в конце 1950-х тогда еще молодым колумбийским журналистом Г.Г. Маркесом. Не двадцать лет, а двадцать дней провел Маркес в стране, которая бесконечно его удивляла: необъятной территорией, „советской готикой” в архитектуре Москвы, „сумасшедшим”, ни в чем не знавшим меры народом. Но более всего интересовало Маркеса то, как повлияли на сознание людей опыт, полученный при тоталитарном режиме, и созданные этим режимом мифы. Об этом, в частности, он размышлял в репортаже *22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы*¹⁷, вошедшем позже в серию публицистических статей *Двадцать дней за „железным занавесом”*. Так создавался пред-текст

¹⁵ М. Wilk, *Dom nad Oniego*, с. 169.

¹⁶ М. Леонтьева, М. Вильк, *Россию надо изучать через монастырь (интервью)*, [online] *Известия.Ру*, 31.01.03 <<http://www.izvestia.ru/russia/article29519/index.html>>.

¹⁷ Г.Г. Маркес, *22400000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы*, „Латинская Америка” 1988, № 3–4.

знаменитого романа Маркеса *Осень патриарха*, который направлен против „замораживающего мышление мифа” (Г. Маркес).

Мариуш Вильк Россию „пережил”, заглянул в „ее глаза”. Сострадает ли он ей? Проникся ли ее бедами? Или фраза „русский писатель, пишущий по-польски” осталась всего лишь еще одним эффектным штрихом в самохарактеристике автора „северных записок”? Вопросы риторические.

Streszczenie

Mit i realność w północnej prozie Mariusza Wilka

Mariusz Wilk, autor dokumentalno-artystycznej prozy (*Wilczy notes*, 1998; *Wołoka*, 2005; *Dom nad Oniego*, 2006), stara się obiektywnie opowiedzieć o współczesnej północnej Rosji. Jednakże zadanie to nie zawsze realizowane jest pomyślnie. W jego książkach wyraźnie ujawniają się stereotypy w postrzeganiu złożoności historycznej tego kraju, a w szczególności mit o umiłowaniu przez rosyjski naród niewolnictwa, o rosyjskim pijaństwie. W artykule podjęto próbę przyjrzenia się, jak polski pisarz interpretuje „czarne” mity Rosji, jak rozkłada ideowo znaczące akcenty.

Summary

Myth and reality in M. Wilk's northern prose

Mariusz Wilk, the author of documentary fiction on the Russian North (*The Journals of a White Sea Wolf*, 1998; *Portage*, 2005; *A House by the Oniego*, 2006), undertakes the task to narrate the story of the present-day Russia in an unbiased, non-stereotyped manner. This mission, however, is not always successfully accomplished. The author's books reflect historically pre-existed stereotypes in the perception of Russia; such as the myth of the Russian people's yearning for submission and the myth of Russian hard drinking. The article attempts at investigating the way in which the "dark" Russian myths are interpreted by the Polish writer, as well as some of the most meaningful emphases that are observed in these interpretations.

Robert Bieliński
Olsztyn

Prawda i fikcja w autobiograficznych trylogiach emigracyjnych Eduarda Limonowa

Nazwisko Limonow wciąż wzbudza u wielu polskich badaczy niesmak, wręcz niechęć¹. W dużej mierze krytyka i środowisko czytelników skupiają swą uwagę na tym, co zewnętrzne (postępowanie bohatera), mniej natomiast na tym, co wewnętrzne (przyczynowość jego zachowań, rozważania, podteksty myślowe bohatera i słowne narratora). A postać Ediczki (*alter ego* Limonowa) jest niezwykle interesująca i zajmująca, a tym samym zasługuje na odrębne i bardziej gruntowne opracowanie.

Sam Limonow, „skandalista co się zowie, [...] pisarz i twórca literackiej wersji samego siebie – Ediczki”² w jednym z wywiadów przyznaje: „Врага, соперника... больших врагов надо ценить. Они дают... это и есть жизнь, поскольку жизнь – это конфликт, а где нет конфликта, там нет ничего”³. Zatem nie ma i Ediczki. Limonowowski bohater to ucieleśnienie sprzeczności, wewnętrznego niepokoju i konfliktu samego pisarza. Albowiem: „Красота невозможна без известного нарушения пропорции. То есть [...] дефекты подростков – только их украшают”⁴. Jak konstatuje sam autor w jednym z wywiadów: „Глупость, что лидер [bohater – R.B.] должен быть как толпа. Ничего подобного. Он должен быть далеко впереди толпы, выше намного, где-то левитировать, как минимум на десятки лет вперед, а лучше – и больше и видеть, и понимать”⁵. W innym miejscu podkreśla: „To są właśnie moi bohaterowie. Ja stawiam na aktywnych i kreatywnych ludzi”⁶.

¹ Szerzej o tym: L. Suchanek, *Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa*, Kraków 2001, s. 252.

² M. Sendeki, *Misterny bluzg*, „Przekrój” z 5 maja 2005, s. 88.

³ *Голос вождя*, [w:] Э. Лимонов, *Бутырская-Сортировочная или Смерть в автозексе*, Москва 2005, s. 67.

⁴ Ibidem, s. 71.

⁵ Ibidem, s. 81.

⁶ Cyt. za: M. Kaciewicz, *Limonow: współczesna powieść już zdechła*, „Dziennik” z 28 sierpnia 2006, s. 30.

Podczas pobytu Eduarda Limonowa na Zachodzie na łamach prasy emigracyjnej ukazało się kilka jego wierszy, pod koniec 1979 r. pierwszy tomik poezji zatytułowany *Rosyjskie*, a dwa lata później zbiorek *Troje*⁷. Nie przyniosły one jednak pisarzowi rozgłosu, a w rezultacie Limonow nabrał wątpliwości co do swojej dalszej drogi twórczej. Do tego doszły porażki w życiu osobistym – zdrada, a następnie rozstanie z żoną. niesprawiedliwość systemu i niewłaściwe jego funkcjonowanie, złudne pojmowanie wolności i brak tolerancji w stosunku do przybyszy rodziły krytycyzm wobec Ameryki. Wyrazem frustracji pisarza stał się kontrowersyjny ze względu na swą niecenzuralną leksykę utwór *To ja – Ediczka* (1976). Język, jak i tematyka utworu wydały się wydawcom na tyle szokujące, że trudno było go opublikować tak Ameryce, jak i w rosyjskich kręgach emigracyjnych⁸. Dopiero w 1980 r. ukazał się francuski przekład pod zmienionym tytułem: *Poeta rosyjski kocha dużych Murzynów* (*Le poète russe aime les grands nègres*)⁹. W 1983 r. na łamach nowojorskiego „Random House” pojawiła się także angielska wersja utworu: *It's me, Eddie*¹⁰.

Limonow jako jeden z pierwszych zerwał z konwenansami obyczajowości radzieckiej¹¹. Uczynił to poprzez szokujący *mat*. Ów „nieliteracki” język to uliczny, prosty, naturalny język, bez dodatków pruderii i szlifów literackich. Jak sam mówi: „Откровенно не знаю... но знаю, что обнажать плоть – это ещё не так страшно. Обнажать душу... это немного хуже. Я думаю, в какой-то степени, каждый, кто пишет, творит [...]. Когда я пишу, я знаю, что пишу для себя... но в то же время чувствую, что кто-то за мной подглядывает... и я уже пишу, обращаясь к нему... [подглядывающему – R.B.]”¹².

Jedną z charakterystycznych cech emigracji rosyjskiej stało się dążenie do wyjaśnienia, usprawiedliwienia faktu przebywania poza krajem. Literatura *русского зарубежья*, nie wyłączając samego Limonowa, to utwory napisane w ekstremalnej sytuacji „szoku kulturowego”¹³. Ludzie piszący w danej chwili prozę, poezję, dramat nie czynili tego wcale na skutek rozstania z krajem i jego językiem, lecz dlatego, iż rychło i bezwzględnie zostali wyparci przez inną, zupełnie

⁷ *Słownik pisarzy rosyjskich*, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994, s. 220.

⁸ T. Klimowicz, *Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996)*, Wrocław 1996, s. 500. O Limonowie oraz jego publikacjach w periodykach lat 80.–90. patrz: J. Mianowska, *Писатели русского зарубежья (третья волна эмиграции). Проза: Библиографический указатель*, Bydgoszcz 1995, s. 25–26.

⁹ Cytuję za: L. Suchanek, *Parias...*, s. 23.

¹⁰ E. Limonov, *It's me, Eddie. A fictional memoir*, New York 1983.

¹¹ J. Smaga, *Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991*, Kraków 1992, s. 17.

¹² Cyt. za: Д. Глэд, *Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье*, Москва 1991, s. 283.

¹³ Ф. Буслакова, *Литература русского зарубежья*, Москва 2005, s. 22.

nową kulturę. Stąd też podwyższone zainteresowanie tym, by porównać, skonstrastować dwa światy: pozostawioną ojczyznę i ten kraj, w którym autor obecnie przebywa. Zderzenie z zachodnią obyczajowością powodowało często oszołomienie, ale i nie tylko. Niektórzy usiłowali wkupić się w zastałą mentalność i tradycję, a w tej kwestii byli bezlitośni, często nie przebierali w środkach. Limonow poprzez słownictwo, jakiego używał w utworach, stał się tego najlepszym przykładem.

To ja – Ediczka wywołał gorące spory i dyskusje. Krytycy wyśmiewali utwór, nazywając go literaturą bruku i patologii¹⁴. Jednak obok przeciwników takiego rodzaju twórczości znaleźli się i tacy, którzy uważali książkę Limonowa za wybitne dzieło literatury emigracyjnej, za szczytowe osiągnięcie piśmiennictwa rosyjskiego, ukazujące realnego człowieka z jego naturalnymi zachowaniami¹⁵.

Warto zwrócić uwagę na podobieństwo imienia i nazwiska autora oraz bohatera. Zachodzący między nimi związek psychiczny, jak też zbieżność biografii pozwalają badaczom łączyć te dwie postaci. Andriej Szatałow stanowczo stwierdza, że książka dobitnie ukazuje życie autora „w tej diabelskiej emigracji amerykańskiej”, dodając przy tym, iż pomimo autobiograficzności utworu Limonow nie jest lustrzanym odbiciem swojego bohatera¹⁶. Jednak dokonując nawet najbardziej wnikliwej analizy tekstów, nie możemy tego stanowczo stwierdzić. Doszukując się podobieństw między *Ediczką* i *Eduardem*, nie jesteśmy w stanie stanowczo rozgraniczyć faktów od fikcji. Wiele wątków życia twórcy tej prozy znajduje odzwierciedlenie w fabule. Wiadomo jednak, że każdy tekst literacki w mniejszym lub większym stopniu oddaje zarówno obraz realnego świata, jak i świata wymyślnego, fikcyjnego. Nie ma dzieła, które nie odnosiłoby się do jakichś elementów realistycznego świata – nawet, gdy prezentuje świat wyobrażony. Należy zatem podkreślić, iż książki Limonowa nie do końca są autobiograficzne. Mimo to można pokusić się o stwierdzenie, iż Limonow-autor i Limonow-bohater (podobnie rzecz ma się w kolejnych książkach) nie mogą istnieć odrębnie. Ich postępowanie i tok myślenia tak silnie nakładają się na siebie, że niemożliwe staje się zupełne rozgraniczenie ich na dwie zupełnie odrębne osoby. Zbyt silnie są ze sobą powiązani. Autor w wielu sytuacjach utożsamia się ze swoim bohaterem, uczestniczy w jego życiu codziennym i antroposferze, analizuje i decyduje za niego. Raz odczuwa ból, porażkę, rozczarowanie, innym

¹⁴ И. Синявин, *Купите Эдичку!*, „Russica” 1981, nr 9, s. 25.

¹⁵ L. Suchanek, *Eduard Limonow – „Parias literatury rosyjskiej”*, [w:] *Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych*, pod red. L. Suchanka, Kraków 1997, s. 128.

¹⁶ А. Шаталов, *Великолепный мандарин*, [w:] Э. Лимонов, *Это я – Эдичка*, Москва 1991, s. 11.

razem – zadowolenie i satysfakcję. Często pyta i oczekuje odpowiedzi. Pije, przeklina, po czym opisuje wszystko w swym dzienniku, tworząc w ten sposób swą kolejną powieść. Jak konstatuje: „Лимонов, значит, это и герой, и автор. Автобиографические приемы были важны для меня при показе эпохи, среды. Например, в романе *У нас была великая эпоха* маленький сын лейтенанта Эдик только предлог, чтобы показать время конца 40-х. А *Молодой негодяй* – это Эдичка в Харькове 60-х. [...] страна через героя, это эпопея¹⁷.

Osobowość Limonowa rzeczywiście ma jakby dwa wymiary. Z wywiadów, jakich udzielał, wiadomo, że w Ameryce często się upijał, by zapomnieć o zdradzie żony i nieprzychylności ludzi. Bohater powieści powiela tę postawę, a jego historia splata się z losem samego autora. Zdaniem wielu czytelników życie prywatne pisarza znajduje odzwierciedlenie w książkach, tym samym doszukują się w nich oczywistych rozwiązań i odpowiedzi. Wiktor Jerofiejew zauważa, że to bohater spłodził i „doskonali” swojego autora: „Лимоновский герой породил своего автора. Началась игра реального Лимонова с реальным злом, игра с кровью”¹⁸. Zdawać by się mogło, że tym samym Limonow zatracił kontrolę nad tym, w którym momencie opisuje swoje przygody, a w którym mówi i działa wymyślona osoba. Fikcja dość często przeplata się z rzeczywistością.

Lepiej oceniono kolejną powieść Limonowa pt. *Дневник пеховца*. Najpierw duże jej fragmenty ukazały się w 1978 r. w paryskim piśmie „Echo”, zaś pełne wydanie dopiero w 1982 r. Paryżu¹⁹. Ten intymny i bardzo osobisty dziennik: „получается из ряда записок касающихся разных проблем и дифференцированных по-настоящему, связанных точно с данным положением автора”²⁰.

Bohater *Дневника пеховца* jest tak jak Ediczka „rozbitkiem życiowym” i nieudacznikiem. Nosi zresztą takie samo imię. Forma dziennika pozwala na rekonstruowanie i zestawienie osobowości autora i bohatera. Intymny i bardzo osobisty charakter pamiętnika w sposób lapidarny i treściwy charakteryzuje Ediczkę żyjącego w Nowym Jorku, mieście niesprawiedliwości społecznej, mieście-symbolu zła „przepełnionym” na świat bogatych i biednych. Wspólną, a zarazem właściwą nazwą dla owego stanu rzeczy staje się „anty ludzka cywilizacja”²¹, cywilizacja, a więc społeczeństwo i kultura oparte na pozornej autonomii.

¹⁷ Cyt. za: A. Ванденко, *Не пугайте меня с Лимоновым*, „Взгляд и другие” 1992, nr 12, s. 4.

¹⁸ В. Ерофеев, *Русские цветы зла*, Москва 2001, s. 20.

¹⁹ W. Kasack, *Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996*, przekład, opracowanie, bibliografia polska i indeks osób B. Kodzis, Wrocław 1996, s. 337.

²⁰ А. Жолковский, *Лимонов на литературных олимпиадах. О рассказе Красавица, вдохновляющая поэта*, „Синтаксис”, nr 29, s. 151.

²¹ Określenie L. Suchanka. Patr.: idem, *Paras...*, s. 117.

Wolność człowieka przybrała tu tylko postać formalną, w praktyce natomiast jest skrajnie pozorna i destruktywna. Limonowowski bohater buntuje się przeciw tej rzeczywistości. Jako emigrant ze Wschodu odczuwa głębokie rozczarowanie, co w rezultacie zmienia go w życiowego outsidera i kalekę. Ediczka Amerykę porównuje do Babilonu²², który runie, a Nowy Jork jawi mu się jako Sodoma, „mekka” brudu i zepsucia, gniazdo rozpusty i częściej wolności²³.

W Paryżu Limonow z zapalem przystąpił do pisania kolejnej opowieści. *Historia jego sługi* z 1989 r. to ponownie historia Ediczki. Wszystkie trzy utwory składają się na tzw. trylogię amerykańską (nowojorską)²⁴ i mimo że nie łączy ich w nich zasada chronologii, to najważniejszy jest narrator-bohater o tym samym nazwisku i imieniu – Limonow Edward, Edik, Ediczka, Edi-baby²⁵. Ważny dla trylogii nowojorskiej staje się wymiar intymności ukazywany poprzez formę – to dzienniki, pamiętniki, poufne i sekretne wspomnienia bohatera. Należy zaznaczyć, iż podobnie było w dziennikach Gogoła, Lermontowa, Dostojewskiego czy Tołstoja²⁶. Żadna inna forma prozatorska, prócz dziennika, pamiętnika czy listu, nie jest w stanie tak dokładnie oddać nastroju i intymności myśli, dosadnie i szczerze przedstawić fakty. „Иначе как в письмах герои романа [*Biedni ludzie* – R.B.] вряд ли могли бы раскрыть свое сердце, настолько робки и застенчивы они были...”²⁷.

Analogicznie do trylogii amerykańskiej wspólna fabuła i ten sam bohater charakteryzują trylogię rosyjską vel charkowską. W jej skład wchodzi: *Młody niegodziwiec*, *Mieliśmy Wielką Epokę*, *Wyrostek Sawienko*²⁸. Utwory te opowiadają o wydarzeniach z życia Ediczki od dzieciństwa aż do osiągnięcia przez niego wieku dojrzałego. Dokonuje się tu retrospekcja, dzięki której jesteśmy w stanie lepiej poznać niektóre fakty. Odtworzenie wydarzeń i akcja stanowią tu jedność.

Obie trylogie Limonowa są w dużej mierze powieściami autobiograficznymi. Mówiąc o trylogii autobiograficznej, nie sposób nie wspomnieć o Tołstoju czy chociażby Gorkim²⁹. Także Limonow, pisząc swą ostatnią autobiografię,

²² L. Suchanek, *Eduard Limonow – Parias literatury...*, s. 147.

²³ Patrz o tym: M. Krapiec, *Dziela*, t. X: *Człowiek i prawo naturalne*, Lublin 1993, s. 162.

²⁴ Trylogia amerykańska Э. Лимонова: *Это я – Эдичка*, Hamburg 1998; *Дневник неудачника или секретная тетрадь*, Амфора, Санкт-Петербург 2002; *История его слуги*, Амфора, Санкт-Петербург 2003.

²⁵ О. Кустарев, *ЭдуардЭдикЭдичка*, „Двадцать два”, Тель-Авив 1979, nr 8, s. 197.

²⁶ *Русская литература XX века*, pod red. В. Кожина, Москва 2001, s. 493.

²⁷ *Русская литература*, pod red. Б. Бурсова, s. 219.

²⁸ Trylogia rosyjska Э. Лимонова: *У нас была Великая Эпоха*, Вегриус, Москва 1998; *Подросток Савенко*, Амфора, Санкт-Петербург 2002; *Молодой негодяй*, Синтаксис, Париж 1986.

²⁹ Л. Толстой, *Детство. Отрочество. Юность*, Москва 1987; М. Горький, *Детство. Среди людей. Мои университеты*, Москва 1975.

pragnął zaprezentować czytelnikowi swą przeszłość i wdrożyć w swe życie w codziennych realiach. Wszystko wskazuje na to, że ukazał się tu jako typowy pisarz-realista: „это все-таки традиционный реализм, абсолютно”³⁰. Realizm ten zakłada nierozzerwalność dzieł z rzeczywistością.

Początek lat pięćdziesiątych XX wieku to okres realizmu socjalistycznego, którego główne założenia to: partyjność, ideowość, skrajny patriotyzm. Nieco inną rolę w rozwoju realizmu socjalistycznego odgrywała w czasach stalinizmu „sztuka” totalitaryzmu, która odrzucała nawet najdrobniejsze imaginacje suwerenności i wolności. Niestety, miała charakter złudny i nieprawdziwy – koloryzowała rzeczywistość i była oddalona od codziennego życia (o czym świadczą chociażby utwory Wasilija Ażajewa)³¹. W trylogii rosyjskiej Limonowa można odnaleźć elementy realizmu socjalistycznego – słabość do wierszy realistycznych, głoszenie dogmatycznych „życiowych” prawd. Brak w niej jednak ewidentnego postulatu komunizmu – heroizmu bohaterów, a także gotowości do budowania „szklanych domów” dla dobra kraju³². Bohater trylogii zaledwie egzystuje, często bez nadziei na lepszą przyszłość. Sam autor już na początku utworu *Mieliśmy Wielką Epokę* konstatuje: „Эта книга – мой вариант Великой Эпохи. Мой взгляд на нее”; „[...] книга документальна в том широком смысле, что вместе с подлинной историей моей простой семьи в ней сохранена и мифология того времени”³³.

Można jednak poddać w wątpliwość wiarygodność tych słów. Bohater powieści to przecież zaledwie kilkuletnie dziecko, postrzegające świat i percypujące to, co się dzieje, w określony i często prymitywny sposób. W postrzeganiu małego Ediczki przeważa naiwność i beztroska, lekkość i brak krytycyzmu. Antroposfera, a więc jakby dwa światy – to, co go otacza i to, co żyje głęboko w nim i go modyfikuje, przeobraża – często zderzają się ze sobą, tworząc subiektywny i bardzo okrojony obraz rzeczywistości w oczach chłopca. Ediczka nie posiada przecież wiedzy o wielu dziejących się w kraju rzeczach. Świat, który go otacza, oddziałuje na niego – to poważny, dojrzały mędrzec, surowy i bezwzględny nauczyciel. Dlatego też czy autor *Wielkiej Epoki* chce tego, czy nie, wizja epoki będzie okrojona i nie do końca obiektywna.

W *Wyrostk*u Sawienko Limonowowski bohater dorasta, a wraz z wiekiem zmienia poglądy, dostajemy zatem inny ogląd świata. „Эди-бэби” – tak najczęściej nazywa go autor – ma subiektywną wizję ustroju i władzy. Uważa, że jest

³⁰ Д. Глэд, op. cit., s. 276.

³¹ Szerzej o tym: *Historia literatury XX wieku*, pod red. A. Drawicza, Warszawa 2002.

³² L. Suchanek, *Parias...*

³³ Э. Лимонов, *У нас была Великая...*, s. 5, 15.

w stanie z kilkoma kolegami-buntownikami zmienić świat na lepsze. Przynależy do podmiejskiej „szpany” (mieszka na peryferiach Charkowa), a jego osiedle – biedne i zapomniane przez Boga miejsce – to siedlisko rodzin robotniczych, gdzie rządzi młodzież różnych subkultur³⁴.

Powieść Limonowa zbudowana została na kontrastach: bogaci – biedni, nie-wykształceni – inteligenci, złodzieje – uczciwi, miłość – zdrada, ból – rozkosz, centrum (panowie) – przedmieście (hałastra). Dysharmonia jednocześnie pozwala dokładniej przyjrzeć się głównemu bohaterowi, zrozumieć go. Podobnie jak jego rówieśnicy jest zbuntowanym nastolatkiem, pragnącym szybko się dorobić, datego też kradnie, kłamie, próbuje narkotyków i seksu, bierze udział w walkach ulicznych band, snuje plany przestępcze. Zasady moralne i etyczne nie są dla niego istotne. Mimo wszystko coś go odróżnia od kolegów, gdyż Edi-baby jest romantykiem – miłość postrzega jako ognisko zaufania, oddania, wierności. Zostaje jednak brutalnie oszukany, przeżywa rozczarowanie i podobnie jak w nowojorskiej trylogii nie skrywa bólu i żalu do świata. Czyni to jednak mało tragicznie i ostentacyjnie. Brak mu doświadczenia, a jednak pisze wiersze, utwory prozatorskie, pragnie się kształcić, wyjechać do stolicy, by zacząć tam nowe życie³⁵.

Trzecia część trylogii to kolejna faza w rozwoju psychicznym i fizjologicznym Ediczki. Limonow zaczął ją pisać w roku 1982, a skończył trzy lata później³⁶. W *Młodym niegodziwcu* bohater przeobraża się w dorosłego Edwarda, pewnego siebie intelektualistę, który ociera się o krąg ludzi znanych, o rosyjską bohémę. W przeciwieństwie do Edi-baby, który pisywał wiersze, Edward uważa się za uznanego i poważanego członka artystyczno-literackiej elity. Charkowskie towarzystwo pióra kształtuje i inspiruje bohatera, zapoznaje z wielką poezją zarówno rosyjską, jak i światową, a także z dziełami wielkich filozofów. Ważnym dla rozwoju psychicznego bohatera miejscem staje się księgarnia „Poezja”, gdzie książki kupuje niemal cała „elita” poetów charkowskich, a on sam zarabia, pracując jako kolporter prasy lub uliczny sprzedawca podręczników. Przeobraża to światopogląd Ediczki, zmienia wyobrażenie o świecie prawdziwych pisarzy. Z biegiem czasu nabiera on przekonania o swej wyższości, pragnie zatem wyemigrować do prawdziwej mekki twórców sztuki – do Moskwy, a potem *кто знает?*³⁷

Dorastający Ed doskonale wie, że w Charkowie sam talent nie wystarcza. Tu pisarz może istnieć jedynie w nuncie nieoficjalnym i nie ma szans na zaistnienie

³⁴ А. Кабаков, *Подросток Савенко и другие подростки*, „Московские новости” 27.02–6.03.1994.

³⁵ Э. Лимонов, *Подросток Савенко...*

³⁶ L. Suchanek, *Eduard Limonow – Parias literatury...*, s. 153.

³⁷ Э. Лимонов, *Молодой негодяй...*, s. 248.

nie w szerszym świecie. Ed-„zbędny człowiek” nie może znaleźć sobie miejsca, nie potrafi się pogodzić z marazmem. On musi być w ruchu, dążyć, pragnąć, biec pod prąd. Pozytywna ocena twórczości wystawiona przez kilku moskiewskich literatów mobilizuje bohatera do kształcenia się. Czyta książki, by w ten sposób rozwinąć horyzonty myślowe i dojść do literackiej „władzy”³⁸. Doświadczenia miłosne z Anną Rubensztejn dostarczą jeszcze innych motywacji i zainspirują do poświęceń, a tym samym samorealizacji.

Przypomina to pojedynek z samym sobą, mierzenie się z własnymi możliwościami i przeznaczeniem. Można by rzec: bohater-Ediczka, podobnie jak jego rzeźbiarz-Limonow, nie ma zamiaru rozstać się ze swoim świętym obowiązkiem, jakim jest powołanie do literatury. I nie ma większego znaczenia, czy przyniesie ono przychylność, czy krytykę czytelników. Grunt to inność, swoistość i oryginalność – odrębność w przekonaniach i dążeniu do celu. Najważniejsze, by nie przynależeć i nie utożsamiać się z tłumem³⁹. W tym miejscu warto przywołać słowa Wiktora Bondarienki: „Я уверен, мой друг Эдуард Лимонов – рожден был героем. Но не каждому герою дано воплотиться. Бывают времена негероев, когда в своей стабильности ни народу, ни государству героические подвиги не нужны. Герои уходят в спорт, в искусство, в смертельные игры. Но страна без героев начинается разлагаться. Может быть, и Советский Союз погиб потому, что весь последний период герои не были востребованы. Не был востребован в то время и Эдуард Лимонов, бунтарь из провинции. Потому он и ездит по всему свету в поисках самого себя”⁴⁰.

Zarówno w trylogii rosyjskiej, jak i amerykańskiej Eduard Limonow (emigrant-realista) ukazuje człowieka rozczarowanego światem, zawiedzionego i nie mogącego się odnaleźć w rzeczywistości, w której musi (Rosja) lub chce żyć (Ameryka). Nieustający bunt towarzyszy bohaterowi do końca. Ciągła ucieczka jest właściwie poszukiwaniem celu, pragnieniem odnalezienia się w świecie. Ediczka nie tyle przed czymś ucieka, ile czegoś szuka. Poszukuje miejsca, środowiska, w którym się odnajdzie, a jego egzystencja nabierze sensu. Pragnie zaistnieć, być zauważonym i docenionym. Ale póki co może liczyć tylko na siebie. Otaczające go środowisko nie akceptuje bowiem jego poglądów, a wręcz stanowczo je odrzuca. Ediczka toczy walkę ze światem, stając się przez to odrzucony, nieprzydatny i zbędny. Jednocześnie odseparowuje się od ludzi, przyjmując tym samym cechy outsidera⁴¹.

³⁸ T. Klimowicz, op. cit., s. 499.

³⁹ Э. Лимонов, *Подросток Савенко...*

⁴⁰ В. Бондаренко, *Рожден героем*, [online] <www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra>.

⁴¹ А. Жолковский, *Бунт „маленького человека”*, „Огонёк” 1991, nr 41, s. 14.

Przepelnionego gniewem i goryczą bohatera cechuje niskie poczucie odpowiedzialności, dlatego też nie pogardzi on żadną okazją, by móc jeszcze lepiej poznać siebie, także poprzez kontakty seksualne z mężczyznami. Z natury heteroseksualny Ediczka uczy się czerpać przyjemność z zachowań, które zapewniają mu olbrzymią dawkę emocji, jak np. sadomasochizm i transwestytyzm. To osoba borykająca się z brakiem zrozumienia za strony społeczeństwa ze względu na skandaliczne zachowania i inną orientację seksualną. Jednak to „inne życie” niesie nie tylko inspiracje, ale też jest pełne niepewności.

Limonowski bohater ma niewiele wspólnego z modelem wykształconym przez tradycję i kulturę literacką. Jest osobą ekspresywną, działającą pod wpływem chwili, wybuchową i gwałtowną, awanturnikiem szukającym korzyści we wszystkim, co robi. Jednocześnie głęboko pragnie prawdziwej miłości, zaakceptowania, zrozumienia, przyciągnięcia i dotyku bliskiej osoby, lecz tylko na chwilę. Można zatem przypuszczać, że Ediczka żyje „na próbę”, tylko dlatego, że musi. Główne wartości i dewizy życiowe stają się zaprzeczeniem prawdziwych wewnętrznych priorytetów i pragnień. Ediczka jest inny, bo świat, w którym się wychował, zmusił go do tego, by przywdziać maskę. Zaszczepił w nim nieustający bieg przed siebie (donikąd), niepokój przed samotnością. Jego zdaniem zmiana otoczenia wymaga nowych form myślenia i działania. Dlatego też nieustannie trzeba zmieniać się jak kameleon, przystosowując do otoczenia. Ediczka cierpi, wije się z bólu, a w seksie szuka ukojenia i akceptacji. Mało kto jednak chce go rozumieć i słuchać. Taki człowiek budzi lęk, jest trudny do zrozumienia⁴².

Na łamach sześciu książek Limonowa często pojawiają się przemyślenia Ediczki, a także rozważania i podpowiedzi narratora, mające za zadanie wyjaśnienie złożoności i skomplikowanej osobowości bohatera. Przyglądając się Ediczce, niejednokrotnie traci się pewność, czy to autor, czy też bohater utworu. Często odnosi się wrażenie, że Limonow staje się swym bohaterem, że to jego krzyk słychać na kartach powieści. Krytyka bez większych wątpliwości uznała obie trylogie za autobiograficzne: „Писатель, который хотел понять и разгрызть своего героя, сам стал им”⁴³. Tego samego zdania jest także Limonow: „Если я говорю Лимонов, то есть и герой и автор”⁴⁴. W jednym z wywiadów, na pytanie, czy nie wstydzi się tego, co napisał o sobie na emigracji,

⁴² Patrz: *Эротизм без берегов. Сборник статей и материалов*, сост. М. Павлова, Москва 2004.

⁴³ Н. Цимбалистенко, *Это ты – Эдичка*, „Подъем”, Воронеж 1997, nr 8/9, s. 67.

⁴⁴ Cyt za: *ibidem*.

hipostuje: „Я не пишу ничего о своей личной жизни. Меня зовут Эдуард Вениаминович Савенко. Лимонов – это фикция. Получилось немного неуклюже, но когда я писал свои книги за границей, едва ли горстка людей там знала что есть такой Эдуард Лимонов. Савенко живет себе, невзирая на Лимонова. Это деловой, прагматичный, энергичный человек твердых привычек, правил и старомодных убеждений”⁴⁵.

Chyba zupełnie nieświadomie udało się mu „oszukać” czytelników, którzy nie umieją odróżnić obu Limonowów. Tym samym autor i bohater książek stają się dla nich jedną osobą, jednym bohaterem. Autora nawet to cieszy. Kontrowersyjność i odmienność – to pomaga w zdobyciu jeszcze większej sławy. Pisarz uważa, że jego utwory są bardzo cenne i że ich wartość dostrzeże przyszłe pokolenie. Twierdzi, że jego wysiłek twórczy jest nie do przecenienia, tyle że w Rosji nigdy nie umieli go docenić: „Они меня не любят. Ну, так этим гордиться надо. Многих не любили, как раз самых лучших, вот, что доказывает история”⁴⁶.

Limonow lubi swoją sytuację, wyszukuje kontrowersyjne opinie na swój temat, gdyż uważa, że być „innym” pisarzem to być pisarzem ciekawym, zajmującym, dlatego za wszelką cenę chce „все ровно остаться аутсайдером”⁴⁷.

Резюме

Правда и вымысел в автобиографических эмиграционных трилогиях Эдуарда Лимонова

Эдуард Лимонов – „скандалист”, как принято о нем думать и говорить, уже в своем родном Харькове пишет шокирующие мелкие сочинения, стихи. Разногласие и неудовлетворение от текстов быстро распространяется среди читателей. В след за этим идет написанная уже в эмиграции трилогия *Это я – Эдичка, Дневник неудачника, История его слуги*, в которую Лимонов вбрасывает нецензурную лексику вместе с непристойным поведением своего героя. Это опять шокирует публику читателей.

Такое же поведение Эдички, такой же *мат* автор показывает и в своих позднейших книгах – русской трилогии: *У нас была Великая Эпоха, Молодой негодяй, Подросток Савенко*. Все трилогии связывает тот же сюжет, тот же герой, тот же рассказчик. Произведения рассказывают о жизни молодого Эдуарда Савенки, позже подростка и, в результате, взрослого Эда. Обе трилогии автобиографичны. Где Лимонов – автор, а где его герой Эдичка, никто не знает. Где правда а где фикция, и сам Савенко не умеет ответить.

⁴⁵ Cyt. za: [online] <www.limonov2012.ru/interview/136.html>.

⁴⁶ Н. Цимбалистенко, *Это ты – Эдичка...*, s. 67.

⁴⁷ Ibidem.

Summary

Truth and fiction in autobiographical Eduard Limonov immigration trilogies

Limonov's character adores to be different, he loves to shock people. He lives then with kind of an other life. From one side it gives to him a hallmark of singularities and uniquenesses, from other it is underlining intuitive – ness, which is such important to him as the base of knowledge and reasoning. This philosophy is meeting all requirements of Eddie's "life philosophy". Empirical knowledge the own soul, and also souls of other people is leading him to height of the success and the vital fulfilment in own antrophosphere, own existence, time and space. Ediczka is standing out, he is "different". However the most important is fact, that Eddie – character is the same as Limonov – writer. The life and the existence of the character are becoming author's being at the same time. There is no Eddie's existence without existing of his author – Limonov. Eduard Limonov antrophosphere's multidimensionality has reflection in the Eddie's form. Character, similarly as his author, is a writer, publicist, rebellious critic of political world's order (especially his two "homelands" – America and the USSR). Analysing interviews with Limonov a striking similarity of both figures views is noticed. Tragedy of the man left by "mother – Russia" and thrown to "orphanage – America" is becoming from one side – more definitive, from second – highly deceptive and seeming.

Językoznawstwo

Olga Suchodolska-Nowak
Warszawa

Концепт *кохання* у слов'янській пареміології (на матеріалі: української, російської та польської мов)

У центрі уваги сучасної лінгвістики знаходяться проблеми, пов'язані з відображенням національної культури та історії у мовах. Роль мови в накопиченні культурних здобутків є очевидною і значною. При цьому вона, як одна з основних ознак нації, виражає культуру народу, який говорить цією мовою, тобто створює національну культуру. За допомогою мовних засобів формуються концепти часу, простору, різноманітних об'єктів та явищ, моделюються способи організації всесвіту. Мова віддзеркалює як матеріальні сторони життя народу – географічне положення, клімат, побут, так і духовні сторони носіїв мови – мораль, систему цінностей, менталітет, національний характер. Час на межі XX–XXI століть став періодом стрімкого зростання досліджень різних аспектів пізнавальної діяльності людини, а мовна картина світу все частіше привертає увагу сучасних лінгвістів, які в своїх дослідженнях вивчають зв'язок між мовою та мисленням, а також зв'язок між суб'єктом та його сприйняттям світу. Мовна картина світу – це система понять, яка характерна для кожної мови, за її допомогою носії мови сприймають, класифікують, а також інтерпретують навколишній світ. Більшість дослідників вважає, що вивчення мовної картини світу – це шлях до кращого пізнання специфіки кожної мови, розуміння системи уявлень народу, а також його менталітету¹.

Серед актуальних напрямів сучасного мовознавства, а також логічного аналізу мови найбільш утверджується когнітивна лінгвістика. Це складова частина когнітології, інтегральної науки, яка досліджує когнітивні процеси у свідомості людини, що забезпечують оперативне мислення та пізнання світу². Когнітологія вивчає моделі свідомості, пов'язані з процесами

¹ J. Bartmiński, *O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku*, [w:] *Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju*, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa 2001.

² R. Grzegorzczkova, *Pojęcie językowego obrazu świata*, [w:] *Językowy obraz świata*, red. J. Bartmiński, Lublin 1990, s. 41.

пізнання, з набуттям, виробленням, зберіганням, використанням, передачею людиною знань, з їх репрезентацією і обробкою інформації, яка надходить до людини різними каналами, з інтерпретацією знань, прийняттям рішень, розумінням людської мови, логічним виведенням, аргументацією та з іншими видами пізнавальної діяльності³. Можна навіть дійти до такого висновку, що когнітологія – це наче механізм, котрий характеризує людину, аналізує її психіку, а також розумову діяльність, але найголовніша мета – це зображення мовної здатності людини як частини її когнітивної здібності.

Одним з головних розділів когнітивної лінгвістики є когнітивна семантика, загальна теорія концептуалізації та категоризації, а точніше, теорія про те, як навколишній світ сприймається людиною. Когніція людини спрямована на вміння орієнтуватися у навколишньому світі на основі отриманих знань⁴, тому лінгвокультурологія створює власний термінологічний апарат, який поєднує в собі її лінгвістичні і культурологічні витоки. Основа такого апарату – це визначення концепту, який останнім часом розробляється вченими і дослідниками мовознавства. Концепт є одиницею опису картини світу – ментальною одиницею, що містить мовні і культурні знання, висновки, оцінки. У когнітивній науці концепт розглядається як ментальна одиниця, яка постійно переживає зміни.

Термін „концепт” має довгу історію та неодноразово піддавався переосмисленню. О.С. Кубрякова пропонує визначити концепт як оперативну одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, усієї картини світу⁵. А. Вежбицька дає кілька визначень терміна „концепт”. Вчена описує концепт як номінований об’єкт ідеального світу, визначений за допомогою набору семантичних примітивів, віддзеркалюючий специфічні культурно-зумовлені представлення людини про дійсність⁶.

Велике інформативне значення для дослідження концепту мають паремії. В них ми знаходимо застигли осмислення того чи іншого концепту, які склалися протягом тривалого часу та які змінюються залежно від місця, часу та умов появи концептуальних сутностей в житті суспільства та окре-

³ М. Кочерган, *Мовознавство на сучасному етапі*, „Дивослово” 2003, № 5, с. 24–29.

⁴ І. І. Савчук, *Фреймова модель комунікативної ситуації суперництва*, [online] <<http://eprints.zu.edu.ua/2039/1/04siikss.pdf>>.

⁵ О.С. Кубрякова, *Краткий словарь когнитивных терминов*, МГУ, Москва 1996, с. 90–92.

⁶ А. Вежбицька, *Семантические универсалии и описание языков*, пер. А.Д. Шмелева, [в:] *Языки русской культуры*, ред. Т.В. Булыгина, Москва 1999, с. 263–305.

мої людини. До паремій належать стійкі в мові та відтворювані у мовленнєвому процесі висловлювання. Як правило, це прислів’я та приказки.

Прислів’я – це короткі та, здебільшого, ритмічно організовані висловлювання повчального характеру, які справедливо вважають згустками народної мудрості, народним культурним досвідом, що зберігається в мові та передається з покоління в покоління.

На відміну від прислів’їв приказки – стійкий вислів в основному фольклорного походження, який образно розкриває певне явище, але насамперед із погляду емоційно-експресивної оцінки. Приказки, на відміну від прислів’їв, висловлюють незавершену думку, є частиною судження, що має форму незамкненого кліше. Приказка не висловлює повне твердження й висновок з нього, не дає узагальнення, а підкреслює особливість конкретного предмету чи явища, дає в дотепній образній формі спостереження над цим явищем. З цього випливає те, що на противагу синтаксичній двочленній завершеності прислів’я, приказка – одночленна з синтаксичного погляду⁷.

Одним з ключових концептів загальномовної картини світу та одним з найважливіших компонентів духовної культури є „любов”. Не зважаючи на велику кількість філософсько-етичних праць, в яких описується відчуття любові, не існує єдино вірного визначення цього феномену людського життя. Як зауважив російський вчений С. Г. Воркачов, концепт любові, безумовно, відображає уявлення про базові цінності, в яких виражені основні переконання, принципи і життєві цілі, і стоїть в одному ряду з концептами щастя, віри, надії, свободи. Він безпосередньо пов’язаний з формуванням у людини сенсу життя як мети, досягнення якої виходить за межі його безпосереднього індивідуального буття⁸. Щоб розглянути концепт *кохання* в слов’янській пареміології, спочатку треба визначити, що розуміється під побутовим та науковим поняттям *кохання*, яких слів вживається для опису, з одного боку, просте, а з другого, дуже складне почуття. Любов існує від початку існування світу і завжди буде існувати, тому що любов – це найперша християнська чеснота, а також виявлення дару Святого Духа в людині. Любов є даром, як говорить святий апостол Павло, „найдосконалішим, який ніколи не проминає”, і власне цей концепт більш детально розглянемо в подальшій частині статті.

⁷ М. М. Пазяк, *Українські прислів’я та приказки – проблеми пареміології та пареміографії*, Київ 1984, с. 13–14.

⁸ С. Г. Воркачев, *Концепт любви в русском языковом сознании*, [online] <<http://kubstu.ru/docs/lingvoconcept/love.htm>>.

Кохання є найголовнішим почуттям людини. Жодне з проявів людської психіки не привертало до себе стільки уваги і жодне з них не було так часто згадуване великими і простими людьми, як кохання. Кохання як стан душі є емоційною універсалиєю в тому сенсі, що кожна людина може любити і визнавати любов іншої людини. Будучи невід'ємним компонентом духовної культури, кохання при всій своїй універсальності, виявляє певну специфіку збережених в різних мовах уявлень і асоціацій про нього, що представляє безперечний інтерес для лінгвістики. Значення слова *кохання* можна розглядати з погляду філософії, психології, антропології, але перш за все, з погляду життя. Побутове уявлення, що кохання – це вище духовне почуття людини, багате всілякими емоційними переживаннями, неосяжне і незрозуміле, його неможливо описати словами, його можна тільки відчувати, і закохані завжди розуміють одне одного без слів.

У лінгвістиці основною одиницею, що містить у собі мову та культуру в їх взаємопроникненні, є концепт, який визначається як відображення поняття⁹, в результаті тісної взаємодії значення слова зі змістом поняття. Соціальні, культурні, духовні, етичні концепти дають найцікавіший матеріал для осмислення мовної картини світу носіїв даної мови, національного менталітету. Предметом дослідження є концепт *кохання* в свідомості слов'янського народу. Джерелом дослідження концепту є обрані паремії зі збірників української, російської та польської народної творчості, з яких було проаналізовано 264 російських, 218 українських та 78 польських паремійних одиниць з семантикою *кохання*, які характеризуються предикативністю (тобто мають структуру речення, а не словосполучення), багатозначністю (наявністю прямого і переносного сенсу) і в більшості випадків елементами поетичної організації (ритмом і римою).

З аналізу паремій виникає, що концепт *кохання* відображає уявлення про базові цінності, в яких виражені основні переконання, принципи і життєві цілі. Він стоїть в одному ряду з концептами щастя, віри, надії, свободи. Цей концепт безпосередньо пов'язаний з формуванням у людини сенсу життя як мети, досягнення якої виходить за межі його безпосереднього та індивідуального буття. З числа дефініційних ознак концепту любові в українському, російському та польському фонді прислів'їв та приказок найбільш виразно відбивається ознака цінності предмету любові, викликана відсутністю найдорожчої людини, приятеля, а також бажання

⁹ Г. Г. Слышкин, *Лингвокультурный концепт как системное образование*, „Вестник ВГУ”, Волгоград 2004, № 1, с. 29.

з’єднатися з коханою людиною, тому що без неї життя втрачає свій сенс: укр: *Без вірного друга велика туга*; рос: *Не мил свет, когда милого нет; Милый далеко – сердцу не легко; Дружка нет, не мил и белый свет; Без тебя опустел белый свет; К милому другу и семь верст не околица*; пол: *Człowiek bez miłości jak świeca bez knota; Ci co się kochają nierad się rozstają*.

Друга дефініційна ознака невідконтрольності вибору об’єкта кохання¹⁰ у фонді паремій досліджуваних мов представлена прислів’ями: укр: *Бджола летить на любий цвіт; Закохався, як чорт у суху вербу; Кожна птиця знайде свого Гриця; Куди серце лежить, туди й око біжить; Любов – не пожежа, займеться – не потушиш; Судженого і конем не об’їдеш*; рос: *Полюбится сова – не надо райской птички; Любовь зла – полюбишь и козла; Не по мило хорош, а по хорошему мил; Милее всего, кто любит кого; Одно сердце страдает, другое не знает; Ох охонюшки, тошно без Афонюшки, Иван – то тут, да уряд – то худ; Сердце не камень; Сердцу не прикажешь*; пол: *Miłość jest ślepa; Miłość o rozum nie pyta; Miłość lwom srogość odejmuje; Miłość każdego ruszy; Miłości się sprzeciwić trudno*.

Остання дефініційна ознака концепту кохання у фонді народної творчості української, російської і польської спадщини це – „індивідуальність вибору об’єкта”¹¹, відображена пареміями: укр: *З перцем чи не з перцем, аби з добрим серцем; Серце ні на що не вважає – свою волю має; Кого кохає, за тим і зітхає; На любов і смак товариш не всяк*; рос: *Милому мила и без белила бела; Каждому своя милая – самая красивая*; пол: *Zakochanemu i koza Dianą; Kto kogo miłuje, tego drogo szanuje; Miłość nie zna względu ani uwagi; Każdy kocha, co mu się widzi*.

Серед зібраних паремійних одиниць найбільш виразно відокремлюється ознака позитивної цінності кохання – в них любов отримує загальноаксіологічну оцінку як вище благо, кохання як могутня сила, без нього життя втратило б сенс, а справжнє кохання не має кінця. Ця ознака становить 11% всіх паремій з семантикою кохання і є більш виразна серед російських премій: рос: *Нет ценности супротив любви; Любовь да совет – на том стоит свет; Любовь хоть мука, а без неё скука; Мир и любовь – всему голова; Нет того любее, как люди людям любы; Милее всего, кто любит кого; Мило, как люди людям милы; Деньги прах, одёжа тоже, а любовь всего дороже; Где любовь да совет, там и горя нет; Любовь – кольцо, а у кольца нет конца; Любовь всё побеждает*; укр: *Любов сильніше*

¹⁰ С. Г. Воркачев, *Концепт любви в русском языковом сознании*, [online] <<http://kubstu.ru/docs/lingvoconcept/love.htm>>.

¹¹ Ibidem.

смерті; Любов як перстень, не має кінця; Миліші душка, як подушка; пол: Miłość stała cuda działa; Miłość sił dodaje; Miłość jest królową cnót wszystkich; Oczy w miłości są posłanice serca; Miłość dodaje odwagi.

Жодну з емоцій, втім числі і кохання, неможливо викликати примусово, це почуття не знає наказів і заборон, нема кохання на силу, кохання не залежить від віку людини, тому що найважливіше – така сама мелодія двох сердець. І в слов'янських мовах відображення прислів'ями: укр: *Волос сивіє, а голова шаліє; Як любляться серця, не треба пона і віця; Знайшов би й десять, якби не Олеся; Їж з голоду, а люби з молоту; Кохання не запобіжиши зарання; рос: Любовь закона не знает, годов не считает; Любовь на замок не закроешь; Любовь рассудку не подвладна; Поп руки свяжет и голову свяжет, а сердца не свяжет; Крестом любви не свяжешь; пол: Miłość zdrowy rozsadek odejmuje; Zakochani oczami rozmówić się umieją; Kochają się jak dwa gołąbki.* З огляду на те, що українська та російська культури мають багато спільного, менталітет цих народів значною мірою схожий, тому серед паремій з семантикою кохання часто можна спостережити синонімію: *Кохання, вогню та кашлю від людей не заховаси; Любви, огня да кашля от людей не спрячешь; Кров не вода, а серце не камінь; Сердце не камень; Любовь – не пожжежа, займеться – не потушиши; Любовь не пожар, а загорится – не потушишь.*

Наступна група в пареміологічному фонді аналізованих мов – це ознака амбівалентності любові, яка в слов'янській свідомості невідмінно пов'язана зі стражданням: укр: *Без вірного друга велика туга; Болить серденько, та плакати стидненько; Вона за ним сохне, а він і не охне; Чим більша любов, тим глибша рана після зради; рос: Не вижу – душа мрёт, увижу – с души прёт; Милый не злодей, а иссушит до костей; У моря горе, а у любви вдвое; Любовь хоть мука, а без неё скука; пол: Pierwsza miłość jak żmija, dręczy człeka i zabija; Kochać i być kochanym najniebezpieczliwszym jest stanem.* В менталітеті українського та російського народів любов тісно пов'язана не лише із стражданням, але і з розлукою, яка є її неодмінним атрибутом¹²: *Ані лопата, ані мотика їх не розлучить; Вилетів когут на ворота, заспівав „кукуріку”, вже я тебе моя мила, не забуду довіку; Розставання з милим смерті ся рівняє; Сухар з водою, аби серце з тобою; Як не бачу – душа мре, а побачу з душі пре; Реже видишь – больше*

¹² Про зближення та розходження українців та росіян див. І. В. Кононенко, *Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов)*, „Мовознавство” 1996, № 6, с. 39–46.

любийш; *Ох охонюшки, тошно без Афонюшки, Иван – то тут, да уряд – то худ; Милый далеко – сердцу не легко.*

Прислів’я та приказки про любов в російській та польській народній спадщині активно використовуються для іронічного вираження нелюбові, ця ознака рідко помічається в українських пареміях: укр: *Закохався, як чорт у суху грушу; Полюбитися сатана краще від ясного сокола; Прилип, як сліпий до тіста;* рос: *Влюбился, как мышь в короб ввалился; Влюбился, как сажка в розжу впелился; Любит, как собака палку; Люблю, как черта в углу; Мил ему, как порох в глазу; Люб, что свекровин кулак; Люблю, как клопа в углу: где увижу, тут и задавлю; Его милее нет, когда он уйдет;* пол: *Kocha się w nim jak ubogi w prosięciu; Miłuje go jak wilk barana; Zakochał się jak kotek w mleku; Jak do rybu pieprzu, tak do miłości łez potrzeba.*

Також зовнішня краса оспівується в пареміях, в українському, російському та польському фонді, де краса визначається, як джерело виникнення любові: укр: *В неї брови до любові, а устоньки до розмови; Красна пава пір’ям, а жінка чоловіком; Не впвала на худобу, а впвала на уроду; Не те гарне, що гарне, але те, що ся кому подобає; Хоч хліба не куса, аби за чорного вуса;* рос: *Любовь начинается с глаз; Глазами влюбляются; Где больно, там рука, где мило, тут глаза; Изнизал бы тебя на ожерелье, да носил бы в воскресенье; Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде; Красота до венца, а ум до конца;* пол: *Miłość mężczyźnie wchodzi przez oczy, a kobiecie przez uszy; Miłość w serce postrzał wymierza, a w oczy trafia.*

У слов’янських прислів’ях й приказках наголошується роль матеріальної сторони для стійкості „любовного буття”, ці паремії віддзеркалюють, що кохання може залежати від багатства улюбленої людини, або те, що для кохання матеріальні цінності не мають жодного значення: укр: *Бери жінку в одній льолі, аби була до любові; До любої небоги нема далекої дороги; Краще полин їсти, ніж з нелюбим за стіл сісти; Нащо гроші, коли чоловік хорошиий; Не впвала на худобу, а впвала на уроду; Нужда в вікно, а любов у двері; Поцілунки милісіньки, а обоє голісіньки; При своїй небозі добре і в дорозі; Сухар с водою, аби серце з тобою; Чоловік любить жінку здорову, а тещу багату;* рос: *С деньгами мил, без денег постыл; Муж любит жену богатую, а тещу – тороватую; Муж любит жену здоровую, а брат сестру – богатую; Муж любит жену здоровую, а жених невесту – богатую;* пол: *Miłość bez pieniędzy, wrota do nędzy; Dostyc ten bogaty, kto miłość posiada*¹³.

¹³ Про зближення та розходження українців та поляків див: І. В. Кононенко, *Взаємовпливи у мовних картинах світу українців та поляків*, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2006, № 21–22, с. 151–164.

Досліджуючи концепт „кохання” ми прийшли до висновку, що характерною прикметою слов’янської жінки, за свідченням паремійних одиниць, є готовність терпіти побої від коханого. Найбільшою мірою такі приклади виступають в російській мові: *Кого люблю, того и бью; Милого побои недолго болят; Милый ударит – тела прибавит; Милый побьёт, только потешит*; та два в польській: *Od miłości bolą kości; Nie ma miłości bez boleści*. Натомість в українській мові як свідчить набір слів та рима це запозичення з польської мови: *Від милого пана не болять і рана; За доброго мужа жона, як ружа, а за лихого – драба, за рік, за два – баба*. Очевидно, що в світі і російської, і української, і польської мов ці прислів’я виступають як застарілі. Це свідчить про те, що мовна, концептуальна картина світу, незважаючи на свою тіжкість, усе таки підлягає змінам.

Паремії займають особливе місце в системі кожної мови. За допомогою паремійних одиниць відкриваються широкі можливості передавати мовними засобами всю багатогранність процесів, що мають місце в повсякденному житті, а також є свідченням не лише багатства мови, але й її гнучкості, багатоманітності та влучності. Серед зібраних паремійних одиниць, які були проаналізовані з огляду на концепт *кохання*, найбільш виразно відокремлюється ознака позитивної цінності кохання – в них любов отримує загальноаксіологічну оцінку як вище благо, кохання як могутня сила, без нього життя втратило б сенс, а справжнє кохання не має кінця.

Паремії кожної мови – це скарбниця народу, здобуток його мудрості та культури, що містить багатий матеріал про його історію, звичаї, ідеали, мрії і сподівання. Ознайомлюючись з прислів’ями та приказками інших народів, людина не тільки розширює свій світогляд, але одночас стає учасником діалогу культур, тому що має можливість їх порівняти з прислів’ями свого або іншого народу, а також визначити спільні і відмінні риси менталітету різних етносів.

Streszczenie

*Koncept miłości w paremiologii słowiańskiej
(na materiale języka: ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego)*

Język jest najważniejszym elementem komunikacji międzyludzkiej, centrum całej kognitywnej działalności, skupia bowiem wszystkie kognitywne procesy. Na współczesnym etapie rozwoju językoznawstwa współczesna lingwistyka coraz większą wagę przywiązuje do porównawczej analizy języków. Jednym z aktualnych kierunków współczesnego językoznawstwa jest lingwistyka kognitywna, a szczególnie badanie konceptów. Autorka niniejszego artykułu wykazała, że miłość

w ukraińskiej, rosyjskiej i polskiej paremiologii przedstawia się w podobny sposób, ponieważ jest to zjawisko ogólnoludzkie. Koncept „miłość” zawiera podstawowe wartości, główne przeświadczenia, zasady i życiowe cele.

Summary

*The concept of “love” in the Slavic paremiology
(the language material: Ukrainian, Russian and Polish language)*

The language is the most important part of the communication among people, the centre of all cognitive activity, in which all the cognitive processes are reflected. At today's stage of development of the linguistics the centre of the whole contemporary linguistic science puts more and more attention to the comparative analysis of languages. One of the current directions of the comparative linguistics is the cognitive linguistics vs particular surveys of concepts. Scientific surveys have shown that love in the Ukrainian, Russian and Polish paremiology presents itself in a similar way as it is an universal phenomenon. The concept of “love” shows fundamental values, in which we can find main beliefs, principles and life goals.

Ludmiła Witkowska
Warszawa

Межкультурная коммуникация

Наша цивилизация, вступая в эпоху глобализации, успела достигнуть больших успехов в науке и технике, в своём развитии сделав огромный шаг вперёд по пути расширения культурных контактов и взаимосвязи между народами. Современный мир развивается и немаловажную роль в этом играет коммуникация, во время которой люди знакомятся друг с другом и обмениваются информацией. Прежде всего при этом используются такие инструменты общения, как язык и культура. Глобализация способствует бурному развитию различных форм межкультурного взаимодействия. Следует заметить, что международная коммуникация не останавливает стремление людей определённой культуры и языка, сохранять свою самобытность, что нередко вызывает непонимание и конфликты, а как следствие неприятие их языковых и культурных ценностей. Избегая противоречий и ошибок в коммуникации, следует помнить о том, что не только каждое языковое/культурное общество является уникальным, но и каждый отдельно взятый, конкретный человек в нём, исключителен и неповторим. Чем глубже мы задумываемся и понимаем это, тем короче становится путь к взаимопониманию, основанному на уважении права быть самим собой. Коммуникация может носить индивидуальный характер, между людьми одной или разных культур, массовый характер, когда информация предназначена для широких масс. Именно во время коммуникации открывается многообразие мира, которое даёт возможность для культурного взаимообогащения людей¹.

Культура как объект исследования антропоцентрической лингвистики изучается с точки зрения неразрывной связи языка и культуры, дающей в дальнейшем представление о тех или иных явлениях окружающего мира. Антропоцентрический подход „изучения” культуры основан на том

¹ См. Е.В. Бондаревская, О.В. Гукаленко, *Педагогические основы межкультурного общения*, Тирасполь 2000; С.К. Бондарева, Д.В. Колесов, *Толерантность (введение в проблему)*, Москва 2003; А.П. Садохин, *Введение в межкультурную коммуникацию*, Москва 2010.

очевидном обстоятельстве, что центром культуры является конкретный человек, его язык и накопленные им знания а также жизненный опыт.

Культура является неотъемлемой частью жизни человека. Она антропоцентрична и создается в процессе становления каждой личности. Этот процесс является очень сложным и индивидуальным, тесно связанным с лингвистикой, как утверждает во многих своих работах, посвящённых этой теме, проф. Варшавского университета Франтишек Груча².

Понятие межкультурная коммуникация обозначает контакт между представителями разных культур, во время которого происходит обмен информацией. С точки зрения антропоцентрической лингвистики это рецепция информации мозгом отдельно взятого человека и конструирование текстов в уме, а при этом одним из инструментов воспроизведения текста/высказывания (мысли) является язык. Тексты в антропоцентрической теории человеческих языков – это все конкретные языковые словные выражения как письменные, так и устные. Произведенные конкретным отдельно взятым человеком в конкретном коммуникационном процессе³.

Роль языка в коммуникации была предметом научного исследования разных учёных ещё в XVIII в. Для примера: Г. Вико⁴, В. Гумбольдт⁵ анализировали проблему взаимосвязи языка и культуры с лингвистической точки зрения, рассматривая язык и культуру как особые средства связи поколений в пространстве и времени.

В. Гумбольдт толковал языковой процесс в контексте сознания и культуры, а также социальной действительности. Первооснователем

² F. Grucza, *Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana*, Warszawa 1983; idem, *Zagadnienia ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu*, [w:] *Opuscula Logopedica in honorem Leonis Kaczmarek*, Wyd. UMCS, Lublin 1993, c. 25–47; idem, *Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi*, [w:] *Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych*, red. J. Piontek, A. Wiercińska, Wyd. UAM, Poznań 1993, c. 151–174; idem, *O językach specjalistycznych (=technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych językach ludzkich*, [w:] *Języki specjalistyczne*, red. F. Grucza, Z. Kozłowska, Warszawa 1994, c. 7–27; idem, *Języki specjalistyczne – indykatory i/lub determinanty rozwoju cywilizacyjnego*, [w:] *Języki specjalistyczne*, t. 2: *Problemy technolingwistyki*, red. J. Lewandowski, Warszawa 2002, c. 9–26.

³ „Teksty w świetle teorii antropocentrycznej to wszelkie konkretne wyrażenia językowe – zarówno mowne tak i pisemne – wytworzone, przez jakiegokolwiek użytkownika języka w konkretnym akcie (procesie) komunikacyjnym” – S. Grucza, *Lingwistyka tekstów specjalistycznych*, Euro-Edukacja, Warszawa 2008, c. 171. Все переводы сделаны автором статьи.

⁴ Vico Giambattista (1668–1744), итальянский философ и теоретик культуры, узнаваемый за преемника культурной антропологии (этнологии).

⁵ Wilhelm von Humboldt (1767–1835). Сформулировал тезис о существовании так называемой внутренней языковой формы, что помогло сделать язык активным. На основании сопоставительного анализа указал на роль языка, которую он сыграл при переходе человека от состояния природы к состоянию культуры. W. Humboldt, *Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości*, PWN, Warszawa 2002.

антропоцентрической мысли касающейся человеческих языков можно назвать Жана Боудена де Кортни, который сказал: „Язык существует только в индивидуальных умах, только в душах, только в психиках индивидуумов, то есть особей, объединённых в языковое общество”⁶.

Наибольший успех, однако, был достигнут в XX в., когда ученые доказали неразрывную связь *мышления, культуры и языка*. Язык является одним из важных общественных факторов культурного наследия. Каждое общество людей имеет свой язык и неповторимую, а иногда и своеобразную культуру, которая сохраняется, поддерживается и передаётся с поколения на поколение. Исследования американских лингвистов Э. Сепира и Б. Уорфа⁷ привели к убеждению, что люди видят мир по-разному, а язык не просто инструмент для воспроизведения мыслей, он сам формирует наши мысли. По-разному говорящие люди по-разному смотрят на мир. Создаётся „культурно-языковая картина мира”. Такой подход получил широкую известность. У него появились свои сторонники и противники.

Человеческий язык в свете антропоцентрической теории человеческих языков Ф. Гручи присущ человеку, а также включает в себя лингвистические знания, подкрепляющиеся языковым мастерством, детерминированные культурой. Культура при этом антропоцентрична. Человеческий язык – это практические знания, которые охватывают умение человека „на основании, которого (1) идет процесс создания словарных форм/высказываний определённого типа [...]; (2) достигается поставленная цель, при помощи слов...используя их как определённое средство; (3) приписывается им определённая ценность, прежде всего знаковая функция; (4) распознавание аналогичных слов/высказываний, образованных другими особями [...]; (5) чтение и понимание данной им ценности, прежде всего их значения”⁸.

⁶ W. von Humboldt, *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts*, (praca ukończona w 1835 r., a wydana w latach 1836–1839), cyt. za: B. Andrzejewski, *Wilhelm von Humboldt*, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

⁷ Гипотеза Сепира-Ворфа (точное название-право языкового релятивизма) – это лингвистическая теория, основанная на тезе употребления языка, который влияет в большей мере на способ мышления. Название походит от фамилий двух лингвистов – Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa.

⁸ „Język ludzki to praktyczna wiedza poszczególnej osoby, na podstawie, której (a) tworzy ona formy (struktury) wyrażeń/wypowiedzi określonego typu i substancjalizuje (uzewnętrznia) je, (b) realizuje (spełnia) określone cele za pomocą wyrażeń/wypowiedzi tego typu, tzn. posługuje się nimi, jako pewnymi środkami, (c) przypisuje im określone wartości, przede wszystkim funkcje znakowe, (d) poznaje analogiczne wyrażenia/wypowiedzi wytworzone przez inne osoby, tzn. identyfikuje i dyferencjuje, (e) odczytuje i rozumuje nadane im wartości, przede wszystkim ich znaczenia” – F. Grucza, *Zagadnienia ontologii lingwistycznej...*, c. 31.

С одной стороны, это практические знания, позволяющие на создание и понимание речи в данном языке. С другой стороны, это знания другого вида „в особенности знания определённого количества созданных словесных форм [...] и их семантических и культурологических функций, т.е. определённой меры того, до чего они относятся и в отношении кого, когда и т.д. могут быть использованы”⁹. Общество состоит из отдельно взятых людей и, руководствуясь антропоцентрической теорией человеческих языков Ф. Гручи, можем сказать, что каждый отдельно взятый реальный человек имеет свой язык и свою культуру.

Антропоцентрическая теория человеческих языков профессора Ф. Гручи имеет следующие исходные положения. В центре реального мира стоит конкретный человек – носитель своего языка (реально принадлежащего только ему) и своей культуры. Именно он воспринимает и осознаёт мир с помощью органов чувств, имеет своё индивидуальное и неповторимое представление о мире. „Каждый человек создаёт (конструирует) свой собственный язык «сам в себе», хотя делает это под влиянием доходящих до него языковых импульсов и одновременно по образцу языков других говорящих/слушающих”¹⁰. Человек в своём сознании осмысливает полученную информацию. При помощи своего „внутреннего” языка, детерминированного культурой, конструирует в уме текст. В свою очередь, сознание каждого человека формируется как под влиянием индивидуального опыта, так и в результате инкультурации, в процессе которой наступает овладение опытом предшествующих поколений. Когда мы употребляем слово „текст”, то имеем в виду не только лингвистическое выражение, а все те явления, которые несут в себе интеллектуальный смысл (звук, музыкальное произведение, свод законов и т.д.). В процессе коммуникации каждый участник выступает как индивид, носитель принадлежащего только ему языка, а также является представителем определённого лингвистического и культурного общества.

Язык можно воспринимать как орудие культуры, но в то же время он автономен по отношению к культуре, его можно рассматривать отдельно от неё, хотя в контексте антропоцентричности язык и культура составляют единство, они нераздельны. Носитель языка одновременно является носителем культуры. Путь выражения мысли в сознании человека

⁹ F. Grucza, *O językach specjalistycznych (=technolektach)...*, c. 8.

¹⁰ „Każdy człowiek tworzy (rekonstruuje) swój własny język „sam z siebie”, choć czyni to pod wpływem docierających do niego bodźców językowych i zarazem na wzór oraz na podobieństwo języków innych mówców-słuchaczy” – S. Grucza, *Lingwistyka tekstów...*, c. 44.

у каждого индивидуален и детерминирован культурным и социальным окружением, природными условиями, климатом и т.д. Язык каждого человека создаётся (формируется) в уме благодаря главным образом особенностям культуры в среде, которой этот человек проживает. Каждый язык имеет собственный способ представлять одну и ту же реальность. В этом процессе всё основывается на степени восприятия и мышления. Чем сложнее и разнообразнее совокупность понятий для характеристики одного явления или предмета, тем это более значимо для человека. Например, у жителей Чукотки, чукчей есть более 200 слов обозначающих понятие снег, а у австралийских аборигенов такое понятие вообще не существует. У жителей пустыни, бедуинов имеется около 300 слов, описывающих песок, а также в арабском языке фигурирует более 600 слов которые, описывают верблюда. На Филиппинах применяется 80 специальных обозначений риса, в языках Океании функционирует 100 определений связанных с бананами, таких примеров очень много. В связи с этим, как правило, в межкультурной коммуникации возникают проблемы при переводе понятий с одного языка на другой. Наиболее частым является языковое несоответствие, когда существует избыток или недостаток выражений в разных языках, отсутствие точного эквивалента для выражения того или иного предмета и даже отсутствие самого понятия. Правда, иногда можно прибегнуть к языковым заимствованиям, но это составляет только приблизительно 5%. (Например: в русском языке нет слов выражающих понятия *журэк*, *виски*, а в польском *блины*, *пельмени*, в английском *водка*, *бориц*). В этих и подобных случаях выступают языковые заимствования.

Больше всего трудностей возникает при работе со специальными текстами, связанными с правовыми нормами, т.к. правовые системы государств во всём мире различны. Поиск эквивалентов бывает трудным. Не редко на помощь в таких ситуациях приходят универсальные понятия и значения, употребляемые во всём мире, одинаково понимаемые представителями разных языков и культур. Универсальные понятия создают надёжный грунт для межкультурной коммуникации.

Межкультурная коммуникация – это коммуникация между людьми, которые имеют различную культуру и язык, чем больше различие между сторонами, тем больше толкование языковых особенностей и моделей поведения. Межкультурная коммуникация содержит в себе процесс обмена текстами, несущими в себе как языковую, так и культурную информацию.

В своей статье автор попытается представить следующую гипотезу: во время коммуникации представителей разных культур, исходя из теории антропоцентрической теории человеческих языков профессора Ф. Гручи, полного взаимопонимания достичь реально не возможно, а только относительно. (Как объяснить аборигену, что такое снег, если он его никогда не видел и в его языке отсутствует такое понятие?) Реально можно говорить только об успешной коммуникации между адресантом и адресатом, полного понимания нет. Однако успех в межкультурной коммуникации можно достичь, используя знания профессионального компетентного представителя (специалиста-переводчика). По сути, профессиональная межкультурная компетентность представляет собой единство трёх компонентов: лингвистического, культурного и специального при этом каждый наделён собственными признаками антропоцентричности. Понятие „профессиональная межкультурная компетентность” включает в себе не просто знание естественных языков и культур, это понятие подчеркивает специальную подготовку, которая позволяет специалисту применить свои знания, адекватно оценить коммуникативную ситуацию. Использовать при этом как естественный, так и специальный язык, терминологию „характерную для какой-то области человеческого творчества”¹¹, в достижении успешной коммуникации.

В своих размышлениях над этим вопросом, автор статьи предлагает следующие критерия, которыми могут руководствоваться люди, вступая в межкультурную коммуникацию:

- 1) проявлять интерес к чужой культуре, положительно воспринимать языковые, социальные и культурные различия;
- 2) показать доброжелательную расположенность в контакте с представителями другой культуры, преодолевая при этом стереотипное мышление;
- 3) продемонстрировать владение всех своих коммуникативных языковых и культурных средств, руководствуясь при этом их правильным выбором в зависимости от ситуации общения;
- 4) найти в себе (индивидуальные) качества, которые помогут устранению коммуникативного барьера.

Применяя все вышеупомянутые критерия, по мнению автора этой статьи, можно рассчитывать на успешную коммуникацию (из личного опыта автора статьи), однако вопрос о критериях успешной межкультурной коммуникации необходимо оставить открытым.

¹¹ F. Grucza, *Języki specjalistyczne – indykatory i/lub determinanty...*, с. 14.

Следует помнить о том, что человек воспринимает мир, ведёт себя и оценивает других, прежде всего в соответствии с приоритетом ценностей своей культуры. Сравнение себя с другими помогает каждому из нас почувствовать свою собственную индивидуальность, а также инородность других. В межкультурной коммуникации часто проявляются наиболее характерные черты, типичные для той или иной культуры. Неправильное толкование и не восприятие элементов чужой культуры могут привести к своеобразному роду коммуникационным конфликтам. Американский исследователь межкультурной коммуникации Г. Триандис сказал: „Мудрость межкультурного взаимодействия заключается в том, чтобы не спешить с умозаключениями, когда люди делают на наш взгляд что-то странное. Подыграйте им, пока не поймёте эту культуру [...]”¹².

Выход из затруднительной коммуникационной ситуации иногда помогают найти стереотипы, которые мы понимаем как устойчивые и регулярно повторяющиеся формы поведения, принятые в каждой культуре. Причины возникновения стереотипов разнообразны. Однако, одна наиболее убедительная из них, по мнению автора, является защитной реакцией, от оценочных суждений. Наличие стереотипов упрощает процесс оценки. А оценивать другого человека не понимая его культуры и языка, аморально. Ведь говорится: „Не суди да не судим, будешь”. В процессе межкультурной коммуникации стереотипы помогают, если они используются как положительное представление о человеке или ситуации, в которой он находится, и не рассматриваются как единая и верная информация. В свою очередь стереотипы могут затруднять межкультурную коммуникацию. Это происходит в момент, когда они усиливают ошибочные убеждения, дают ложные представления о человеке, с которым осуществляется коммуникация. Участвуя в межкультурной коммуникации, человек должен уметь использовать стереотипы, но также должен уметь от них отказаться при их несоответствии к оппоненту или реальной действительности.

Процесс глобализации, с одной стороны, приводит культуру и языки разных народов к взаимозависимости, а значит и к коммуникации, построенных на принципах демократии, плюрализма и толерантности. (Ярким примером является Евросоюз). С другой стороны, этот процесс затрудняет коммуникацию такого типа отношений, когда люди

¹² НС. Triandis, *The psychological measurement of cultural syndromes*, „American Psychologist” 1996.

руководствуются предпосылками религиозного фундаментализма, неоправданного национализма и т.д. Главное в межкультурной коммуникации, это найти консенсус, который приведёт нас к желаемым результатам.

Мир – это непрерывающийся процесс коммуникации, во время которого те или другие культурные и лингвистические особенности одного человека признаются как одни из многих и ни в коей мере не могут подчинить себе все остальные (культ личности). Восприятие языка и культуры другого человека требует толерантного подхода, так как каждый имеет право на непохожесть, отличие от других. В межкультурной коммуникации толерантный подход помогает разрешить конфликт межкультурных противоречий. Использует разумную уступчивость, постоянную готовность к успешной коммуникации, признание уникальности и ценности другого мнения.

Американскими исследователями межкультурных отношений Р. Ситарамом и Т. Когделлом были выработаны следующие рекомендации, основанные на толерантности, которыми следует руководствоваться для достижения успеха в межкультурной коммуникации:

- осознавать, что представитель какой-либо культуры не устанавливает мировых стандартов;
- относится к культуре с тем же уважением, с каким относился бы к своей собственной;
- не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур на основе собственных ценностей;
- помнить о необходимости понимания культурной основы чужих ценностей;
- никогда не исходить из превосходства своей религии над религией другого, пытаться понимать и уважать чужую религию;
- стремиться понять обычаи приготовления и принятия пищи других людей, уважать их способ одеваться, не демонстрировать отвращение к непривычным запахам и цветам;
- не исходить из цвета кожи как „естественной” основы взаимоотношений с тем или иным человеком;
- не смотреть свысока на человека, если его языковой акцент отличается от нормы;
- понимать, что каждая культура, какой малой она ни была, имеет право на существование и ей есть, что предложить миру;
- нет в мире культуры, которая имеет монополию на все языковые и культурные аспекты;

– не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культуры для воздействия на поведение других представителей другой культуры в ходе межкультурной коммуникации;

– помнить, что никакие научные данные не подтверждают превосходства одного народа над другим (этнических групп) над другими¹³.

Следуя этим рекомендациям, а также проанализировав весь вышеизложенный материал, мы можем сделать соответствующие выводы и тем самым избежать коммуникационных конфликтов, достигая таким способом успеха в межкультурной коммуникации современного мира.

Streszczenie

Międzykulturowa komunikacja

W artykule podjęto zagadnienia wpływu kultury na komunikację, stereotypów i ich oddziaływania na międzynarodowy proces komunikacyjny. Autorka oparła się przede wszystkim na antropocentrycznej teorii języków prof. F. Gruczy. Twierdzi, iż kultura jako obiekt badania antropocentrycznej lingwistyki stawia w centrum człowieka i zgromadzone przez niego życiowe doświadczenie, zaś język i kultura stanowią jedność, gdyż w rzeczywistości istnieje tylko konkretny język i konkretna kultura właściwa konkretnej osobie.

Summary

Intercultural communication

What is intercultural communication? The influence of culture on communication. The conception of “professional intercultural competence”. Stereotypes and their influence on communicational process. I base my approach to lingual and cultural reality on anthropocentric theory of human languages. These are issues which the author of the article concentrates on: culture, as a research object of anthropocentric linguistics, is based on reality, where there is a man and his life experience in the centre; language and culture create a union; what really exist are a concrete language and a concrete culture typical of one concrete person.

¹³ R. Sitaram, T. Cogdell, *Foundations of Intercultural Communication*, Columbus 1976, c. 39–41.

Marina Sikorska
Olsztyn

Перифраза: объем и содержание понятия

Вопросы изучения перифразы в художественном тексте и публицистическом дискурсе неоднократно привлекали внимание исследователей (Г.Н. Моложай, Т.И. Бытева, Л.В. Хамидова, А.Б. Новиков, О.Ф. Катаева и др.), однако единого понимания и удовлетворительного, с нашей точки зрения, определения понятия „перифраза” до настоящего времени не существует. Разногласия и дискуссии по этой проблеме, а также задачи изучения функционирования перифразы в художественном тексте предопределили тему данной статьи.

Материалом исследования послужила повесть *Сонечка* современной российской писательницы Людмилы Улицкой, обладательницы нескольких престижных литературных премий¹. Текст этого произведения, отличающийся высоким уровнем выразительности и эмоциональности, которая достигается не в последнюю очередь благодаря обращению автора к перифразе, стал богатым источником для разработки означенной темы.

Изучение научной литературы и терминологических словарей выявили ряд проблем в использовании терминов для обозначения одного и того же понятия. В научной литературе понятие „перифраза” встречается в двух вариантах употребления: „перифраз” и „перифраза”. Как справедливо замечает Т.И. Бытева, такое разногласие можно объяснить иностранным происхождением слова. Мужской род термина является транскрипцией французского слова *periphrase*, зафиксированного Словарем Французской Академии 1740 г. (третье издание), 1793–1799 гг. (пятое издание). Женский вариант – „перифраза” образовался путем транслитерации того же слова с сохранением формы грамматического рода языка-источника².

Наши наблюдения над функционированием термина выявили следующее: „перифраза” регистрируется в большинстве исследований – в работах

¹ Л. Улицкая, *Сонечка: повесть*, Москва 2009 (далее в круглых скобках указывается страница контекста из повести Л. Улицкой, выходные данные которой указаны выше).

² Т.И. Бытева, *Феномен перифразы в русском литературном языке: проблема семантики и лексикографии*, [online] <<http://www.dissercat.com>>.

И.П. Рапшите, Г.Н. Моложай, Л.Н. Синельковой, В.Н. Милехиной, В.П. Григорьева, С.Я. Макаровой, А.Н. Кожина, А.Б. Новикова, В.П. Москвиной, Т.И. Бытевой, Н.А. Есменской, „перифраз” – в работах И.З. Ильиной, Г.З. Розановой, М.А. Куандыковой, О.Ф. Катаевой, М.А. Сиривли.

Некоторые словари регистрируют оба варианта, однако именно *перифраза*, как правило, открывает словарную статью³. Заметим, что в польской научной литературе функционирует слово только женского рода – *peryfraza*⁴. Далее будем употреблять термин „перифраза” как наиболее частотный.

Следующая проблема связана с отождествлением терминов „перифраза” и „парафраза”, что прослеживается, например, в определении, предложенном О.С. Ахмановой в *Словаре лингвистических терминов*: „Парафраза – англ. *paraphrase*, *periphrasis*, фр. *periphrase*, нем. *periphrase*, исп. *perifrasis*. 1. Описательное выражение.

2. Троп, состоящий в замене обычного слова (простого обозначения некоторого предмета одним словом) описательным выражением. Например: *Вечный город* вместо *Рим*, *город на Неве* вместо *Ленинград* [...]”⁵.

Подобное отождествление находим в толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова, а также в *Русско-польском словаре лингвистических терминов* М.А. Алексеенко⁶.

Для выяснения отличий этих слов-терминов З.Г. Теучеж обращается к этимологическому словарю и выявляет, что префикс *пара-* имеет значение ‘равный, пара’, а префикс *пери-* – ‘кругом, вокруг’. Таким образом, для парафразы характерно приравнивание, равнозначность, а перифраза – это неравнозначное описательное выражение⁷.

Изучив формальную сторону термина, обратимся к содержанию понятия „перифраза”. В *Большом энциклопедическом словаре. Языкознание* (под ред. В.Н. Ярцевой) дается следующее определение: „Перифраза – стилистический

³ В.И. Даль, *Толковый словарь русского языка: современная версия*, Москва 2008; Д.Н. Ушаков, *Большой толковый словарь современного русского языка*, [online] <<http://ushdict.narod.ru>>; *Большой энциклопедический словарь. Языкознание*, ред. В.Н. Ярцева, Москва 1998; *Словарь иностранных слов*, ред. В.В. Пчелкина, Москва 1989.

⁴ Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, *Słownik terminologii językoznawczej*, Warszawa 1970; J. Malczewski, *Szkolny słownik terminów nauki o języku*, Warszawa 1985; I. Płóciennik, D. Podlawska, *Słownik wiedzy o języku*, Bielsko-Biała 2007; M. Bańko, *Słownik peryfraz czyli wyrażen otownych*, Warszawa 2005; P. Stasińska, A. Markunas, *Wybrane wyrażenia peryfrastyczne w języku polskim i rosyjskim. Studium konfrontatywne*, Poznań 2009.

⁵ О.С. Ахманова, *Словарь лингвистических терминов*, Москва 2004, с. 312.

⁶ М.А. Алексеенко, *Rosyjsko-polski słownik terminów lingwistycznych = Русско-польский словарь лингвистических терминов*, Szczecin 2003, с. 107, 114.

⁷ З. Г. Теучеж, *Парафраза и перифраза: понятийное и терминологическое разграничение*, „Кубанский научный медицинский вестник”, Краснодар 2006, № 11, с. 80.

прием, заключающийся в непрямом обозначении предметов и явлений действительности (преимущественно эмоционально-экспрессивного, оценочного характера), напр.: *зеленый друг* (лес), *второй хлеб* (картошка). В перифразе на первый план выдвигается какое-либо качество, сторона описываемого понятия, существенные в данном контексте, ситуации. Основное назначение перифразы – усилить выразительность текста, действенность высказывания”⁸.

На основе приведенного определения можно сформулировать пять критериев, характерных для перифразы:

- 1) это стилистический прием;
- 2) является описательной вторичной номинацией;
- 3) выделяет особое качество описываемого предмета;
- 4) имеет экспрессивно-эмоциональный характер;
- 5) усиливает выразительность текста.

Указанные признаки называются в работах других исследователей, в то же время Л.В. Хамидова подчеркивает также метафоричность перифразы⁹, а Н.А. Есменская, З.В. Николаева, Т.И. Бытева указывают на субъективную модальность перифразы¹⁰. Следующим критерием следует назвать „несколькословие” перифразы, т.е. наличие в ее составе более одного компонента¹¹. Таким образом, выявляются восемь признаков, характерных для рассматриваемого явления.

В польских словарях находим схожие характеристики перифразы: стилистическая фигура, которая является неоднословной, описательной вторичной номинацией, обладает метафоричностью, украшает речь¹².

В качестве следующей проблемы в изучении перифразы следует назвать различные квалификационные характеристики: в научных

⁸ Большой энциклопедический словарь. Языкознание..., с. 371.

⁹ Л.В. Хамидова, *Употребление перифрастических выражений в современной публицистической речи (на материале газет)*, Тамбов 1999, с. 78.

¹⁰ З.В. Николаева, *Перифраза в поэтических произведениях Н.А. Некрасова*, [в:] *Вопросы русского языка*, Ярославль 1969, с. 226; Н.А. Есменская, *Текстовая перифраза и ее функционирование в связном дискурсе в современном французском языке: на материале текстов массовой коммуникации*, Москва 2005, с. 7; Т.И. Бытева, *Феномен перифразы в русском литературном языке: проблема семантики и лексикографии*, [online] <<http://www.dissercat.com>>.

¹¹ Т.И. Бытева, *ор. cit.*; Т.В. Лыскова, *Структурно-семиологический аспект ономаσιологического изучения перифразы*, „Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Аспирантские тетради” Санкт-Петербург 2008, № 35(76), с. 232.

¹² Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, *op. cit.*; I. Płóciennik, D. Podlawska, *op. cit.*; *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*, red. K. Polański, Wrocław 2003; *Słownik wyrazów obcych*, red. J. Tokarski, Warszawa 1980.

описаниях перифразу зачастую отождествляют с контекстуальной синонимией, эпитетом, эвфемизмом, метафорой, метонимией, сравнением, свободным сочетанием, синлексом, фразеологизмом, аллюзией, реминисценцией, цитатами, приложениями, аллегориями и др.

Обратимся к определению понятия „перифраза”, сравнивая ее с эпитетом, эвфемизмом и фразеологизмом, опираясь на вышеназванные признаки.

1. Перифраза и эпитет

Для сравнительного анализа объема и содержания понятий „эпитет” и „перифраза” обратимся к определениям эпитета.

Эпитет – „разновидность определения, отличающаяся от обычного экспрессивностью, переносным характером. Например: *серебряные седины, шелковые кудри* [...]. Эпитет усиливающий, подчеркивающий какой-либо один признак предмета. Например: *столы белодубовые, ножки резвые*”¹³.

Сравнивая содержания означенных выше понятий, выявляем, что эпитет и перифраза имеют достаточно много общих признаков: это стилистические приемы, которые выделяют особое качество описываемого предмета или явления, носят экспрессивно-эмоциональный характер, им присуща субъективная модальность, они придают тексту выразительность, обладают метафоричностью. Отличие состоит во вторичной номинативной функции и поликомпонентом составе, присущих перифразе. Эпитет не называет предмет, а дает ему дополнительную художественную характеристику и может быть выражен одним словом. Обратимся к тексту повести *Сонечка*:

К сожалению, в шутке не было большого преувеличения: нос ее был действительно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и *отсиделым тощим задом*, имела лишь одну статью – большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и *унылой плоскости сзади*. (с. 5)

Рассмотрим два словосочетания: *отсиделый тощий зад* и *унылая плоскость сзади*. Слова *отсиделый* и *тощий*, относящиеся к дисфемизму *зад*, имеют негативную эмоционально-экспрессивную характеристику, носят субъективную оценку говорящего (в данном случае автора), однако

¹³ О.С. Ахманова, *op. cit.*, с. 527.

номинативной функцией не обладают. Следовательно, данные слова являются эпитетами. Словосочетание *унылая плоскость сзади*, помимо оценочной и информативной функций, выраженных входящим в ее состав эпитетом *унылая*, выполняет номинативную функцию. Данное словосочетание следует отнести к перифразе.

2. Перифраза и эвфемизм

В научной литературе употребляются понятия „эвфемистическая перифраза”¹⁴, „эвфемизм, построенный на перифразе”¹⁵ и „эвфемизм как разновидность перифразы”¹⁶. Среди ученых нет единодушия в том, можно ли эвфемизм считать видом перифразы.

В *Большом энциклопедическом словаре* эвфемизм определяется как „эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными. Например: *пожилой* вместо *старый*”¹⁷.

Перифразу и эвфемизм объединяет следующее: оба явления – стилистические приемы, которые выполняют вторичную номинативную функцию и описательно называют предмет или явление, которым свойственна метафоричность. Противопоставлена перифраза эвфемизму по следующим признакам: она выделяет особое качество описываемого предмета, ей свойственна гиперэкспрессивность и субъективная оценка, она усиливает выразительность текста, в то время как эвфемизм, напротив, строится на основе нейтрально окрашенных слов и служит для „сглаживания” некоторых характерных признаков. Минимальный допустимый компонентный состав также различен: эвфемизм может состоять из одного слова (например: *седалище*), а перифраза как минимум из двух. Названные противопоставленные понятия можно проиллюстрировать следующими примерами из повести *Сонечка*: „священный инструментарий природы” (с. 78) и „некий предмет” (с. 59) (денотат ‘мужской половой орган’). Приведенные словосочетания выполняют вторичную описательную номинативную функцию и нуждаются в контексте, чтобы быть понятыми. Однако для первого словосочетания характерна сильно выраженная

¹⁴ Ibidem, с. 312.

¹⁵ И.Р. Гальперин, *Стилистические приемы описания явлений и предметов*, [в:] *Очерки по стилистике английского языка*, [online] <<http://www.classes.ru>>.

¹⁶ *Словарь иностранных слов...*, с. 382.

¹⁷ *Большой энциклопедический словарь. Языкознание...*, с. 521.

эмоциональная окраска, прослеживается субъективная оценка автора, а точнее ирония. Второе словосочетание выражено нейтральными словами „некий” и „предмет”, которым свойственна абстрактность, неопределенность, отсутствие оценочности. Если в первом примере присутствует дополнительная характеристика, то во втором, напротив, как бы „затушеваются” все признаки описываемого первичного номинанта. Следовательно, словосочетание *священный инструментарий природы* – это перифраза, а *некий предмет* – эвфемизм.

3. Перифраза и фразеологизм

В *Большом энциклопедическом словаре* фразеологизм определяется как „общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического состава”. Далее отмечаются номинативно-характеризующая функция, устойчивость, воспроизводимость и семантическая спаянность компонентов фразеологизма¹⁸.

В предисловии к *Фразеологическому словарю русского языка* А.И. Молотков кроме вышеперечисленных критериев называет раздельнооформленность, возможность структурных вариантов или новообразований, метафоричность, образность, экспрессивно-эмоциональную окраску, рассматривает синонимический и антонимический ряды фразеологизмов, а также непереводаемость на другие языки¹⁹.

И перифраза, и фразеологизм служат для усиления выразительности текста, им присуща вторичная номинативно-характеризующая функция, выделение особого качества описываемого предмета или явления, метафоричность, экспрессивность и эмоциональность. Следует отметить, что перифраза, как правило, включает в себе субъективное, индивидуально-авторское отношение к предмету или явлению, тогда как коннотативная окрашенность фразеологизма является общепринятой, опирается на культурные традиции общества, народа.

Анализ характерных признаков перифразы и фразеологических единиц выявил, что шесть основных критериев из восьми являются общими. Прокомментируем отличия этих единиц.

¹⁸ Ibidem, с. 559.

¹⁹ *Фразеологический словарь русского языка*, под ред. А.И. Молоткова, Москва 1987, с. 7.

Если в устойчивости фразеологизмов и их постоянном, закреплённом значении нет сомнения (например, *уязвимое место*), то иначе обстоит дело с перифразой. Одни лингвисты относят перифразу к неустойчивому свободному словосочетанию, которому свойственна подвижность составляющих слов и зависимость смысла от контекста²⁰. Другие относят перифрастическое выражение к устойчивому словосочетанию, которое имеет постоянный компонентный состав²¹. Так, например, Т.И. Бытева склонна думать, что перифраза не меняет своего значения в зависимости от контекста. По ее мнению, перифразу с тем же компонентным составом, но употребленную в другом контексте, следует рассматривать как перифрастический омоним²². Опираясь на позицию Т.И. Бытевой, обратимся к тексту повести:

[...] он не все понял, но из того, что ему удалось перевести, следовало, что Роберт Викторович чуть ли не классик и уж, во всяком случае, *пионер художественного направления*, из всех сил расцветающего теперь в Европе. (с. 25)

В данном контексте перифраза *пионер художественного направления* относится к номинанту *Роберт Викторович*. При другом контексте значение могло бы измениться и, соответственно, это была бы другая перифраза, омонимичная ей.

Как уже было ранее замечено, для фразеологизма свойственна семантическая спаянность. Значение перифразы, наоборот, складывается из суммы значений всех сем, например:

Так, гуськом, они дошли до подъезда многоэтажного дома, где в длинных коридорах, дверь к двери, трудолюбиво и деловито созидали прилично оплачиваемое социалистическое искусство, вынося время от времени в унылые коридоры громоздкие изводы *лысого гиганта мысли...* (с. 96)

Именно актуальное значение каждой семы помогает понять перифразу-загадку. В данном тексте автор отправляет читателя к другому литературному произведению, намекая на персонаж романа *Двенадцать стульев* И. Ильфа и Е. Петрова – Кису Воробьянинова. Совокупное значение цитаты *гигант*

²⁰ М.А. Сирилья, *Перифраз как экспрессивное средство языка газеты: семантико-прагматический аспект*, Костанай 2007, с. 65; Л.В. Хамидова, *op. cit.*, с. 70.

²¹ А.Б. Новиков, *Словарь перифраз русского языка*, Москва 2007, с. V; Т.И. Бытева, *К проблеме перифрастического значения*, [в:] *Лингвистический ежегодник Сибири*, вып. 1, Красноярск 1999, с. 94.

²² Ibidem.

мысли и характерной черты внешности героя, выраженной прилагательным *лысый*, „расшифровывают” загадку авторской перифразы.

Критерий структурного варьирования фразеологических единиц можно проиллюстрировать следующими примерами: *сживать [сгонять] со света, стоять колом [костью] в горле [глотке], туг [крепок] на ухо*²³. В повести *Сонечка* и изученных нами научных материалах отсутствуют примеры, которые могли бы подтвердить или опровергнуть возможность структурных вариантов перифрастических выражений.

Следующий критерий, актуальный для рассматриваемых явлений, – это их синонимические и антонимические ряды, на которые предлагает обращать внимание Л.В. Хамидова, утверждая, что „перифраза как и фразеологизмы может иметь синонимы, но в отличие от фразеологизмов синонимический ряд перифрастических выражений всегда открытый”²⁴. Рассмотрим конкретные примеры.

Для фразеологизма *стреляный воробей* – синонимом является *тертый калач*; синонимический ряд составляют фразеологизмы *одним миром мазаны, два сапога пара, одного поля ягода*; к фразеологизмам-антонимам можно отнести, например, *тяжел на подъем – легок на подъем; без царя в голове – с царем в голове*²⁵, при этом отметим, что антонимия фразеосистемы развита слабее. Из примеров видно, что синонимический и антонимический ряды фразеологизмов закрыты для конкретного синхронного среза, они являются результатом исторического развития фразеологической системы русского языка.

Рассмотрим ряд перифраз, заменяющих номинант Витька Старостин, одного из персонажей повести *Сонечка*: „обладатель кукольной мордочки, русоголовая пища, брутальный Онегин, тринадцатилетний рыцарь” (с. 18–19). С одной стороны данную цепочку можно назвать синонимическим рядом, так как формально данные словосочетания замещают номинант Витька Старостин. Однако в действительности каждая перифраза указывает на иной, отличный признак данного номинанта. Следовательно, трудно говорить о перифрастической синонимии и называть подобного рода цепочки синонимическими.

Критерии воспроизводимости/ невоспроизводимости перифразы, а также ее труднопереводимость в статье рассмотрены не были, ввиду того что эти проблемы могут стать самостоятельной темой исследования.

²³ *Фразеологический словарь...*, с. 11.

²⁴ Л.В. Хамидова, *op. cit.*, с. 71.

²⁵ *Фразеологический словарь...*, с. 18.

Проведенное исследование выявило следующие признаки, характерные для перифразы: это стилистический прием, обладающий метафоричностью, выраженный устойчивым словосочетанием с постоянным компонентным составом, который выполняет функцию вторичной описательной номинации, выделяя особое качество описываемого предмета, обладает экспрессивно-эмоциональным характером (гиперэкспрессивностью) и субъективной модальностью, придает тексту выразительность. Полагаем также, что наше исследование доказывает, что перифразу следует отличать от эпитета, эвфемизма и фразеологических единиц.

Streszczenie

Peryfrazą: zakres oraz zawartość pojęcia

W niniejszym artykule zostały zbadane zakres oraz zawartość pojęcia „peryfrazą” na materiale współczesnej rosyjskiej powieści Ludmiły Ulickiej pt. *Sonieczka*, w której często spotykamy ten chwyt stylistyczny. Autorka wyodrębniła podstawowe oraz drugorzędne kryteria peryfrazы drogą ogólnej analizy definicji słownikowych oraz jej porównywania z innymi stylistycznymi środkami języka i mowy.

Summary

Periphrasis: scope and content of concept

The article studies the scope and the content of the concept of periphrasis on the basis of a modern Russian novel *Sonechka* written by Ludmila Ulickaya, in which the phenomenon is often used. The basic and the secondary criteria of periphrasis were revealed by general analysis of dictionary definitions and by comparing them with other stylistic devices of language and speech.

Joanna Olechno-Wasiluk
Olsztyn

Aksjologiczny obraz kobiety na przykładzie paremii rosyjskich

Przysłowia to, jak wiadomo, teksty kliszowane, powtarzalne, które utrwalają wiedzę o świecie danej społeczności. Są zatem narzędziem służącym do interpretowania rzeczywistości i w pewien sposób narzucają obraz świata, promują te czy inne wartości.

Przysłowia poprzez swoją powtarzalność utrwalają w języku cechę przedmiotu, zjawiska, osoby, a więc umacniają stereotypy. Poza powtarzalnością charakterystyki przedmiotu ważne jest też utrwalenie tej cechy w języku, znaczeniu słów, a to odnajdziemy właśnie analizując przysłowia¹. W potocznym rozumieniu to, co nazywamy stereotypem, jest charakterystyką danej rzeczywistości, oceną utrwaloną, przypisywaną powszechnie określone pojęciu, zazwyczaj ze skojarzeniem pejoratywnym (np. stereotyp zawarty we frazeologizmie – *женская логика*, w interpretacji mężczyzn ma konotacje negatywne (np. aforyzm *Женская логика – это твёрдая уверенность в том, что любую объективную реальность можно преодолеть желанием*). Warto wspomnieć również frazeologizm *женская интуиция*. Intuicja przypisywana jest głównie kobietom (stereotypowo), ponieważ u mężczyzn wyżej ceni się logiczne myślenie. Uznaje się, że kobieta kieruje się uczuciem (bądź przeczuciem), a dopiero później rozumem.

Fakt, iż człowiek i jego postrzeganie rzeczywistości stoi w centrum zainteresowań badawczych nad językowym obrazem świata (JOŚ), pociąga za sobą uwzględnienie również charakterystycznej właściwości jednostki ludzkiej, jaką jest wartościowanie². Wartości są podstawową kategorią przy budowaniu JOŚ,

¹ Podstawę materiałową niniejszego artykułu stanowią wybrane przez autorkę przysłowia (choć pojawiają się też powiedzenia, gdyż wiele z nich ma szansę stać się przysłowiami oraz aforyzmy, ponieważ zawierają stereotypowe konotacje cech przysłowiowych). Za podstawowe źródło przysłów i powiedzeń posłużył *Słownik przysłów i powiedzeń rosyjsko-polski, polsko-rosyjski* R. Stypuły (Wiedza Powszechna, Warszawa 2003) oraz strony internetowe: <www.aphorism.ru/>, <http://poslovicy-pogovorki.ru/index/o_zhene/0-85>. Wykscerpowano dla celów badawczych około 60 przysłów, powiedzeń i aforyzmów.

² I. Burešová Wania, *Językowy obraz kobiety na podstawie polskich i czeskich czasopism dla kobiet*, Uniwersytet Pałaccki, Ołomuniec 2003, s. 22.

w którym pewne zachowania przyjęto traktować jako zgodne z normą, inne jako odbiegające od niej. Oceniając, porównujemy zjawisko, zachowanie czy przedmiot do tego, co jest uznane za ogólnie obowiązujące. Rezultatem tej oceny jest nasza aprobata, potępienie lub obojętność wyrażona w języku, który jest narzędziem służącym do interpretowania rzeczywistości³.

Językowy obraz świata skupia w sobie nie tylko zjawiska językowe, ale także uwarunkowania kulturowe i społeczne. To kultura, w której żyjemy oraz panujące w niej stereotypy rzutują na pozycję kobiet w świecie i nasze myślenie o nich. Na podstawie wielowiekowych doświadczeń, zmian warunków życia, zmian społecznych wytworzył się potoczny sposób myślenia o kobiecie, zakodowany w języku – zwłaszcza w leksyce i frazeologii. Stereotypy są częścią JOŚ, są też źródłem wiedzy o sposobach wartościowania i wzorach zachowań danej kultury.

Rozważania nad językowym obrazem świata są powiązane ze stereotypami, ponieważ „choć stereotypy mają swe źródło w percepcji i myśleniu ludzkim, to jednak [...] zawdzięczają swe istnienie społecznej naturze postrzegania i poznawania świata, a więc także procesom powstawania kultury. Zatem stereotypy są wytworem kultury, ale ich konotacja się do tego nie ogranicza, są one bowiem również teje kultury nośnikiem, działającym aktywnie w procesach kulturotwórczych”⁴.

Jerzy Bartmiński w swoim artykule *Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata* przyjmuje, że JOŚ to zawarta w języku interpretacja rzeczywistości, którą można ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy utrwalone w samym języku, w jego formach gramatycznych, słownictwie, kliszowanych tekstach (np. przysłów) bądź implikowane przez formy i teksty języka⁵. Renata Grzegorzczkova określa JOŚ jako strukturę pojęciową, za pomocą której ludzie mówiący danym językiem ujmują (klasyfikują, interpretują) świat⁶. Specyficzną rolę w interpretacji językowego obrazu świata odgrywa aksjologia. Właściwie każde słowo ma zabarwienie emocjonalne. Używając go, wartościujemy i oceniamy. Poznawanie cech języka wartości wzbogacza naszą ogólną wiedzę o człowieku, może ułatwiać człowiekowi rozpoznawanie, hierarchizowanie

³ J. Bartmiński, S. Grabias, A. Pajdzińska, R. Tokarski, J. Panasiuk, R. Grzegorzczkova, B. Szymek, J. Maćkiewicz, *Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski*, Wrocław 1993, s. 284.

⁴ W. Wysoczański, *Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków*, Wrocław 2006, s. 84.

⁵ J. Bartmiński, *Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata*, [w:] *Językowy obraz świata*, wyd. 2, UMCS, Lublin 1999, s. 104.

⁶ R. Grzegorzczkova, *Pojęcie językowego obrazu świata*, [w:] *ibidem*, s. 45.

oraz podejmowanie decyzji w częstych sytuacjach konfliktów wartości oraz pomaga w rozpoznawaniu intencji wartościujących wyrażanych przez innych ludzi, uczestników dialogu, mówców, autorów⁷.

W paremiach rosyjskich dotyczących kobiet występują różne synonimy słowa *женщина*: *баба, жена, девка, старуха*. Interesujące jest to, że w większości badanych i przytaczanych przeze mnie przysłów nominacja *женщина* o zabarwieniu neutralnym pojawia się najrzadziej. Najczęściej ukazana jest kobieta jako *баба* lub *жена*. Najwięcej negatywnych emocji wzbudza leksem *баба* i to on stanowi centrum przysłów o kobietach starych, brzydkich, kłótliwych. *Баба* już w swojej semantyce zawiera element oceny⁸. *Женщина* – *баба* w przysłowiaх najczęściej jest przebiegłą, chytra, podstępna, leniwa, jest ciężarem dla swojego męża: *Баба с возу – кобыле легче; Баба и чёрта перехитрит; Баба – не квашня: встала да и пошла; Баба пляшет, а дед плачет; Бабыю работу не видно*. Jak już wspomniano, w języku przysłów i powiedzeń charakterystyczna jest powtarzalność cechy, ta natomiast, przypomnijmy, jest jednym z kryteriów stereotypowości. W paremiach rosyjskich zakorzenił się stereotyp kobiety:

- gadatliwej:

Одна женщина – баба, две бабы – базар, а три – ярмарка.

Жена языком, а муж кошельком.

Бабу не переговоришь.

- kapryśnej i złej:

Лучше раздражить собаку, нежели бабу.

- kłamliwej, chytrej i przebiegłej:

Кто бабе (свахе) поверит, тот трёх дней не проживёт.

Не верь ветру в море, а жене в доме.

Баба бредит, да чёрт ей верит.

Женщина хитрее чёрта.

Где бес не сможет, туда бабу пошлёт.

- głupiej i słabej:

Собака умней бабы: на хозяина не лает.

Лучше камень долбить, чем бабу уму учить.

У бабы волос долог, да ум короток.

⁷ J. Puzynina, *Язык wartości*, PWN, Warszawa 1992, s. 7.

⁸ Do XVII wieku słowo „баба” używane było w znaczeniu ‘женщина’, potem ‘замужняя крестьянка’. В. Даль określa „бабу” jako „замужняя женщина низших сословий, особенно после первых лет, когда она была молодкою, молодницею, или вдову”. We współczesnych słownikach to 1) женщина (обычно с оттенком пренебрежительности или фамильярного одобрения); 2) простая, необразованная женщина.

Бабий ум – перекаати-поле.
Бабы умы разоряют дома.
От женского удара синяков не бывает.

W przebadanym materiale prezentowany jest na ogół negatywny obraz kobiety jako istoty krnąbrnej, upartej, złośliwej, chytrej, niestałej, skłonnej do zdrady i kłamstwa. Przysłowia, powiedzenia i aforyzmy przypisują kobietom skłonność do plotkarstwa, gadulstwo.

Ponadto w wielu przysłowiach rosyjskich zakodowana jest patriarchalność. Często w kobieta zestawiana jest z mężczyzną i traci na tym zestawieniu:

У мужа (перед мужем) жена всегда виновата.
Моё дело сторона, а муж прав.
Мужчины грех за порогом остаётся, а жена всё домой несёт.
Муж согрешил, так в людях грех, а жена согрешила, домой принесла.
Женишься раз, а плачешь весь век.

W porównaniu z mężczyzną kobieta zawsze gra drugoplanową rolę. W świetle przysłów to mężczyzna ma nad nią pełną i absolutną władzę, to on powinien sprawować kontrolę:

Муж – голова, жена – душа.
Не муж в мужьях, кем жена владеет.
Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка всегда в избе.

Przysłowia dają mężczyznom prawo do stosowania przemocy wobec swoich żon. Postawa taka łączy się z przekonaniem o niższości kobiet:

Вино пей, жену бей, ничего не бойся.
Бей жену к обеду, а к ужину опять.
Сила мужчины – в кулаках, а женщины в слёзах.

W stereotypie wszystko to, co jest w kobiecie najlepsze, pochodzi od mężczyzny: jeśli kobieta jest mądra, mówi się, że ma *мужской ум*, jeśli kobiecie się powodzi, to *мужская хватка*, a jej twardy charakter to *мужской характер* itd. Użycie tych określeń ma być dla niej komplementem. Odwrotnie wypada porównanie mężczyzny z kobietą: *болтлив, любопытен, кокетлив, самовлюблён, капризен, истеричен как женщина*.

Istnieją liczne stereotypy dotyczące różnic charakteru kobiety i mężczyzny. Obiegowe sądy zwykle przyznają kobiecie wyższość w sferze uczuć. Uważa się, że kobiety są bardziej emocjonalne, płaczliwe, czasem wręcz histeryczne:

Баба слезами беде помогает.
Бабы слезы, чем больше унимать, тем хуже.
Без плачу у бабы дело не спорится.
Женский обычай – слезами беде помогать.
У баб да у пьяных слезы дешевы.

W większości przysłów o kobietach wyczuwa się ich dyskryminację. Według stereotypu kobieta pełni określone funkcje, głównie w domu: rodzi dzieci, opiekuje się domem, dba o męża i jest zawsze krok za nim. Oczekuje się od niej, by była dobra, cierpliwa, posłuszna, delikatna, wierna, zawsze piękna i młoda. Podkreśla się takie cechy dobrej żony, jak gospodarność i dbałość o dom:

Бабе дорога от печи до порога.

Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка всегда в избе.

Лучше молодая вдова, чем старая дева.

Дом с хорошей женой – рай.

У кого плохая жена, тому и пекла не надо.

Самые красивые женщины – блондинки, самые страстные – брюнетки, а самые верные – седые.

Пусть девушка красуется перед чужими парнями, а жена – перед собственным мужем.

Мое дело – сторона, а муж мой прав.

Вдову взять – спокойнее спать.

Na językowy obraz kobiety w rosyjskich paremiach składają się dwa stereotypy: nacechowany negatywnie i nacechowany pozytywnie – stereotyp kobiety opiekuńczej, dobrej żony. Centrum wypowiedzi o tym znaczeniu stanowi leksem *жена*. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że słowo *женщина* pochodzi od słowa *жена*, więc już tutaj można dopatrzyć się podstawowej roli kobiety – bycie żoną swojego męża. Zapewne etymologia ma też wpływ na częstotliwość występowania obu słów⁹.

Умная жена, как нищему сума (все сбережет).

Добрую жену взять – ни скуки, ни горя не знать.

С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне.

Дом с хорошей женой – рай.

Kobiety we współczesnych przysłowiach to jednostki tajemnicze, nieodgadnione i niezmiennie piękne, lecz także gadatliwe i przebiegłe:

Существуют 2 способа, как управлять женщиной, но их никто не знает.

Женщина – кроссворд, который приходится решать всю жизнь.

Женщина говорит правду, только тогда, когда хочет скрыть за ней ложь.

Когда женщине нечего сказать, это не значит, что она будет молчать.

Женщины могут всё, только некоторые стесняются.

⁹ Chociaż dokładnie nie wiadomo, jaka jest etymologia słowa „kobieta” w języku polskim (teorie są różne), to z całą pewnością możemy stwierdzić, że jeszcze w XVII wieku było to określenie obraźliwe i stosowane jako wyzwisko, głównie w środowisku mieszczańskim. Dopiero od połowy XIX wieku wyraz ten zyskuje neutralne konotacje.

Nieco inaczej funkcjonuje obraz Rosjanki poza granicami kraju. Jest to kobieta piękna, gospodarna, dbająca o dom, męża, pokorna: *женищина-мать, женищина-кормилица, женищина-хранительница очага*. Chociaż i takie oceny ulegają pewnym zmianom. *Красиво жить не запретишь* – taką filozofię zachęcającą wyznawać młode Rosjanki dzisiaj.

W XXI wieku kobiety spojrzały na siebie „na nowo” i wymagają od mężczyzny tego samego. Przede wszystkim chcą równych praw i równego traktowania we wszystkich sferach życia. Stereotypy funkcjonujące przez wiele pokoleń straciły już dużo ze swej aktualności. Jeszcze do niedawna normą była rodzina z mężczyzną na jej czele, a odstępstwem od normy był brak męża: *Жена без мужа – всего хуже; Без мужа жена – всегда сирота*. We współczesnym świecie różnice powoli się zacieraają – kobiety coraz częściej buntują się przeciwko spychaniu ich do roli gospodyń domowych i realizują się zawodowo, mężczyźni uczą się wyrażać emocje i przełamywać stereotyp nieczułych i oschłych. Mimo to wciąż wiele osób kieruje się w swojej ocenie utartymi i wygodnymi poglądami.

W przebadanych przysłowiach galeria cech kobiecych jest przebogata. Zarysowuje się stereotyp kobiety jako istoty niepojętej, pełnej sprzeczności. W językowym obrazie kobiety zawiera się mieszanina podziwu i lekceważenia widocznego „w pozytywnych lub negatywnych konotacjach leksyki należącej do pola pojęciowego *kobieta*”¹⁰. Wymienione cechy nie wyczerpują oczywiście wszystkich właściwości, jakie można przypisać kobietom. Można je potraktować jako zespół charakterystyk składających się na stereotypowy obraz kobiety w przysłowiaach rosyjskich.

Przebadany dla celów niniejszego artykułu materiał pozwala zauważyć, jak zmieniał się obraz kobiety, jej rola i miejsce w społeczeństwie na przestrzeni wieków, jak to zostało udokumentowane w języku, gdzie systematycznie utrwała się dynamiczny obraz rzeczywistości widzianej i doświadczanej przez człowieka. Znajdziemy tu również potwierdzenie, że to otaczająca nas rzeczywistość ma wpływ na powstawanie i istnienie stereotypów. „Stereotyp to [...] bardziej lub mniej ogólne odzwierciedlenia zjawisk społecznych. [...] Odzwierciedlenia te zawsze są wartościujące”¹¹. Słuchając jakichkolwiek wypowiedzi o wartościach,

¹⁰ E. Jędrzejko, *Kobieta w przysłowiaach, aforyzmach i anegdotach polskich. Konotacje i stereotypy*, [w:] *Język a kultura*, t. 9: *Płeć w języku i kulturze*, pod red. J. Anusiewicz, K. Handke, Wrocław 1994, s. 167, [online], <www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/pobierz.php?JK-09/JK09.jedrzejko.pdf>, dostęp: 16.06.2011.

¹¹ J. Berting, Ch. Villain-Gandossi, *Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne*, [w:] *Stereotypy narodowe*, pod red. T. Walas, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995, s. 14.

w których odbiorca wartości nie jest wprost wskazany, warto zadać sobie pytanie: wartość – dla kogo?¹²

Autorami większości przysłów o kobietach są mężczyźni, wartościują oni świat kobiety, twierdząc, że chce ona tylko ładnie wyglądać i dobrze wyjść za mąż (*Большинство девушек мечтают выйти замуж за богатого сапера. Если верить фразе „Чего хочет женщина – того хочет бог”, то бог хочет цветы и замуж.*) Dlatego rozważania niniejsze zakończę aforyzmem, dotyczącym kobiet: *Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, они о них думают, думают, думают...*

Mimo iż wielu z nas ma świadomość istnienia stereotypów i stara się kontrolować ich wpływ na nasze myślenie, to i tak odgrywają one ogromną rolę w naszej ocenie rzeczywistości. Posługiwanie się stereotypami nie musi być rozmyślnym aktem zniewagi. Często jest jedynie sposobem upraszczania obrazu świata i wszyscy czynimy to w pewnym stopniu¹³.

Резюме

Аксиологическая картина женщины на примерах русских пословиц

В настоящей статье обращено внимание на картину женщины, закодированную в русском языке, а точнее в пословицах. Материальной основой для статьи были выбраны в первую очередь пословицы, потому что закрепляют они в языке стереотип. Предметом анализа этой статьи является языковая картина женщины в русских пословицах, которую составляют два стереотипа: отрицательный и положительный. Автор статьи обращает внимание на синонимы лексемы „женщина” в пословицах, которые имеют разную эмоциональную окраску и оценивают мир женщин.

Summary

The axiological image of women as an example of Russian proverbs

In the below article the whole attention was directed on an image of the woman coded in Russian language, precisely in proverbs. As a basis material of the article were chosen mainly the proverbs due to their repeatability, stereotype which is strengthened in the language. The subject of the article's analysis is the linguistic image of woman in the Russian proverbs, which is composed of the two stereotypes: negative and positive. In the article the attention was paid to the synonyms of the word „woman”, which appear in the proverbs and have different emotional tinge and value world of women.

¹² J. Puzyrnik, *Język wartości*, PWN, Warszawa 1992, s. 32.

¹³ E. Aronson, *Człowiek – istota społeczna*, PWN, Warszawa 2001, s. 282.

Evguenia Maximovitch
Białystok

Библеизмы в современной российской публицистике

Проблема динамических изменений лексики русского языка приобрела особую актуальность в конце XX – начале XXI в. Современный этап развития российского общества, который в разных источниках получил названия „постсоветский”, „посткоммунистический”, „новейший”, характеризуется существенными изменениями во всех сферах общественно-политической, социально-экономической, государственно-правовой, культурной жизни. Несомненно, общественные трансформации настоящего времени оказывают воздействие на современную языковую ситуацию, отличительной чертой которой является чрезвычайный динамизм изменений, обнаруживающихся на разных уровнях языковой структуры.

Общеизвестно, что к влиянию так называемых социальных факторов в наибольшей степени восприимчива лексико-семантическая система языка, и именно она в периоды социальных катаклизмов подвержена наиболее существенным трансформациям¹. Сказанное в полной мере применимо к современному этапу развития русского языка. Как отмечается в научной литературе, основными тенденциями в развитии русского языка новейшего периода являются интенсивность и быстрота языковых процессов, определяющее влияние общественно-политических факторов на развитие языковой системы, преобладание количественных изменений над качественными, функциональных изменений над системными, а также преобладание изменений в лексике и фразеологии².

В связи с переменами в жизни России со времени перестройки религиозная сфера получила официальный статус, и многие стали

¹ Русский язык и советское общество. Социолингвистическое исследование: 1. Лексика современного русского литературного языка. 2. Словообразование современного русского литературного языка, под ред. М.В. Панова, Москва 1968.

² О.В. Загоровская, *Состояние русского языка на исходе XX века (лингвистический и культурологический аспекты)*, Воронеж 1997, с. 5–10.

обращаться к религии в поисках решения проблем: Как жить? Как поступать? Как относиться к миру?

Основой христианской религии, ее первоисточником была и остается Библия. Она дает ответы на многие житейские и мировоззренческие вопросы. Библия – один из таких текстов, который в большей или меньшей степени известен современным носителям языка как собрание мудрых мыслей и нравственных установок. Нередко, желая высказать свою мысль, отношение, носители языка обращаются именно к Библии. По мнению Д.С. Лихачева, вечными в приложении к историческому времени следует считать непреходящие духовные ценности, относящиеся к сфере религии и культуры. Эти ценности связаны прежде всего с Библией.

Популярность Священного Писания возросла. Возрос в связи со снятием запрета и научный, в частности, лингвистический интерес. Изучаются вопросы происхождения, состава, переводов Библии, ее влияние на культуры разных народов.

В последнее десятилетие XX в. наблюдается активное употребление „слов-понятий, крылатых слов, фразеологизмов, прецедентных текстов, «говорящих» имён и названий”³, восходящих к известным произведениям литературы, искусства. Это отмечают многие исследователи: „Характерная черта современного дискурса – вообще широкое и даже широчайшее использование различного рода цитат и клише”⁴. Данное явление имеет глубокие культурные корни. „Не секрет, что современная культура не склонна к текстопорождению. В дискурсах различных слоев общества налицо тенденция к ностальгическому переживанию текстовых ценностей прежней эпохи, к осмыслению и компиляции текстов других культур [...]. Дискурс, наполнен разными по степени эксплицитности фрагментами и оценками чужих текстов”⁵.

Актуальность любого слова или выражения всегда проверяется на практике, то есть в речи обычных людей. Это справедливо и по отношению к словам и выражениям, восходящим к библейским текстам. Поскольку жизнь языка зависит от множества факторов, в том числе и от экстралингвистических, то не удивляет то, что политические перемены в России

³ В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова, *Прецедентный текст как редуцированный дискурс*, [в:] *Язык как творчество*, Москва 1996, с. 37.

⁴ Е.А. Земская, *Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества*, „Вопросы языкознания” 1996, № 3, с. 23.

⁵ Г.Г. Слышкин, *От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе*, Москва 2000, с. 128.

оказали влияние на речь россиян. Отход от атеистической идеологии, возвращение к запретным в свое время христианским ценностям существенно повлиял на активизацию употребления библеизмов в живой речи.

Сферой наиболее широкого употребления библеизмов в настоящее время стала публицистика. Ветхозаветные и новозаветные выражения ежедневно используются на страницах журналов и газет. Они придают публичным текстам живость и образность, вызывают разнообразные эмоциональные ассоциации. Если раньше библейские изречения употреблялись преимущественно как „ответшальные украшения речи”, то в настоящее время они приобрели гражданское звучание⁶.

Длительное подавление авторитета Библии в советский период истории России стало также причиной, приведшей к тому, что после снятия запрета на религиозную сферу жизни Книга книг стала одним из популярнейших источников цитирования не только в сфере религии, но и в светской жизни.

Понятие „библеизм” и проблема изучения слов и выражений библейского происхождения возникли сравнительно недавно, в период развития фразеологии как самостоятельной дисциплины. Однако фиксация библейских единиц (для объяснения значения и по мере формирования у них устойчивости и развития семантики) происходила и раньше в ходе развития словарного дела, лексикографии. Эти единицы размещались, как правило, в толковых словарях русского языка, в словарных статьях, объясняющих значения отдельных (ключевых для библеизмов) слов. Библейские выражения как самостоятельные единицы русского языка впервые помещаются в сборниках крылатых слов и выражений во второй половине XIX – начале XX вв.⁷ В сборнике М. И. Михельсона (1896) они составили значительную часть. Библейские выражения сопровождаются разъяснениями – цитатами из Библии. Однако характер „объяснения” выражений не всегда одинаков. В одних случаях автор приводит цитаты как источник, первооснову функционирующего в русском языке выражения. Например:

⁶ П.А. Якимов, *Функции библеизмов в современном русском языке (на материале оренбургских газет)*, [в:] *Материалы Покровских чтений 2008–2009*.

⁷ М.И. Михельсон, *Ходячие и меткие слова: Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний)*, репринтное издание, ТЕРРА, Москва 1994.

- *видеть небо отверстымъ* (блаженствовать, быть въ восторге). *Отныне будете видеть небо отверстымъ и Ангеловъ Божиихъ, восходящихъ и нисходящихъ къ Сыну Человеческому* (Иоанн 1,51; ср. Деян. Ал. 10,10)⁸;
- *древо познания добра и зла. Отъ всякого древа въ саду ты будешь есть; а отъ древа познания добра и зла, не ешь отъ него, ибо въ день, въ который ты вкусишь отъ него, смертию умрешь* (Бытие 2,7; ср. 2,9)⁹.

Иной характер связи высказываний и цитат из Библии в следующих примерах:

- *богатый вретъ – никто его не уйметъ*. Заговорилъ богатый, – и все замолчали и превозносили речь до облаковъ (1 Сирахъ 13,28)¹⁰;
- *где тонко, тамъ и рвется*. Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется (Екклес. 4,12)¹¹.

В последних двух случаях приводятся синонимичные русским пословицам выражения из Библии, содержащие ту же мысль, что и пословица, или продолжающие, развивающие её. Библейские цитаты в таких случаях являются скорее параллелями, вариациями „на тему”, нежели прообразами, первоисточниками выражений. В связи с вышесказанным можно заметить, с одной стороны, непоследовательность в подходе к библейским выражениям в конце XIX в., а с другой – возникновение уже тогда проблемы определения принадлежности выражения к некоторому классу единиц, особым образом связанных с Библией, проблемы определения понятия „библеизм”.

В дальнейшем вплотную к проблеме изучения библеизмов лингвисты подошли в связи со становлением фразеологии как дисциплины (1960-е гг.) и изучением фразеологических единиц. Так как значительная часть библеизмов является устойчивыми сочетаниями, то и они попали в поле внимания исследователей. В настоящее время много внимания уделяется изучению библеизмов – слов, фразеологизмов, афоризмов, восходящих к Библии. Анализируются их структурно-семантические особенности, своеобразие функционирования в разных языках, изучается природа библеизмов. Значительное количество работ посвящено выявлению, определению значений и восстановлению истории их формирования в процессе бытования библеизмов в языке. Лингвисты затрагивают также проблему правильного использования библеизмов в современной лексике,

⁸ Ibidem, с. 36.

⁹ Ibidem, с. 97.

¹⁰ Ibidem, с. 19.

¹¹ Ibidem, с. 70.

в том числе и в публицистической журналистике. Ученые восстанавливают истинное происхождение библеизмов, а также касаются истории трансформации некоторых из них, совершившихся в результате ошибочного толкования первоначальных церковнославянских форм библейских единиц. Так, например, в современном русском языке используется сочетание „ложь во спасение” вместо непонятного церковнославянского „ложь конь во спасение”, или „на сон грядущий” (использованное Пушкиным в *Капитанской дочке*) вместо „на сон грядущим” и др.

Первые известные работы относятся ко второй половине 60-х – 70-х гг. XX в.¹² В монографии Р.Н. Попова¹³, например, исследуются фразеологизмы с архаичными элементами, значительную часть их составляют библеизмы. Вышел в свет сборник крылатых выражений Н.С. Ашукина и М.Г. Ашукиной¹⁴, в который вошли многие библеизмы (202 единицы) с объяснением значения на основе библейских сюжетов или же просто с указанием библейского „адреса”. Таким образом, библеизмы рассматривались лингвистами потому, что они являлись или фразеологизмами, или афоризмами, или соотносились с русскими пословицами и поговорками.

С конца 1980-х гг. предпринимаются шаги для того, чтобы „сделать Библию полноценным объектом филологических, исторических и культурологических исследований”¹⁵. Наиболее активное исследование библеизмов начинается именно во второй половине 1980-х гг. Возможность говорить о текстах Библии открыто повлекла целый ряд публикаций известных языковедов – М.И. Рижского, Е.М. Верещагина, Е.Н. Бетехтиной,

¹² См. З.И. Семёнова, *Фразеологические единицы современного русского языка, восходящие к Библии. Вопросы истории и теории русского языка*, Тула 1968; В.П. Адрианова-Перетц, *Библейские афоризмы и русские пословицы*, Академия наук СССР, Ин-т русск. лит-ры, Тула 1971; Э.М. Солодухо, *Вопросы сопоставительного изучения заимствованной фразеологии*, Изд-во Казанского ун-та, Казань 1977; idem, *Проблемы интернационализации фразеологии (на материале языков славянской, германской и романской групп)*, Изд-во Казанского ун-та, Казань 1982; С.И. Гужанов, *О порядке слов в адъективно-субстантивных фраземах, восходящих к сюжетам библейских мифов (на материале русского языка). Проблемы русской фразеологии*, Тула 1978 и др..

¹³ Р.Н. Попов, *Фразеологические единицы современного русского языка с историзмами и лексическими архаизмами*, Северо-западн. книжн. изд-во, Москва 1967.

¹⁴ Н.С.Ашукин, М.Г. Ашукина, *Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения*, 4-е изд., доп., Худож. лит., Москва 1987.

¹⁵ *Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских народов. К 30-летию Русской Северо-западной Библейской комиссии (1915–1995)*, [в:] Петрополис, Санкт-Петербург 1995, с. 5.

В.М. Мокиенко¹⁶ и др., касающихся как Библии, так и истории её формирования, освоения, перевода и собственно библеизмов как языковых единиц.

Большое внимание лингвисты уделяют рассмотрению библеизмов в системе современного русского языка и выявлению особенностей их функционирования. Следует отметить словарь А.М. Мелеровича, В.М. Мокиенко *Фразеологизмы в русской речи*, в котором помещён ряд библеизмов и даны варианты их употребления в русской речи с учётом различных видов их трансформации. Ценность такого словаря состоит в том, что в словарных статьях показывается, как сегодня „живёт” в русской речи библеизм, явно или скрыто¹⁷.

Определение термина „библеизм” является одним из главных вопросов выбранной нами области исследований. Узкое определение понятия „библеизм” дают В. Плешков, Т.В. Гончарова, Н. Тумка: „Под библеизмами понимаются языковые единицы предикативного и непредикативного характера, употребление которых связано с образным, метафорическим переосмыслением имен персонажей, реалий и сюжетов Библии, а также других книг Священного Писания”¹⁸. Однако на основании данного определения библеизмами не следовало бы считать афоризмы, взятые из Библии, но употребляемые не в переносном, а в прямом значении, (например, „кто не работает, тот не ест”, „люби ближнего своего, как самого себя”, „всему свое время” и т.д.). Приведенные выражения употребляются носителями языка не менее часто, чем библеизмы в определении названных авторов, и поэтому также являются воспроизводимыми языковыми единицами.

¹⁶ См. М.И. Рижский, *Книга Иова: Из истории библейского текста*, [в:] Наука, Сиб. отд-ние, Новосибирск 1991; Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, *Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного*, Русский язык, Москва 1990; Е.М. Верещагин, *О древнейших переводах Библии, а также о переводе на современный русский язык*, „Азия и Африка сегодня” 1993, № 11; idem, *На каких языках написана Библия и каковы древнейшие библейские рукописи*, „Азия и Африка сегодня” 1993, № 99; Е.Н. Бетехтина, *Фразеологические библеизмы с ономастическим компонентом в современном русском языке (на фоне английского)*: Авто-реф. дис. канд. филол. наук, Санкт-Петербург 1995; idem, *Фразеологические единицы с антропонимическим компонентом библейского происхождения в русском и английском языках*, [в:] Библия и возрождение, Санкт-Петербург 2000; idem, *Фразеологизмы с библейскими именами: В русском и английском языках*, С.-Петерб. гос. ун-т, Санкт-Петербург 2000; В.М. Мокиенко, *Переводы Библии и их значение в развитии духовной культуры славян*, „Славяноведение” 1995, № 3.

¹⁷ А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, *Фразеологизмы в русской речи*, [в:] Русские словари, Москва 1997.

¹⁸ Т.В. Гончарова, В. Плешков, Н. Тумка, *Структурно-семантическая характеристика библеизмов, функционирующих в современной публицистике*, Липецк 1991, с. 46.

Более широкое определение понятия „библеизм” дает языковед В.М. Мокиенко. Он рассматривает понятие „библеизма” с этимологической точки зрения, а именно, на основе его происхождения с учетом устойчивости, воспроизводимости. Библеизмами являются „слова, устойчивые словосочетания и афоризмы, возникшие на основе Библии или библейского сюжета”¹⁹. То есть в Библии имеется конкретное место в тексте, в котором расположена данная устойчивая единица языка. И при условии своего лексического сходства с выбранным отрывком текста она и будет являться библеизмом.

Другие лингвисты, ещё более расширяя понятие „библеизм”, рассматривают в их числе и те слова, которые „испытывают семантическое воздействие библейских текстов”²⁰. Е.М. Верещагин, например, отмечает как библеизмы слова „бездна”, „дух”, „свет”, „добро”, „пресмыкающееся”, „твердь”, „благословение” и др. Связь с Библией автор видит в том, что эти слова – или библейские категории (*добро, зло, дух, свет, тьма*), или названия реалий (*твердь*), сохранившиеся в Библии, но воспринимаемые и в современном русском языке как устаревшие, или названия живых существ, используемые в Библии (*пресмыкающееся*); эти слова в последнее время часто употребляются с религиозным „оттенком”.

Как видно из вышесказанного, данная тема интересует большое число языковедов. Об этом также свидетельствует появление все большего количества словарей и другой справочной литературы, отражающей состав и частоту употребления библеизмов²¹.

В религиозных газетах и журналах, как, например, „Наука и религия”, „Русь Православная”, „Церковное слово” и др., понятие „библеизм” претерпевает метаморфозу, его рамки ещё более расширяются, так как там широко используются отрывки (цитаты) из Библии, не ставшие ни фразеологизмами, ни афоризмами и не отражённые в словарях.

¹⁹ В.М. Мокиенко, *Переводы Библии и их значение...*, с. 143.

²⁰ Е.М. Верещагин, *Библейская стихия русского языка*, Москва 1993, с. 90–98.

²¹ См. И.Ф. Протченко, *Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. Социолингвистический аспект*, 2-е изд., Москва 1985; idem, *Словари русского языка: Краткий очерк.*: Изд-во РОУ, Москва 1996; *Толковый и справочный библейский словарь*, репринтное издание, Манускрипт, Москва 1991; В.Л. Ширяев, *Словарь библейских крылатых выражений (фразеологических оборотов). Религия вчера, сегодня, завтра*, [в:] *Курс лекций по истории и философии религии*, Архангельск 1993; Н.П. Матвеева, В.И. Макаров, *Словарь-справочник библеизмов русского литературного языка*, Москва 1996; С.У. Оуэн, *Словарь библейских символов (пер. с англ.)*, Санкт-Петербург 1997; Л.М. Грановская, *Библейские фразеологизмы*, Москва 1998; *Словарь библейских крылатых слов и выражений*, Петербург XXI век, сост. Г.А. Иоффе, Москва 2000.

Таким образом, под библеизмами мы понимаем слова, устойчивые словосочетания, афоризмы, а также более крупные отрезки текста, прямую или опосредованно восходящие к конкретным отрывкам из текста Библии (или библейским сюжетам, персонажам, фактам), как отражённые в словарях современного русского языка, так и не отражённые в них. Такое определение понятия „библеизм” соответствует современной практике использования текста Библии в СМИ (средствах массовой информации), в данном случае в светских и религиозных газетах.

Большой интерес представляет выявление состава и особенностей функционирования библеизмов в современном русском языке. И поскольку средства массовой информации наиболее чутко и быстро реагируют на все изменения в жизни общества и „язык современных газет может служить зеркалом современной жизни”²², то именно современные газеты являются исчерпывающим материалом для исследования.

Отношение профессионалов журналистики к религиозной публицистике негативно. Она до сих пор не признана как особый жанр журналистики. Религиозной публицистики как бы нет, но она реально существует и в течение 10 лет стихийно развивается. Такое стихийное развитие движется по двум направлениям:

1) завершается окончательное размежевание конфессиональной прессы и светской религиозной публицистики в общих масс-медиа;

2) начинается процесс объединения СМИ по конфессиональному признаку, т.е. формирование будущих религиозных медиа-империй.

Таким образом, произошло четкое разделение, в результате чего мы имеем сегодня два новых, самостоятельных направления: конфессиональную журналистику и религиозную публицистику.

Грани между церковной и светской журналистикой были размыты: чаще всего и там, и там работали одни и те же люди. Многие до сих пор ошибочно полагают, что мир религиозной журналистики един, а уже внутри него журналисты делятся по политическим принципам на правых и левых, монархистов и антимонархистов, на верующих и атеистов. Однако постепенно в светских СМИ стали появляться журналисты со специальными знаниями, способные достаточно отстраненно и объективно донести до потребителя необходимую информацию, и сегодня между конфессиональной и светской прессой уже можно наблюдать если не конфронтацию, то, по крайней мере, жесткую конкуренцию.

²² Е.А. Земская, *Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества*, „Вопросы языкознания” 1996, № 3, с. 29.

Несмотря на это каждый из таких журналистов, независимо от своих взглядов и отношения к российским реалиям, обращается к Библии и в газетном тексте использует библеизмы, которые украшают его, способствуют его оживлению, придают экспрессивную окраску и несут в себе многозначность и различную интерпретацию.

На страницах современных светских газет употребляется лишь незначительная часть библеизмов, отражённых в словарях русского языка и другой справочной литературе.

Неравное количество библеизмов, восходящих к Ветхому и Новому завету, свидетельствует о неодинаковой степени освоенности разных частей Библии современным русским языком. Это связано, скорее всего, с тем, что образы и сюжеты Нового завета оказали на русского человека большее влияние, чем ветхозаветные. Можем привести следующие примеры:

Ветхозаветные библеизмы

запретный плод, вкусить запретный плод – Первыми *вкусили „запретный японский плод“* [это была сказочная поездка на Японские острова] депутаты из „Нашего дома – России” (Аргументы и Факты 1998, № 9);

по образу и подобию – Московский Арт-Салон структурирован *по образу и подобию* родного города (Литературная газета 1998, № 18); а также „всемирный потоп”, „Ноев ковчег”, „голубь мира” и др.

Менее известно ветхозаветное происхождение следующих библеизмов: как один человек – Пускай вся наша страна, *как один человек*, выступит за запрет смертной казни (Литературная газета 1998, № 24/25);

между небом и землёй – Шесть месяцев ребёнок будет висеть *между небом и землёй*, – рассуждает медперсонал областной Детской больницы (Комсомольская Правда 22.01.1999); „изливать душу”, „на руку нечист” и некоторых других.

Новозаветные библеизмы

белые одежды – Александр Исаевич – *белых одежд* достоин (Комсомольская Правда 11.12.1998);

смертный грех – Руководство СК РФ обвиняет Московский союз во всех *смертных грехах* и в собственных неудачах (Культура 1999, № 45);

тайная вечеря – Однако на следующий же день суд собрался на „*тайную вечерю*” исключительно ради этого „неожиданного” прошения (Аргументы и Факты 1999, № 3).

К Новому завету восходят также библеизмы „блудный сын”, „бросать камень”, „Голгофа”, „страшный суд” и др. Следует также отметить, что большая группа ветхо- и новозаветных библеизмов, вероятно, вошла в русский язык именно через Новый завет: выражения, образы, ситуации, имеющие в Ветхом завете прямое значение, в Новом завете использованы в переносном. В этом переносном значении библеизмы и были усвоены русским языком.

С точки зрения структуры библеизмы, функционирующие в современных газетах, представлены словами, устойчивыми сочетаниями, афоризмами. Границы между этими группами не всегда чёткие. Наблюдается взаимопроникновение, проявляющееся в образовании слов от устойчивых сочетаний (размывается граница между словом и устойчивым сочетанием), в реорганизации афоризмов („рыхлая” структура последних приводит к переформированию их в устойчивые сочетания, что находит отражение в словарях русского языка)²³.

В современных религиозных газетах состав библеизмов имеет свои особенности. По подсчетам исследователей соотношение библеизмов, отражённых и не отражённых в словарях, в светских и религиозных газетах различно. Если в светских оно составляет соответственно 90% и 10%, то в религиозных газетах функционирует всего 40% библеизмов, отмеченных в словарях, а 60% – это цитаты из Библии, не отмеченные словарями²⁴.

Функционирование библеизмов в современных газетах определяется, с одной стороны, особенностями их семантической структуры; в зависимости от наличия или отсутствия системного смысла библеизмы обладают разной степенью выразительности и неодинаковым смысловым потенциалом. С другой стороны, функционирование библейских выражений определяется целями, преследуемыми авторами при создании текстов, характером информации и типом газет (религиозные, светские).

Одной из особенностей функционирования библеизмов в религиозных газетах является частое использование этих единиц в прямом (библейском) значении, тогда как в светских газетах они нередко (или как правило) используются в переносном. Например,

ФИГОВЫЙ ЛИСТОК. Современное употребление этого библеизма – в значении „лицемерное прикрытие чего-либо постыдного, непристойного” или „лицемерная маскировка подлинных намерений или истинного положения

²³ Е.Н. Прибытько, *Библеизмы в языке современных газет*, Воронеж 2002.

²⁴ Ibidem.

дела”²⁵. Выражение восходит к библейскому сюжету об Адаме и Еве, познавших после грехопадения стыд и опоясавшихся листьями смоковницы (фигового дерева) (Быт 3,7). Распространению выражения способствовало то, что с XVI в. скульпторы применяли фиговый листок при изображении наготы тела. Эта условность, удержавшаяся до конца XVIII в., возникла как уступка церкви, признававшей греховным реалистическое изображение наготы в искусстве²⁶.

ФИГОВЫЙ ЛИСТОК – Все эти кликушеские медитации на тему гуманизма и общечеловеческих ценностей – не более чем *фиговый листок*, прикрывающий хищные претензии Запада на абсолютное мировое господство (Литературная газета 1998, № 8).

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ. В прямом значении – это венец, сплетенный из веток колючего тернового кустарника, возложенный на голову Иисуса Христа. В прессе же используется переносное значение этого словосочетания – Солженицын был мстительным порождением этого государства, воплощённым возмездием, явившимся из глубины вечной мерзлоты *в терновом венце* из колючей проволоки (Литературная газета 1998, № 14) и др.

Основная функция библеизмов в современных газетах – номинативная. Однако в светских газетах авторы нередко используют библеизмы для обозначения негативных эмоций, отношений, переживаний. В религиозных газетах библейские выражения передают высокие чувства и мысли.

Использование библеизмов на страницах современных (главным образом светских) газет бывает не всегда корректным. Наблюдаются семантические и грамматические неточности в их употреблении, которые нередко затрудняют понимание текстов, содержащих данные выражения, слова, цитаты. Однако серьёзные последствия возникают в результате бестактного использования библеизмов, содержащих священные христианские понятия. Подобные ляпсусы не только оскорбляют чувства верующих, но и затрудняют формирование этических и эстетических представлений подрастающего поколения.

Подводя итог всему вышесказанному, можно без сомнения утверждать, что в связи с актуализацией ранее ограниченной лексики религиозного характера библеизмы все более укрепляют свою позицию и значение в русском языке, в речи обычных россиян, а средства массовой информации (в частности, газеты и журналы, как светские, так и религиозные) являются источником, в котором отражается данный процесс.

²⁵ Н.С.Ашукин, М.Г. Ашукина, *op. cit.*, с. 361.

²⁶ *Ibidem*.

Streszczenie

Biblizmy we współczesnej rosyjskiej publicystyce

Leksyka, jako najbardziej podatna na zmianę część systemu językowego, jest zwierciadłem procesów zachodzących w życiu społeczeństwa. Koniec XX wieku okazał się okresem zasadniczych zmian we wszystkich sferach życia Rosjan. „Pierestrojka”, rozpad Związku Radzieckiego, odejście od socjalnych, ekonomicznych, politycznych oraz duchowych zasad życia społecznego minionej epoki, wolność słowa, wciąż rosnąca popularność środków masowego przekazu – to wszystko znacząco przyspieszyło procesy zachodzące w leksyce. Nastąpił m.in. powrót do systemu językowego leksemów ze sfery religii. W związku z tym coraz częściej badacze współczesnego języka rosyjskiego sięgają do Biblii.

Aktualność każdego słowa zawsze sprawdza się w praktyce – w mowie codziennej, zaś język współczesnych Rosjan znajduje odzwierciedlenie w publicystyce. Na stronach rosyjskich czasopism i gazet znajdujemy aforyzmy, frazeologizmy, cytaty pochodzące z Biblii. Językoznawcy tego rodzaju jednostki leksykalne określają terminem „biblizmy”. Po raz pierwszy w lingwistyce zainteresowali się tym zagadnieniem w związku z wyodrębnieniem się frazeologii jako dyscypliny naukowej. Biblizmy – używane zarówno w znaczeniu prymarnym (głównym), jak i w przenośnym – dodają tekstom publicystycznym kolorystyki i wyrazistości, wywołują różnorodne emocjonalne skojarzenia.

Summary

Biblizms in modern Russian journalism

Lexis as the most susceptible to changes part of the language is a reflection of the processes taking place in society. The end of the twentieth century was a period of fundamental change in all spheres of life of the Russians. „Perestroika”, the disintegration of the Soviet Union, moving away from social, economic, political and spiritual principles of social life of a bygone era, freedom of speech, ever-growing popularity of the media have all significantly accelerated the processes occurring in lexis. Today, all these processes are activated. One of them is the return to the language system of lexeme previously commonly unused, concerning the sphere of religion. Therefore, there has been the increased interest in the Bible. More and more often scholars of the contemporary Russian language refer to this rich source.

The relevance of each word is always checked in practice – in everyday speech. Also in journalism the contemporary Russian language is reflected. On the pages of the Russian newspapers and magazines we find aphorisms, idioms and quotations from the Bible. Linguists use the term „biblizms” for such lexical units. For the first time in linguistics the linguists took up the issue in connection with separation of the phraseology as a scientific discipline. Biblizms add color and clarity to the journalistic texts and produce a variety of emotional connotations. But they are not always used in primary (main), but in a figurative sense.

Natalia Yudina
Vladimir (Rosja)

О некоторых новых особенностях взаимодействия в сфере славянского лингвистического сообщества в XXI веке*

*Границы моей науки обозначают
границы моего мировоззрения.*

В. фон Гумбольдт

Общеизвестно, что XXI век ставит перед специалистами во всех сферах и областях знаний новые задачи, вызванные общественно-политическими, социально-экономическими, социокультурными и иными изменениями, происходящими в современном мире. Среди причин подобных изменений специалисты в сфере философии, социологии, политологии, истории называют, в том числе, и явление глобализации.

Термин „глобализация” стал активно обсуждаться в мировой научно-популярной и специальной литературе в конце XX века. Его появление связывают с именем американского социолога Р. Робертсона, давшего в 1985 г. свое толкование этому понятию, а позднее, в 1992 г., изложившего свою концепцию в разошедшейся по всему миру монографии. В настоящее время под „глобализацией” принято понимать процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации, ведущий к всевозрастающему воздействию различных факторов международного значения на социальную действительность в отдельных государствах¹.

* Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы „Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 гг., проект „Языковая экзистенциальность XXI века в условиях модернизации современной России: лингвофилософский дискурс”.

¹ Подробнее см., напр.: Л.Е. Гринин, *Глобализация и национальный суверенитет*, „История и современность” 2005, № 1, с. 6–31; З.В. Ивановский, *Высшее образование в условиях глобализации*, „Знание. Понимание. Умение” 2006, № 1, с. 109–114; В.Ж. Келле, *Процессы глобализации и динамика культуры*, „Знание. Понимание. Умение” 2005, № 1, с. 59–71; А.И. Шендрик, *Глобализация в системе культурологических координат*, „Знание. Понимание. Умение” 2004, № 1, с. 59–71; 2005, № 1, с. 56–68; и др.

Вместе с тем, вполне очевидно, что хронологически глобализация как общемировой процесс возникла значительно раньше. Так, по мнению О.В. Одеговой, процесс, именуемый глобализацией, вовсе не новое явление, а исторический процесс, во время которого человеческие цивилизации были призваны сформировать новую мировую систему. В этой связи можно выделить три основные волны анализируемого явления в мировой истории:

1) 1450–1850 гг. – глобализация, возникшая в результате европейской экспансии и завоеваний;

2) 1850–1945 гг. – глобализация, связанная с ещё более интенсивной экспансией и посягательством европейских имперских государств друг на друга;

3) с 1960 г. и по настоящее время – глобализация, которая знаменует современную эпоху в человеческих отношениях, когда микрочип (*micro-chip*) и спутник (*satellite*) становятся иконами глобального мирового порядка. На фоне формирования информационного пространства и реорганизации производства, социальной жизни и распространения массовой культуры происходит так называемая „макдонализация” мира (от названия сети быстрого питания McDonald’s), т.е. некоторая стандартизации и конвейерность производственных и социальных процессов².

Согласно точке зрения французского исследователя Б. Бади, можно описать три основных измерения глобализации, к которым относятся:

1) постоянно идущий исторический процесс;

2) гомогенизация и универсализация мира;

3) „размывание” национальных границ.

В контексте „постоянно идущего исторического процесса” в развитии человечества наблюдается всё большая „тенденция расширения пространства”. Однако процесс глобализации не предполагает присоединения новых периферийных точек к какому-то центру. В связи с этим американский исследователь Дж. Модельски выделяет две достаточно длительные по времени фазы: централизации (формирование центральных зон мировой системы) и децентрализации (процесс становления периферии в качестве главенствующей). Таким образом, происходит смена мест „центр – периферия”³.

² О.В. Одегова, *Транспарентность границ в сфере коммуникаций в эпоху глобализации*, „Вестник Томского государственного университета” 2009, № 325 (август), с. 62–64, [online] <www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/325/image/325-062.pdf>.

³ *Мировая политика и международные отношения в 1990-е годы*, [в:] *Взгляды американских и французских исследователей*, под ред. М.М. Лебедевой, П.А. Цыганкова, Москва 2001.

В связи с тезисом о гомогенизации и универсализации мира стоит отметить, что многими авторами и критиками современности проводится мысль о том, что, благодаря развитию качественно новых информационных, коммуникативных, транспортных и других технологий, все люди на Земле объединяются одной судьбой во взаимозависимое сообщество⁴.

Что касается так называемого „размывания” национальных границ, то оно наиболее полно отражает „трансграничный” процесс как таковой. Начавшееся после Второй мировой войны на экономическом уровне, это „размывание” охватило позже и культурные, политические, социальные и другие сферы, включая не только целые государства, но и отдельные регионы. Прозрачность, или транспарентность границ между государствами, вызванная глобализацией, „перевернула” прежние представления о многих важных проблемах в различных областях и, что более существенно, стерла ригидные барьеры между внутренней и внешней политикой⁵.

При этом вполне очевидно, что глобализация затрагивает все уровни жизнедеятельности человека. Так, к примеру, А. Игнатов выделяет следующие типы глобализации:

1) „ментальную” или культурно-идеологическую глобализацию, имеющую длительную историю, связанную с комплексным процессом „унификации” традиций, религий, культуры и идеологии;

2) территориальную глобализацию, характеризующуюся процессом укрупнения государственных и надгосударственных образований;

3) экономическую глобализацию, представляющую собой совокупность двух процессов – глобализации рынков (капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг) и глобализации экономических форм, под которой понимается укрупнение организационных структур экономики – компаний, фирм, корпораций и т.д.;

4) информационно-коммуникационную глобализацию, являющуюся в настоящее время наиболее показательным из интеграционных процессов и включающую в себя развитие коммуникационных возможностей и использование космического пространства для передачи информации; появление и быстрый рост глобальных информационных сетей; компьютеризацию многих процессов жизнедеятельности человечества;

⁴ В.М. Кузнецов, *Что такое глобализация?*, „Мировая экономика и международные отношения” 1998, № 2, с. 12–25.

⁵ М.М. Лебедева, *Мировая политика*, Аспект пресс, Москва 2004, с. 102–110.

5) этническую глобализацию, состоящую из двух основных процессов – роста общей численности населения планеты и взаимной ассимиляции различных этнических групп⁶.

Таким образом, глобализация и каждый из ее подвидов оказывают непосредственное влияние на все сферы жизнедеятельности человечества – политическую, экономическую, социальную, культурную и др. К примеру, для культурной глобализации характерен полилог культур и рост международного общения, что имеет ряд мелиоративных и пейоративных последствий. С одной стороны, это приводит к популяризации отдельных видов различных национальных культур и составляющих их атрибутов по всему миру (ср. в этой связи, напр., *венецианский карнавал, каннский фестиваль, венский бал, американская мечта, немецкий порядок, английская чопорность; английский чай, китайский чай, итальянская пицца, швейцарский сыр, швейцарский шоколад, немецкое пиво* и др.). С другой же стороны, популярные международные культурные явления могут вытеснять национальные или превращать их в интернациональные, результатом чего может стать утрата некоторых национальных культурных ценностей и традиций. В этой связи отношение к глобализации у разных слоев населения в разных странах мира не может быть однозначным. Эта же неоднозначность проявляется и в отношении процессов глобализации в языковой сфере⁷.

Согласно мнению акад. В.М. Алпатова, „до 1989–1991 года развивались две модели глобализации, каждая из которых была связана не только с определенным типом хозяйства и с определенной идеологией, но и со своим языком. Если западная модель глобализации выдвигала и продолжает выдвигать на первый план английский язык, то советская модель связывалась с русским языком. В значительном числе стран мира основным иностранным языком в образовании был русский язык, кадры специалистов готовились в СССР и также осваивали русский язык, деятельность ряда международных организаций проходила в основном на русском языке. Роль русского языка была значительна не только во всех странах социалистического лагеря, но и в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки. В конце 80-х – начале 90-х гг. советская модель

⁶ А. Игнатов, *Стратегия „глобализационного лидерства“ для России*, [online] <www.vselprav.org/library/strategia.htm>.

⁷ Подробнее см., напр., П.К. Огурчиков, *Проблемы языка в условиях глобализации*, „Мир и согласие“ 2000, № 1(30).

глобализации потерпела поражение, что не могло не сказаться и на ситуации в языковой области”⁸.

Процесс влияния всепоглощающей англоязычной глобализации, безусловно, коснулся, в первую очередь, русского языка. Однако и другие славянские языки имеют, как кажется, проблемы, сходные с современной русскоязычной ситуацией. Многие современники (специалисты в различных сферах знаний и представители общественности) оценивают сегодняшние общественно-языковые процессы как деградационные. Среди причин такого рода явлений называются:

1) социально-политические, свойственные периодам социальных трансформаций (войн, мятежей, революций, перестроек);

2) психолого-педагогические (мода на языковой нигилизм, недостаточное внимание эстетической значимости языка к его образовательной составляющей);

3) криминогенные и юридические (урбанизация, централизация исправительно-трудовых учреждений и др.);

4) культурно-просветительские (популяризация инвективной (обценной), бранной, жаргонной лексики в СМИ и др.)⁹.

Однако однозначно оценить современную русскоязычную ситуацию как критическую или деградационную будет не вполне справедливым и объективным утверждением. Думается, что языковая ситуация и положение того или иного языка в мире зависит от ряда внутренних и внешних, объективных и субъективных факторов, и в этой связи проблему роли русского языка (так же, как и других языков) в современном мире, на наш взгляд, необходимо рассматривать в контексте:

1) внутренней языковой ситуации, обусловленной экстра- (определенной языковой политикой, взаимоотношениями между различными национальными, социальными, профессиональными, гендерными и др. группами и др.) и интралингвистическими факторами (взаимоотношения и соотношение активных языковых и речевых процессов, состояние языковой и речевой культуры и др.);

2) внешней языковой ситуации, зависящей от интенсивности и качества международных контактов, взаимоотношений определенного

⁸ В.М. Алпатов, *Проблемы двуязычия и языков национальных меньшинств*, [в:] *Речевое общение в условиях языковой неоднородности*, отв. ред. Л.П. Крысин, Москва 2000, с. 8–9.

⁹ Подробнее см.: М.А. Грачев, *Как появляются арготизмы в нашей речи*, „Русская речь” 1996, № 4; Н.С. Валгина *Активные процессы в современном русском языке*, Москва 2003, с. 123–124.

государства с другими странами и государствами (ср. в этой связи различное влияние английского, русского, китайского и др. языков на анализируемый язык) и др.

Если говорить о русском языке, то, на наш взгляд, сегодня проблема роли русского языка в современном мире распадается, по крайней мере, на три основных. По-разному она стоит в самой России, в ближнем зарубежье (включая и некоторые из стран бывшего социалистического лагеря) и в остальном мире. В этой связи встает вполне закономерный вопрос о будущем русского языка – „языка Пушкина”, „языка Ленина” и „языка Гагарина” – в контексте общей глобализации. Но однозначно можно утверждать, что в течение следующего столетия русский язык вряд ли приобретет статус языка, находящегося под угрозой исчезновения. Это, на наш взгляд, объясняется рядом причин.

1) Свидетельством долгожительства русского языка могут служить следующие объективные „количественные показатели”. В настоящее время число русскоговорящих в мире составляет около 170 миллионов человек, населяющих РФ и другие страны СНГ, а в мировом масштабе это число достигает 350 миллионов человек. Несмотря на экстралингвистические события конца XX века (распад СССР), русский язык XXI века – это самый распространенный славянский язык Европы и пятый по распространенности язык мира (после китайского, хинди и урду вместе, английского и испанского языков)¹⁰. Говоря о глобальном значении русского языка, заметим, что русский язык – это язык общения более 160 народов и национальностей России, а также „язык жизни” для 15 миллионов приехавших в Россию мигрантов. В настоящее время за рубежом проживают около 30 миллионов человек, для которых русский язык является родным. Помимо этого 180 миллионов изучают его на разных континентах. Популярность русского языка даже в эпоху бизнеса в немалой степени поддерживается мировым значением русской классической литературы¹¹.

2) Думается, что в глобальном мире, мире прагматизма и коммуникативной целесообразности, исчезновение грозит языку не востребовавшему и не соответствующему запросам современной языковой личности

¹⁰ Подробнее см.: Э.Ф. Володарская, *Лингвистический и социолингвистический образ русского языка: прошлое и настоящее (К проекту „Исторического словаря русского языка”)*, [в:] *IV Международная научная конференция „Язык. Культура. Общество”*, Москва 2007, с. 54–81; *Русский язык в мире: доклад МИД России*, Москва 2003.

¹¹ Э.Ф. Володарская, *op. cit.*, с. 97.

– раскованной, свободной, технически образованной, динамичной, импульсивной, мобильной, креативной, открытой общему мировому пространству, но, вместе с тем, иногда поверхностной, недостаточно гуманитарно-образованной и лингвистически неглубокой¹². Лингвистический анализ свидетельствует о том, что „современный русский язык развивается в соответствии с требованиями современного человека”. Обслуживая общество в качестве средства общения, язык постоянно претерпевает изменения, накапливая свои ресурсы для адекватного выражения происходящих в обществе перемен. В результате законы развития языка все больше адаптируются и находят точки пересечения с законами развития общества.

Однако, к сожалению, приспособление языковых законов к законам социальным имеет не только мелиоративные, но и пейоративные последствия. Отрицательный характер такой адаптации русского языка к современным условиям проявляет себя в том, что, к сожалению, язык довольно часто вынужден приспособляться к заниженным лингво-экологическим требованиям современной языковой личности, в результате чего специалисты констатируют факт серьезного снижения речевой культуры современного носителя русского языка XXI века (подробнее см. работы Н.С. Валгиной, М.Н. Володиной, В.В. Колесова, О.Б. Сиротининой, Л.В. Савельевой, Е.А. Земской, Т.М. Николаевой, В.Д. Черняк и мн. др.)¹³. Намеренное и ненамеренное нарушение норм русского языка, уместное и неуместное использование иностранных слов, частое употребление нецензурной лексики, появление эрратива, известного в широких кругах как „языка падонкафф”, и многие другие лингвистические факты являются предметом многочисленных дискуссий русистов и всех заинтересованных в сохранении великого русского слова людей. Оптимисты уверены в том, что в наших силах сегодня повысить культуру русской речи, пессимисты говорят о том, что современная лингвоэкологическая ситуация критична и что-либо исправить практически невозможно. Кто прав, покажет будущее.

3) Вместе с тем, думается, что ресурсы будущего развития русского языка имеются не только в нем самом и не только внутри России, но и за ее пределами. Общественно-политическая ситуация такова, что в последние десятилетия Россия, а значит и русский язык стали видаться и восприниматься

¹² Подробнее см.: Н.В. Юдина, *Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция? прогресс?*, Москва 2010

¹³ *Русский язык конца XX столетия (1985–1995)*, Москва 1996; *Язык и наука конца XX века*, Москва 1995 и др.

по-новому. Так, например, по замечанию В.Г. Костомарова, прекращение и снятие „идеологических оков” с русского языка, восприятие русского языка просто как одного из величайших языков человечества поставило его в состояние „конкуренции с другими языками широкого международного употребления”¹⁴. Кроме того, в связи с глобальными проблемами, борьбой с терроризмом, улучшением отношений между странами, политикой правительства Российской Федерации и другими объективными причинами появляются „новые стимулы для экономического, политического, культурного сотрудничества России с другими государствами”. И это в будущем не может не сказаться на числе изучающих русский язык в практических целях. В этой связи нельзя не заметить, что на протяжении столетий русский язык, в свою очередь, оказывал заметное влияние на развитие языков народов России, в особенности – принявших кириллицу за основу своей письменности (якуты, удмурты, башкиры и др.). Из русского языка в иностранные языки были, например, заимствованы такие слова, как *соболь, борщ, каша, дача, совет, спутник, перестройка* и многие другие¹⁵.

4) Очень важным фактором сохранения русского языка является „прогрессивность и современность русистики”. Так, в настоящее время в русском языкознании успешно развиваются такие направления, как когнитивная и корпусная лингвистика, семантико-семасиологические исследования, функциональная грамматика, исследования социальной стратификации в языке, изучение дискурсивных стратегий и специфики разговорной речи. Социальные сдвиги, имевшие место в последние два десятилетия, обусловили повышенный интерес к проблемам социальной и нормативной дифференциации языковых средств, что сделало весьма актуальными социолингвистические исследования русского языка. Фундаментальные инновации характеризуют и русское историческое языкознание¹⁶.

Академик Ю.Д. Апресян указал на то, что все современные словари русского языка основаны на синтезе филологии и культуры. „Значительная часть культуры любого народа реализуется через его язык, а язык во всём

¹⁴ Ср. в этой связи В.Г. Костомаров, *Русский язык в современном мире*, Москва 1969; Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, *Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного*, 3-е изд., Русский язык, Москва 1983.

¹⁵ *Россия. Большой лингвострановедческий словарь*, под общ. ред. Ю.Е. Прохорова, Москва 2007, с. 486.

¹⁶ Подробнее см., напр., доклад академика А.Б. Куделина *Русская филология на современном этапе* [в:] *Русский язык в современном мире: Материалы научной сессии общего собрания РАН (19 декабря 2007 г.)*, Москва 2007.

его богатстве закрепляется прежде всего в словаре. Осознание особой роли словаря как проводника культуры и одновременно ключа к ней привело к невиданному всплеску лексикографической активности”, которая отвечает требованиям современных носителей русского языка начала XXI века¹⁷.

Безусловно, сложившаяся и складывающаяся современная социально-политическая ситуация создания и расширения Европейского Союза и множество других моментов, связанных с изменениями в едином общеевропейском пространстве, в частности, и глобальном мире, в целом, формируют своего рода предпосылки для переосмысления некоторых основополагающих позиций, связанных в том числе и с отношением к проблемам языка. Хочется верить, что русский язык в условиях глобального мира и в контексте современного информационно-коммуникационного пространства не потеряет свою самобытность и будет по-прежнему востребован как один из сильнейших мировых языков.

Однако проблема востребованности характерна сегодня, как кажется, не только для русского, но и для большинства славянских языков. В этой связи необходимое сохранение самобытности языков, на наш взгляд, зависит от соблюдения ряда следующих условий:

1) объективных:

– объективная национально-этническая ситуация (ср. соотношение национальностей в пределах страны или отдельного региона; количественные показатели населения, считающего тот или иной язык родным, и т.д.);

– положение того или иного государства в общемировом пространстве;

2) субъективных:

– грамотная языковая политика на уровне государств и отдельных регионов, направленная на сохранение национальных языков и национальных культур;

– компетентность и профессионализм лингвистического сообщества, способного представить языковые процессы как часть общественно-политической и общекультурной ситуации.

Думается, что ресурс сохранения славянских языков в настоящее время у нас, бесспорно, есть.

1) Так, „количественные показатели” иллюстрируют достаточно высокую численность славянских народов, а следовательно высокий уровень распространения славянских языков. Славянские языки в настоящее время распространены на огромной территории Евразии – от Центральной

¹⁷ Доклад Ю.Д. Апресяна в: *ibidem*.

и Юго-Восточной Европы до Тихого океана. Общая численность славянских народов по данным 2002 г. – свыше 300 млн. чел., из них: русских – 145,2 млн., украинцев – около 50 млн., белорусов – до 10 млн.; поляков – около 45 млн., чехов – около 10 млн., словаков – 5,5 млн., лужичан – 0,1 млн.; болгар – 9-10 млн., сербов – до 10 млн., хорватов – 5,5 млн., словенцев – до 2,5 млн., черногорцев – 0,6 млн., македонцев – 2 млн., муслиман (боснийцы, босанцы, мусульмане) – около 2 млн. Славянские народы сегодня представляют собой наиболее крупную языковую группу в Европе. Эти народы характеризуются значительной близостью, получившей наименование славянской взаимности.

2) Важным фактором сохранения национальной идентичности славянских языков, на наш взгляд, являются „положительные тенденции в сфере языковой политики”, наблюдающиеся на сегодняшний день в славянском сообществе.

Согласно мнению В.И. Беликова и Л.П. Крысина, „языковая политика требует особой гибкости и учета множества факторов в условиях полиэтнических и многоязычных стран, где соотношение языков по их коммуникативным функциям, по использованию в различных сферах социальной жизни тесно связано с механизмами политического управления, национального согласия и социальной стабильности”¹⁸. Одним из инструментов языковой политики являются законы о языках и другие нормативные правовые акты в сфере российского законодательства, регламентирующие статус языков на территории Российской Федерации.

Так, например, в соответствии с Конституцией Российской Федерации (1993) „Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык” (Глава 3 Статья 68 Часть 1)¹⁹. Обеспечение использования государственного языка Российской Федерации на всей территории Российской Федерации, обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, защиту и развитие языковой культуры регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 1 июня 2005 (№ 53-ФЗ „О государственном языке Российской Федерации”), подписанным Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и вступившим в силу 7 июня 2005 г. и действующим по настоящее время²⁰.

¹⁸ В.И. Беликов, Л.П. Крысин, *Социоллингвистика: Учебник для вузов*, Рос. гос. гуманитар. ун-т., Москва 2001, с. 263.

¹⁹ Конституция Российской Федерации, ГроссМедиа, Москва 2009, с. 11.

²⁰ „Российская газета”, 7.06.2005; [online] <www.rg.ru/2005/06/07/yazyk-dok.html>.

В целях укрепления государственности, национальной безопасности и престижа Российской Федерации, ее полноправного вхождения в мировое политическое, экономическое и культурное пространство, развития интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств Российской Федерацией был разработан ряд мероприятий, направленных на создание условий для полноценной реализации функций русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, полноправного вхождения Российской Федерации в мировое политическое, экономическое, культурное и образовательное пространство. К наиболее релевантным из обозначенных выше мероприятий можно отнести Федеральную целевую программу „Русский язык” (2002–2005), утвержденную Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. № 483; Федеральную целевую программу „Русский язык” (2006–2010), утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 833. В настоящее время подготовлен проект Федеральной целевой программы „Русский язык” (2011–2015). Стоит отметить также, например, Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 декабря 2006 г. № 1488 „О проведении года русского языка”.

3) У славянских языков есть ресурсы к объединению современного „славянского сообщества”. Как справедливо заметила М.Л. Ремнёва, „в настоящее время подвергается испытаниям сама идея славянской взаимности, что связано с непростым историческим периодом в жизни славянских народов. Довольно широкое распространение получила точка зрения о том, что идея славянской взаимности устарела, утратила свою актуальность. Отказ же от нее по сути является отказом от истории и культуры своего народа. Эта идея должна помогать решению проблем, существующих между славянскими народами, и способствовать тому, чтобы славяне осознали себя мощной силой, играющей одну из ключевых ролей в современной Европе. При этом обращение к ней ни коим образом не должно восприниматься как призыв к славянскому единению с целью противопоставить себя другим европейским народам или рассматривать неславянские народы с позиций превосходства. Обращение к славянской общности, страницам общей славянской истории могло бы способствовать решению стоящих перед Европой проблем, большему взаимопониманию между народами, в том числе и укреплению отношений России с другими

славянскими государствами, а также с Европейским союзом, в котором уже проживает 70 миллионов славян”²¹.

Таким образом, вполне очевидно, что перед каждой современной языковой личностью стоит сложная задача „лингвистического выбора”, связанного с ответами на „вызовы времени”, и хочется надеяться, что славянское лингвистическое сообщество сделает правильный выбор в сторону разумного сохранения национальной языковой и культурной идентичности, а также адекватного языкового взаимодействия и взаимопонимания на фоне новейших инновационных и глобализационных процессов XXI века.

Streszczenie

Niektóre nowe funkcje interakcji w słowiańskiej wspólnocie językowej w XXI wieku

W prezentowanym artykule opisano funkcje społeczne języków słowiańskich we współczesnej sytuacji homogenizacji oraz uniwersalizacji kultury, rozmycia granic kulturowych pod wpływem procesów globalizacji. Na materiale współczesnego języka rosyjskiego zostały pokazane procesy językowe uwarunkowane dynamiką społeczeństwa dzisiejszej Rosji z uwzględnieniem sytuacji w innych krajach słowiańskich. Poruszona została socjolingwistyczna kwestia „wyboru językowego”.

Summary

On some new peculiarities of interaction within the Slavonic linguistic community of the 21st century

The present article is devoted to the description of some peculiarities of the Slavonic languages existence within the process of the world homogenization and universalization, “smearing” of national boundaries under the influence of “mental”, territorial, economic, information-communicatory and ethnic globalization. The paper suggests the author’s approach to analyzing the ameliorative and deteriorative extra- and intra-lingual tendencies, as well as marks some ways of preserving the Slavonic languages uniqueness in the context of the “linguistic choice” and the newest innovative and globalization processes of the 21st century.

Ewa Głądyś-Seta
Lublin

Міф як джерело символіки реклами (на матеріалі українських рекламних текстів)

Метою нижченаведеної статті є здійснення семіотичної характеристики рекламних слоганів за символікою образів-архетипів та інших міфологічних мотивів, які становлять імпліцитний зміст рекламного повідомлення. Новим у статті є не тільки багатий, самостійно зібраний матеріал, але також його класифікація. Треба сказати, що при всьому різноманітті підходів до вивчення реклами дослідники як в Польщі, так на Україні недостатньо уваги приділяють символіці та міфологічним образам рекламних текстів.

Людина у багатьох ситуаціях керується певними, наявними у підсвідомості образами чи стереотипами. Цей факт дуже вдало і часто використовують рекламодавці і створюють слогани, які пов'язуються з відомими етнокультурними вартостями.

Міф стосується не тільки архаїчного суспільства, але він присутній також у сьогоdnішніх часах, беручи до уваги всі ті думки та висловлення, яких головною метою є діяння на свідомість, створювання своєрідних особових зразків та зразків поведінки, які апелюють не тільки до нашого знання, але також до забобонів та стереотипного способу думання¹. Міфологія – це втілена дійсність². Таким чином, міф здатний керувати поведінкою людини поза її свідомістю і пов'язаний з іншим поняттям, також дуже важливим для рекламної діяльності, а зокрема з **архетипом** – прообразом, первісним образом, ідеєю. Це прадавній взірєць, який існує у свідомості людства і передаючись від покоління до покоління, мотивує вчинки і дії людини³. Отже міф, архетип чи символ – це явища притаманні

¹ М. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, *Słownik terminów literackich*, Wrocław 1988, с. 288.

² М. Дмитренко, *Що таке символ?*, [в:] О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко, Г. І. Потапенко та ін., *Словник символів*, Київ 1997, с. 5 (дальше на позначення назви словника вживається скорочення – СС).

³ *Новий довідник. Українська мова. Українська література*, Київ 2004, с. 836.

рекламним текстом і саме завдяки ним рекламний слоган має подвійну структуру: денотативне повідомлення (саме буквальне зображення) і повідомлення символічне (конотативне), що викликає у адресата асоціації⁴.

Спираючись на праці Н. В. Слухай, віднайдемо у рекламних гаслах імплікації (додатковий смисл, не представлений безпосередньо одиницями тексту, а виведений з експліцитного змісту одиниці в результаті його взаємодії зі знанням адресата)⁵ і з'ясуємо джерела їх виникнення: **Фоново-енциклопедична**, у якій домінують побутові фактори, що експлікують семантику дружніх стосунків. Приклади цієї імплікації можна віднайти у слоганах, що рекламують алкогольні напої: *У кола друзів є свій центр. Правило справжньої дружби. Пиво „Славутич”* – головний і найважливіший елемент такої цінності як дружба ототожнюється з пивом, це воно визначає справжні приятельські відносини.

Побутова символіка наявна і у наступних двох рекламах пива цієї самої марки, зображених на білбордах. Крім слогану бачимо на них також образ дороги: *„Рогань”. Ремонт настрою поруч; „Рогань”. Відпочинок без зупинок.*

Дорога символізує життєвий шлях людини, своєрідне паломництво, а також людську поведінку⁶. Самі знаємо, що життя буває важким, сповненим жорстоких моментів, а вищенаведена реклама має показати, що цю життєву дорогу можна зробити приємнішою і легшою, купуючи пиво „Славутич”. Воно має змінити наш підхід до життя („ремонт настрою поруч”), і наповнити нас енергією і силою („відпочинок без зупинок”).

Імплікацію дружніх стосунків бачимо також у рекламі інтернет-зв'язку: *People net. Я хочу впізнати по голосу. Висока якість зв'язку. Зв'язок нового покоління. Бо люди хочуть;* як і у рекламі марки Calvin Kleina: *Новий аромат втілює в собі притягальну силу покоління, здатного вільно спілкуватись завдяки високим технологіям, покоління, що здатне спілкуватися з усім світом не виходячи з будинку.*

Архетипні імплікації у рекламі найчастіше мають постать еротичних підтекстів, як ось у слоганах жіночих та чоловічих парфумів, їх сенсорно-перцептивній й позитивній внутрішньо емоційній спрямованості: *Слідом за ароматом Euphoria парфумерну колекцію від Calvin Klein доповнює звабний аромат. Він створений для безкетної привабливої жінки,*

⁴ В. В. Жовтянська, *Реклама: міфологія сьогодення?*, Інститут соціальної та політичної психології АПН України, [online] <<http://netgorod.narod.ru>>.

⁵ Н. В. Слухай, *Міфологічні джерела прагматикону текстів масмедіа*, Сімферополь 2004, с. 30.

⁶ *Słownik symboli i obrazów biblijnych*, Poznań 1989 (електронна версія).

романтичної і одночасно авантюрної. Ця жінка повна енергії і прагне зробити своє життя фантазією, що здійснилася; Східні, розцвічені прохолодою пахоці, революційно і неординарно втілюють гру зваби, повну інтриги і сюрпризів; Чуттєвість білого мускусу, теплота білого кедрa [...] додає ароматові неповторну чуттєвість і сексуальність; Натхнення аромату – це жінка – наставниця, вихователька, коханка. Своєю чарівністю вона спокушає, заохочує і прив'язує. Своїм бажанням вона зводить чоловіків з розуму, і вони просто не в силах вистояти. У цих прикладах еротичний компонент представлений за допомогою образу спокусливої, привабливої жінки. Натомість нижче подано слоган, який ототожнює еротику з таємничим, загадковим чоловіком: *Новий аромат Davidoff був створений для чоловіка, що володіє характером і зачаруванням, що зберігає досвід і загадку [...]. Новий аромат зміг підняти завісу над таємницею цього чоловіка. Незвичайний чоловік з незвичайним захопленням...*

Міфологічні імплікації особливо видно у назвах продуктів чи підприємств, вони просто називають античні, міфологічні та історичні постаті, або виникають шляхом алюзії (від лат. *allusio* – жарт, натяк), тобто художньо-стилістичного прийому, натяку, відсилання до певного сюжету, образу чи історичної події з розрахунку на ерудицію читача, покликаного розгадати загадковий зміст⁷.

Ювелірний салон „Клеопатра”. Клеопатра – постать античного світу, остання королева Єгипту, дуже відома з огляду на свою помітну вроду та мудрість⁸. Салон, який носить ім'я видатної прекрасної королеви, подає клієнтам приховану інформацію – це елегантний, на високому рівні магазин, де можна знайти вироби, які б були до вподоби навіть цій єгипетській королеві.

Весільний салон „Купідон”. Образ Купідона у давньоримській міфології позначає бога кохання у вигляді крилатого хлопчика з луком і стрілами⁹. Ім'я Купідона (відповідник давньогрецького Ероса) асоціюється з любов'ю, а так названий весільний салон набагато швидше і легше запам'ятовується, ніж магазин цього виду з іншою, менш вишуканою назвою.

Шоколадки „Прометей”. Прометей у давньогрецькій міфології – це один з титанів, який викрав у Зевса вогонь для людей. Сьогодні цей образ

⁷ Літературний словник-довідник, Київ 1997, с. 30.

⁸ *Encyklopedia popularna PWN*, Warszawa 1982, с. 346.

⁹ Великий тлумачний словник сучасної української мови, Київ 2004, с. 473.

символізує незалежну, вільну людину, яка бажає свободи¹⁰. Мабуть і смак шоколадки, названої «прометеєм» має викликаати у споживача почуття свободи, розкутості, невимушеності.

Цукерки „Фенікс”. Фенікс у деяких стародавніх народів (єгиптян, фінікійців) позначав чарівного птаха, який проживши кілька сот років, спалював себе, а потім воскресав з попелу молодим. Образ цього птаха символізує безсмертя, немирущість, відродження¹¹. Назва вищенаведених цукерок може вказувати на їхній неперевершений смак, який межує з почуттям нескінченності.

Етнонаціональні імплікації (шлюбні номінації, образи дому, країни тощо) наявні у таких слоганах: *Якість народжена Україною* (реклама на транспорті); *„Оболонь” – пиво Твоєї батьківщини*; *„Україна з любов’ю”* (назва шоколадок); *Шлюбна агенція „Рідна оселя”*.

Фоново-культурологічні імплікації, які пов’язані з деякими топонімами, назвами столиць, антропонімами, реаліями європейської і молодіжної культури, алюзіями, фольклорними і художніми образами: успішними подіями європейських держав: *„Тріумф Парижа”* (назва шоколадок); географічними назвами різних країн: *„Старий Житомир”* (шоколадки), *„Скарби Аризони”* (набір SPA), *„Сахара-ніч”* (печиво); закордонними постаттями: *„Наполеон”*, *„Цар Салтан”* (ласощі); чужомовними словами, які нагадують різні держави: *Цукерки „Беллусимо”*, *„Канкан де Парі”*, *„МоленРуж де Парі”*, *„Лідо де Парі”*; іноземними танцями, музикою: *„Фламенко”*, *„Веселий джаз”* (печиво).

Особливо цікавою є сама символіка рекламних текстів. Те, що ми називаємо символом – це ім’я або зображення, які можуть бути відомі в повсякденному житті, але мають специфічне, додаткове значення, культурно-міфологічну маркованість. Слово є символічним, якщо має на увазі щось більше, ніж очевидне, безпосереднє значення¹². Таким чином, символ може умовно позначати якесь явище або предмет, а може ним бути і художній образ, який умовно відбиває думку, ідею чи почуття. Розглянемо архетипний первісний символ (першобуття) води.

„Вода” – це передусім символ першоматерії, плодючості; початку і кінця всього суцього на Землі; Праматері Світу; символ очищення, чистоти і сили. За народним повір’ям то чиста вода символізувала здоров’я, щастя, вірність (на відміну від каламутної, яка віщувала хворобу, журбу,

¹⁰ Ibidem, с. 977.

¹¹ Ibidem, с. 1318.

¹² К. Г. Юнг, *Архетип і символ*, Москва 1991, с. 25.

прикрість). А щонайважливіше – вода це символ сили дівчини і жінки – земних відображень Води-Праматері, господині Всесвіту (СС, с. 22). То вода може давати сили, або їх забирати¹³.

Інтерпретацію обговорюваного нами символу знайдемо також у *Словнику символів* В. Копалінського, де прочитаємо, що це символ змін; безмежних можливостей; джерелом життя; відновлення духа та тіла; могутності та плідності; очищення; благополуччя та невинності; правди та мудрості. Її сприймають як праматерію, основу всього. Чиста вода це правда та порядок¹⁴. Розглянемо приклади рекламних слоганів, у яких функціонує образ води: *Вода мінеральна „Перлина заходу” основа здоров'я* – автор цього короткого слогану сам підкреслив важливість і надзвичайну цінність напою, називаючи його „перлиною”, тобто чимось винятковим, неповторним і зазначив необхідність пити воду, щоб мати гарне здоров'я. Таким чином, символіка тексту відповідає наведеним вище міркуванням: *Усі ми знаємо, що вода життєво необхідна. Але більшість з нас не усвідомлюють усієї важливості, яку вона відіграє для кожного органу і функціонування всього організму в цілому. Вода не тільки підтримує життя. Вона здатна дійсно поліпшити наше здоров'я, фізичний стан і навіть зовнішній вигляд. Оберіть найкраще джерело води в світі! Обравши систему очищення води eSpring, ви можете бути впевнені, що вода, яку п'є ваша сім'я, максимально чиста; Вода – це найважливіший продукт, без якого не може функціонувати організм людини. З системою очищення Води eSpring Ви і ваша сім'я зможуть насолодитися чистою і корисною водою. Ви отримаєте душевний спокій, тому що зможете довірити турботу про чистоту води нашій системі; Planet SPA Mediterranean. У перекладі з латинського SPA означає здоров'я через воду. Це прекрасна можливість позбавитися від стресу, відчуття втоми, знайти душевний спокій і душевну гармонію.*

У цих трьох текстах „вода” виступає передусім символом здоров'я, життєвих сил, гарного самопочуття, внутрішньої гармонії, а також символом краси. Вода є „джерелом”, тобто початком всього, що найкраще в житті. Перший з рекламодавців рекомендує нам систему очищення, таким чином лише чиста вода (згідно з інтерпретацією зі словника) може дати людині щастя у вигляді міцного здоров'я. Тільки завдяки чистій воді всі можуть бути спокійними і впевненими у цьому, що вибрали правильний

¹³ В. Жайворонок, *Знаки української етнокультури. Словник-довідник*, Київ 2006, с. 107.

¹⁴ W. Kopaliński, *Słownik symboli*, Warszawa 2006, n. 480–482.

життєвий шлях для себе і своїх близьких. Автор реклами *Planet SPA* також особливо наголошує, що вода є основним компонентом здоров'я, яке видно не тільки назовні – воно дає про себе знати через внутрішній спокій і гармонію.

Іншим космологічним символом, наявним у рекламних зверненнях, є зоря. „Зоря” – символ животворної й родючої природи; дівчини-красуні; нового щасливого життя; вічності. П'ятикутна зірка позначає гармонію, здоров'я (СС, с. 43). У польському словнику знаходимо: „зірка” – це нескінченність, не досягнений ідеал, успіх та надія; чистота та свобода¹⁵.

У *Словнику стереотипів та національних символів*¹⁶ прочитаємо, що зображення зірок згідно з європейською та слов'янською традицією символізують чистоту, красу, свободу та щастя. Зірки це прикраси неба так, як квіти є прикрасами землі. Вони супроводять закоханих. В християнській культурі символіка зірок поєднана з ідеєю Бога. Натомість старохристиянському надгробковому мистецтві зірки були символом вічного щастя. Світло зірок це божя сила.

В українських рекламних слоганах (здебільшого у назвах товарів) зустрінемо не тільки сам іменник „зоря”, але також інші похідні від нього утворення і сполуки слів: „зорепад”, „зоряний”: *Зволожуюча губна помада „Зорепад”*; *Пудра „Зоряний пил”*; *Лак для нігтів „Зірочка”*. У цих рекламах «зірка» виступає атрибутом виняткового, прекрасного, неповторного сяйва, джерела справжніх зірок на небі. Натомість у слоганах: *Подаруй коханій Зірку. Гурт „Десерт”*; *Жіночий аромат Angel Schlessler Essential домігся найбільшого успіху в лінії жіночих ароматів. На небокраї його слави народжується ще одна зірка – Essential for men, туалетна вода, що виражає сутність стилю свого творця*, символ зорі означає щось недосяжне, унікальне і виняткове, щось, що межує з ідеалом. Тільки реклама дає можливість пізнати цей ідеал і торкнутись його.

„Рай” і похідні від нього слова також становлять символіку рекламних гасел. „Рай” у християнстві – це символ щасливого майбутнього; мирного буття; рівноваги і внутрішнього задоволення; красивої, благодатної та багатой землі; найвищої насолоди. Для його позначення існує синонімічний ряд: Еден, райська місцевість, райські кущі. Рай виступає також символом безтурботного, спокійного існування, миру і злагоди (СС, с. 78).

¹⁵ Ibidem, с. 101.

¹⁶ J. Bartmiński, *Słownik stereotypów i symboli ludowych*, Lublin 1996, с. 203–209.

Розглянемо детальніше такі рекламні тексти: *Шоколад „Райська насолода”*; *Зволожуюча губна помада „Кораловий рай”*. Наявний у цих слоганах символ раю вказує, що якість продуктів перевищує „земні” можливості. Підкреслює неперевершений смак продукту (перший слоган) і ефективність товару, чудовий колір помади (другий слоган). *„Надзвичайний Мультифрукт”* (сік) – *ідеальне поєднання райських плодів*. У цій рекламі „райськими плодами” названо фрукти, які за традицією росли у біблійному раю (ананас, апельсин, ківі та інші) і у цей спосіб підкреслено екзотичність, вишуканість смаку соку; *Нове ім'я води Eden. Вибір року 2004, 2005, 2007. Вода „Райське джерело”*. Рай окреслено Едемом, а його джерелом, тобто найважливішим компонентом, центром і серцем є вода. Напій під назвою „райське джерело” має вказувати на натуральність і виняткові властивості продукту.

Дуже цікавою є реклама цукерок фірми „Рошен”, подивимось на її композицію:

„Райське молоко”. *Райський птах – невагомий, спрямований у височінь. Він – символ легкості та наблизення до Бога. Він – „чистий від народження” й нічого не знає про земну марноту, бо споживає лише небесну росу. Люди завжди мріяли наблизитися до богів, аби скуштувати неземні блага й насолоди. Цукерки „Райське молоко” з легкою начинкою, покритою ніжним шоколадом – це страва богів, створена для людей. Ця реклама безпосередньо говорить про „неземне” походження цукерок. Створює символ „райського птаха”, який не знає про земне життя і здатен наблизитися до Бога. Це він дає людям можливість скоштувати шматочок раю і дарує їм „райське молоко” – своєрідний посередник між Землею а Небом (рай у цьому випадку ототожнюється з небом).*

У рекламних текстах можна помітити наявність таких міфологічно маркованих лексем, позначень, як „чарівність”, „чари” або „чарувати”. „Чари”, за старовинними уявленнями, позначали магичні засоби, за допомогою яких можна вплинути на людину й природу, натомість у переносному значенні – це зовнішня приваба, що манить, викликає різні почуття¹⁷. Як це уявляється у рекламі, покажуть нам такі слогани: *Замовляйте чарівний святковий набір лише за...; Браслет „Чарівна мить”; Набір прикрас „Чарівність”; Парфумна вода „Today” – чарівний аромат простий і нескінченно складний, як сама любов; Яскравий, що іскриться аромат зачаровує свіжою початковою нотою кавуна...; Продукти для*

¹⁷ В. Жайворонок, *op. cit.*, с. 635.

догляду за шкірою та макіяжу, які допоможуть вам стати чарівною. Символіка чарів у поданих прикладах передає буденну привабливість продуктів, які в змозі викликати неабиякі враження, заволодіти почуттями людини, а навіть перенести її у зовсім інший, нереальний, прекрасний світ: *Запрошуємо в чарівний світ казки* (іграшки для дітей „Avon”); *Блиск і чарівність! Сміх і радість! Подаруйте казку собі і своїм друзям* (косметика „Artistry”); „Чарівний світ” – оформлення урочистостей повітряними кульками (фірма що організує весілля).

З „чарами” тематично пов’язане є поняття магії і воно також функціонує як символ у деяких слоганах. „Магія” – це сукупність дій і слів, які, за народним уявленням, мають чудодійну силу. А у символічному, переносному розумінні магія позначає щось загадкове. Прикметник „магічний” символізує щось сильне, надзвичайне, непереборне, чарівне, наділене чудодійними властивостями¹⁸. У рекламних текстах магія символізує перш за все щось незвичайне, непересічне і прекрасне. Рекламний продукт це немов магічна формула, за допомогою якої можна діяти на оточення, впливати на вибір смаку при купівлі продуктів, кремів, зволожуючих засобів, викликати у адресата позитивні емоції: *Пізнай магію [...] найніжнішого бальзаму; Пізнай магію... справжнього кольору; Поговоримо... про магію погляду. „Avon” представляє нову туш „Вражаючий ефект”;* *Солодкуватий присмак ванілі створює легкий наліт пустощів і кокетування, а магія ладану закутує аромат поволокою таємничості і загадковості.*

Символіка квітів, яка часто появляється у рекламах (здебільшого символіка троянди, бузку, орхідеї): „Квіти” – символізують містичний центр, логіку та симетрію; таємницю, але також: невинність та чистоту; привабливість; гармонію, красу та щастя¹⁹. Квіти це символ жіночої краси²⁰.

У давні часи квіти мали ритуальну значимість, що зараз згадується в обрядах (весілля, хрестини). У практиці ритуального використання квітів знаходимо сліди вірувань, пов’язаних з культом Великої богині – уособленням життя, смерті і плодючості. Вагоме символічне значення мали васильки, мак, рум’ята, мальва, конвалія, бузок, півонії. Квіти мали берегти людей, захищати від злих сил, «вроків». Деякі квіти (наприклад калина) вважалися символом любові, щастя, краси, багатства, здоров’я, зв’язку з потойбічним життям. Кольори квітів також важливі – поєднання червоного

¹⁸ Ibidem, с. 348.

¹⁹ W. Kopaliński, op. cit., с. 181.

²⁰ Słownik symboli, Kraków 2007, с. 167.

та блакитного символізує вірність і кохання, жовтий колір означає невірність, а у поєднанні з червоним – нагороду і повагу. Зелені кольори означають мудрість, обережність (СС, с. 49).

Бузок, особливо білий, символізує скромність²¹, а троянда – небесну досконалість та земні пристрасті; красу; цнотливість, а в християнстві – рай. У Древній Греції та Римі трояду вважали емблемою весни, повної життєвої краси, кохання, символом закоханості, а також радощів, розкоші, витонченості (СС, с. 98). Подивимось на слогани з наявністю символу квітів: *Студія квіткового дизайну „Вальс квітів” – весільна флористика; Набір прикрас (кольє та сережки) „Орхідея”; Кольє „Чарівна троянда”; Набір прикрас „Трояндова пелюстка”; Тіні для повік „Бузковий туман”; Близьк для губ „Чайна троянда”; Слідом за неповторно чуттєвою парфумованою водою Ferre, ми занурюємося у свіжість Ferre Rose – новий яскравий аромат, присвячений світові квітів. Він пробуджує елегантність і граціозність – невід’ємні складові істинної жіночності; Над дизайном флакона (парфумів) працював сам Кляйн. Пляшечка являє собою стилізацію під готовий розпуститися бутон орхідеї (пляшка символізує квіт); Ваша чуттєвість розпускається як бутон троянди під дією Манго Деліріум.*

Використання назв квітів, особливо у рекламі жіночої косметики, викликає у покупця почуття ніжності та вразливості на красу і підкреслює, якою великою силою володіють квіти: *Манго Деліріум – це божественний квітковий еліксир, що охоплює Вас гіпнотичною силою звабних квітів і кружляє у вирі почуттів. Манго Деліріум був створений на основі сили квітів: багатство фарб і ароматів, численність форм і розмірів. Ваша чуттєвість розпускається, як бутон троянди під дією Манго Деліріум.*

Зосередимо нашу увагу на образах внутрішніх соматизмів – душі та серці.

Душа – за релігійними уявленнями, безсмертна, нематеріальна основа в людині, що становить сутність її життя. Вона пов’язана з духом – за міфологічними уявленнями надприродною істотою, що бере участь у житті природи і людини. Дух є посередником між душею і тілом; свідомість душі зароджується в боротьбі духу з тілом²². У рекламних слоганах образи душі та духа символізують перш за все внутрішню гармонію, якої людина може досягти користуючись даним товаром: *SPA – це прекрасна можливість позбавитися від стресу, відчуття втоми, знайти душевний спокій і внутрішню гармонію;*

²¹ В. Жайворонок, *op. cit.*, с. 58.

²² *Ibidem*, с. 208–209.

Косметика Elemis дозволить довести до досконалості стан вашої шкіри та душі. Символ душі (духа) може також позначати збір виняткових, специфічних рис притаманних рекламованому продуктові: Givenchy – французький стиль, елегантний шик, спонтанність і істинно аристократична душа. Пері Елліс відповідає сучасному безпосередньому духові Америки, що переплітається з індивідуальним стилем.

Серце – це також символ, яким користуються рекламодавці. Словник символів так пояснює його значення: „серце” – символ Центру; Бога; життя; розуму; любові (СС, с. 84). На думку стародавніх вчених існують три центри людського тіла (мозок, серце, статеві органи), з яких серце є найважливішим. За традиційними уявленнями, місцем перебування розуму було серце, а мозок слугував лише його засобом. Отже, серце символізувало „центрально” Мудрість. Палаюче серце означало центр макрокосмосу та мікрокосмосу. Для алхіміків серце уособлювало сонце всередині людини. Серце символічно означає також любов як центр світла і щастя. Важливим є факт, що для українців серце – це перш за все любов, лагідність, співчуття, радість, щастя.

Характерним для реклам парфумів є те, що центр аромату, його основу називають „серцем”. Такий мовний засіб підкреслює винятковість запаху: *Серце аромату полонить в обійми динамічного запаху пряностей Індії – кмину, куркуми – у єднанні зі свіжим акцентом білого кедра (Davidoff); Апетичні, холодні ноти серця: коктейль із екзотичних фруктів, латаття і ніжна фрезія; У серці живлюща хрустка смородина [...] цей чарівний контраст [...] виходить на перший план; Нота „серця”: квіти орхідеї, лотоса, рожева півонія (Calvin Klein); „Серце” розкривається ароматами квітки лотоса...; Оп’яняюче серце аромату... Буває, що „серце” виступає у рекламах умістищем щирих, глибоких почуттів: Від серця до серця – концерн Рошен.*

Рекламована фірма намагається підкреслити свою неповторість твердженням, що її вироби потрапляють у людські серця – тобто у центр, найважливіший осередок внутрішнього життя.

Зі словом „серце” без сумнівів асоціюється поняття любові – воно також виступає символом у рекламних текстах. Кохання у рекламі має звичайно інший вимір ніж те, яке значення воно має в поезії, фольклорі чи хоча б у щоденному житті. Любов – це почуття глибокої сердечної прихильності до другої особи²³ і має різні засоби вираження (пестливі

²³ В. Жайворонок, *op. cit.*, с. 311.

слова, порівняння чи інші слова-символи). У рекламних текстах любов символізує ніжні, глибокі і сильні почуття, які мають виникнути у людини, але тільки у зв'язку з купівлею продукту. Почуття такі, а навіть пристрасті, не є спрямовані на конкретну особу. Вони існують як своєрідні асоціації, можна у цьому пересвідчитись, купуючи певний товар. Така любов рекламних слоганів нерідко пов'язується із сексуальними почуттями і враженнями суб'єкта: *Парфумна вода Always. Історія любові... сьогодні, завтра, назавжди. Один раз пробудившись у серце, любов залишається з нами назавжди. Любов дарує нам нескінченні сили, щоб піклуватися і берегти тих, кого ми любимо. Любов направляє наші вчинки, надає сенс життя і особливо гостроту кожній миті. Адже любити – значить жити* (любов як символ сенсу життя, гармонії і спокою зв'язаних з найближчими людьми); *Пафумна вода Today – аромат нескінченно складний, як сама любов. Таємничий всесвіт любові зустрічає променистими нотами фрезії [...]. Потoki любові й світла несуть із собою ніжність квітки Райського птаха, тепло тропічного гібіскуса* (любов – символ таємничої сили, нових, незнаних дотепер відчуттів); *Парфумна вода „Tomorrow”. Історія любові... Ледь покинувши прозорі стіни флакона, аромат розкриває теплі і почуттєві обійми, виткані з подиху запашиного персика, жагучого заклику пачули з легкою сексуальною ноткою гострого перцю. Вся сила любові звучить ніжністю індійського жасмину і зачаруванням африканської фіалки* (любов має сексуальний вимір); *Nina Ricci представляє новий жіночий аромат „Love in Paris”. Побачивши Париж, хочеться жити повним життям, легко і красиво в очікуванні самого прекрасного чуда – любові; Прийміть у подарунок чудовий квітковий букет і любов ввійде у Ваше життя, щоб залишитися в ньому назавжди!* Образ Любові з'являється і у назвах ласощів, виступаючи символом насолоди: *Шоколадки: „Україна з Любов'ю”, „Любові, Удачі, Багатства”, „З любов'ю”*.

Не можна залишити поза увагою такий важливий факт: рекламний дискурс створює новий образ і символ жінки. Щоб переконатися у цьому, вперше детальніше придивимося до традиційних моделей жінки. Споконвіку в обов'язок української жінки входив дім, оселя, родинне вогнище, виховання дітей; в спостереженнях іноземців підкреслюється чесність українських жінок; становище жінки в суспільстві було високе і шановане; суворо засуджувалася легковажна поведінка; в народі не користувалися повагою злі, заздрісні жінки²⁴. „Жінка” – символ

²⁴ Ibidem, с. 222.

підсвідомості; різноманітності; чистоти; любові; краси; моральності та невинності²⁵. Рекламні тексти, особливо ті, які рекомендують жіночу косметику та парфуми, створюють новий символ жінки – вільної, сучасної мешканки великого міста, яка не приховує своєї сексуальності, є привабливою і любить контролювати чоловіка, владарювати над ним: *Манго Деліріум створений для дам, що хочуть пізнати свій внутрішній світ і розкрити його іншим. Вона чуттєва і упевнена у своїй привабливості. Вона відкрита, любить несподіванки і досить смілива для пізнання всього нового, Вона жіночна, бешкетна і сексуальна. У ній є вогник... що захоплює, раптовий і загадковий... прямо як бутон розкішної квітки, що от-от розпуститися! Цей продукт – подарунок молодим городянкам, що хочуть зберегти свій стиль у будь-якій ситуації; Новий чуттєвий аромат „Ange ou Démon” (Ангел або Демон) від Givenchy побудований на вічному контрасті світла і тіні, добра і зла, безвинності і пороку, він втілює собою запах жінки-мрії, загадкової і незбагненої. Такий новий образ жінки від Givenchy: романтична спокусниця, запальна, безтурботна і чарівна. Варто зауважити, що ця реклама додатково побудована на основі контрасту: зла і добра, світла і тіні, романтичності і запальності, і втілює у життя таку ж жінку – складну і повну суперечностей: Аромат від Nina Ricci. Сучасна казка. Для усіх молодих жінок, що шукають подив і фантазію... у країні чудес, де мрії прикрашають дійсність – обіцянка зачарування і звабної жіночості; Аромат, що передає природну красу оголеного тіла (Nina Ricci) – підкреслена сексуальність жінки; Бути привабливою і чудово виглядати хоче кожна жінка. І ніхто не може їй у цьому відмовити... (Nina Ricci).*

Трапляється, що рекламодавці для підсилення ефекту образу жінки, який створюють, використовують у слоганах демонічні образи: диявола і відьму, які є одним із найяскравіших персонажів української демонології. Відьма символізує передусім абстрактне зло. В її образі злилися початки добра і зла. У сучасному житті українців відьма може бути символом людини, яка багато знає і може впливати на хід подій. Реклама добавляє ще одне значення: відьма як символ сучасної, молоді жінки, яка своєю привабливістю панує над оточенням і притягує чоловіків, зваблює їх (СС, с. 30): *З легкої руки дизайнерів і парфумерів будинку Dior у моду ввійшла „Чиста отрута” (Pure Poison)! Вони створили новий парфум, цей аромат зробить вас майже відьмою, здатною чарувати будь-кого, й досконало володіти*

²⁵ *Słownik symboli*, Kraków 2007, с. 143.

мистецтвом жити. Мандарини... ваніль... арабський жасмин... – воістину диявольське і по-диявольському розкішне сполучення! Поряд із символом „гострої” жінки-спокусниці рекламні тексти звертаються і до тендітної, вразливої природи представниць цієї статі: „Portfolio Elite Woman” – великий аромат майбутнього. Уособлює м’якість, ніжність, жіночність, чутливість і бажання, тісно переплітаючись з елегантністю моди і розкоші. Тільки чуттєва натура дійсної жінки здатна оцінити його по-справжньому; Витвір Француа Карона – „Echo Woman” асоціюється з образом щирої, відкритої сучасної жінки. Вона живе в гармонії з собою і навколишнім світом; Новий аромат „Gucci by Gucci” повертає нас до витоків своїх традицій і відтворює в пам’яті образ вічної краси, яка існує поза часом. Аромат-присвячення динамічний і сучасний жінці, яка поєднує в собі чуттєвість і силу, честолобство і жіночу чарівливість.

У рекламних повідомленнях помічаємо ще один космологічний символ – сонячного саява. „Сонце” як таке є символом космічної сили, центру буття, осяяння; слави; величі (СС, с. 92). За Словником стереотипів та національних символів сонце є передусім джерелом світла та самим світлом; це фактор, який організує час та простір. З сивої давнини сонцю віддавано пошану як космічній силі, що дає життєве тепло. Воно було поєднуване з вогнем та сприймане як бог та вияв надземної сили. У слов’янському фольклорі сонце створює міфологічний ряд разом з днем, небом, сходом, вогнем та життям²⁶.

У рекламі „сонячне саяво” метафорично пов’язане з золотим та світлими кольорами (золотий колір символізує, між іншим, славу, а також виступає символом-синонімом до слів: щасливий, дорогий, сонячний²⁷) і позначає щось позитивне, красиве, виняткове, асоціюється з енергією до життя і силою: Сонячне світло, що відбивається в дзеркальному шклі хмарочоса, створює новий блискучий образ „Be Delicious Sine” в стилі неокласицизму і загострює смак до життя. Шипуча композиція додає аромату чудове саяво фруктів. Відчуйте саяво і блиск Нью-Йорка разом з новим ароматом; Аромат „Ferre” наповнений чуттєвістю і сонячним саявом. Абсолютна досконалість наповнює вашу душу щастям; Яскравий, грайливий аромат, просочений золотим сонцем створений для жінки, що завжди привертає увагу; Чи замислювались Ви над тим, якого кольору кохання? Можливо воно кольору рожевого золота... (Жізель); Блиск для губ

²⁶ J. Bartmiński, op. cit., с. 119–120.

²⁷ Ibidem, с. 55.

„Північне сяйво”; Святковий набір „Поцілунок сонця”; Омолоджуючий еліксир „Сила золота”; Подарунковий набір „У сяйві золота”; Кольє „Золотий світанок”.

Серед кольорів, які виступають в рекламі, характерною є символіка білого і чорного, які у слоганах символізують контраст, а також ретельність: *Чорне & Біле. Кава & Coffee-Mate*.

Міфологія і символіка функціонують у сфері рекламної комунікації успішно. Міф у рекламі виникає і живе за тими ж законами, що міф у культурі загалом. Сама реклама може розглядатися як категорія ритуально-міфологічна, адже уособлює окремий ідеальний світ, потрапити до якого можливо завдяки тому чи іншому товару²⁸.

Streszczenie

Mit jako źródło symboliki reklamy (na materiale ukraińskich tekstów reklamowych)

W artykule dokonano semiotycznej charakterystyki ukraińskich sloganów reklamowych w oparciu o symbolikę obrazu-archetypu oraz innych motywów mitologicznych, stanowiących implicytną treść reklamy. Analiza ta pozwala rozpatrywać komunikat reklamowy jako strukturę podwójną (denotacyjne i konotacyjne znaczenie tekstu reklamy), a także jako kategorię rytualno-mitologiczną, uosabiającą odrębny, idealny świat, podlegający interpretacji konsumenta.

Summary

*The myth as a source of advertising symbolism
(based on material in Ukrainian advertising texts)*

In the article, a semiotic description of Ukrainian advertising slogans was made, based on the symbolism of image-archetypes and other mythic motives, constituting the implicit content of an advertisement. The analysis allows the advertisement to be treated as a double structure (the denotational and connotational meanings of advertising content), as well as the ritual-mythic domain, embodying a separate, perfect world, subject to the consumer's interpretation.

²⁸ О. А. Петриченко, *Ритуально-міфологічні інтенції як джерело імплікацій у текстах сучасної реклами*, [online] <<http://www.ukrbiz.net>>.

Artur Bracki
Gdańsk

Dowcip polityczny na Ukrainie jako fuzja dwóch przestrzeni językowo-kulturowych – zarys problemu

Gdy podejmuje się działania w celu wyjaśnienia zależności języka, kultury i narodu, mimowolnie wraca się do idei Wilhelma von Humboldta. Twierdził on, że choć trudno zakładać w kontekście historycznym istnienie stałego punktu, w którym naród otrzymuje swój język, to można w językach rozpoznać taką swoistość, która jest właściwa tylko im (narodowa) i taką, którą nabywają od innych kultur¹. Ten postulat, zawężony do ram terytorialnych Starego Kontynentu, można z powodzeniem zastosować również do innych cech narodowych, bo – jak wiadomo – w kulturze i tradycji europejskiej elementów wyróżniających dany naród może być wiele, np.:

- zamieszkanie na zwartym obszarze, najczęściej w granicach suwerennego państwa;

- odmienność języka, tradycji, ubioru (choć tu częste są oboczności regionalne);

- jedność (np. Hiszpania, Włochy) lub też wyraźne zaznaczenie granic dominacji (np. Niemcy, Ukraina) konkretnej opcji w warstwie religijno-wyznaniowej, która często przybiera postać swojskiego wariantu powszechnie wyznawanego systemu wartości bądź religii (np. polski katolicyzm, rosyjskie prawosławie) itp.

Jednym z ważnych elementów na tej liście jest pojęcie „mentalność”, które w dużej mierze pokrywa się zakresem znaczeniowym z zawartością drugiego i trzeciego z ww. podpunktów, gdyż oznacza „ogół podstawowych przekonań jednostki albo zbiorowości wyróżniający daną osobę bądź grupę społeczną na tle innych: przekonania i przyzwyczajenia umysłowe”². Z kolei bez wątpienia można

¹ Por.: W. von Humboldt, *O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka*, wybór, przekład i słowo wstępne E. M. Kowalska, PWN, Warszawa 2002, s. 265–266.

² H. Zgólkowa (red.), *Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny*, w 50 t., t. 20: *łański – meritum*, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1999, s. 464. To objaśnienie hasła *mentalność* potwierdzają też inne definicje słownikowe, np. S. Dubisza i M. Szymczaka, gdzie *mentalność* to: „swoisty

przyjąć, że tak jak uzasadnione jest twierdzenie o istnieniu specyficznej mentalności np. Niemca, Polaka czy Rosjanina³, tak też logiczne jest uznanie odmienności poczucia humoru u przedstawicieli różnych narodów. Nie przypadkiem mówi się o humorze angielskim, niemieckim czy rosyjskim.

Z ogółu twórczości (tej wysokiej i tej popularnej) zawierającej w sobie element żartu wyraźnie przynależy konkretnemu narodowi najbardziej charakterystyczne są dowcipy. Rzecz jasna, nawet na przykładzie Polski o stosunkowo silnie zakorzenionej tradycji regionalnej można mówić np. o dowcipach śląskich czy kawałach góralskich (swoją drogą, nie zawsze wymyślanych przez Ślązaków czy górali), ale nawet w wymieszanej etnicznie i regionalnie Ukrainie – a to jej obszarowi poświęcona jest niniejsza analiza – inne dowcipy opowiada się wśród mieszkańców Karpat, a inne np. w centralnej części kraju, a na tym tle zdecydowanie wyróżnia się humorem miejscowym czy – mówiąc precyzyjniej – humorem miejskim Odessa, gdzie od wielu lat lansuje się tezę o niej jako stolicy żartu (najpierw – radzieckiego, obecnie zaś ukraińskiego, a nawet – międzynarodowego) i corocznie 1 kwietnia (lata 1973–1976 i po zdjęciu zakazu przez władze radzieckie – nieprzerwanie od 1987 r.) organizuje Festiwal Humoru i Satyry „Humoryna” (ukr. Гуморина, ros. Юморина).

Nieodłącznym elementem dowcipów specyficznych dla danego narodu/ kraju (jak również o danym narodzie/ kraju) jest kontekst specyficznej sytuacji – często dotyczy ona przywar przypisywanych konkretnej nacji (np. znane dowcipy z serii o Polaku, Rosjaninie i Niemcu). Dużą część tych żartów, które można by nazwać „narodowymi”, stanowią wreszcie anegdoty odwołujące się do realiów społeczno-politycznych. W niniejszym artykule analizie będą poddane dowcipy polityczne, znane bądź powstałe na Ukrainie i dotyczące przede wszystkim przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

W celu precyzyjnego operowania pojęciami wyjściowymi warto na początku ustalić, co w niniejszej pracy oznacza pojęcie „dowcip polityczny”. Podstawą analizy stało się hasło „dowcip” ze *Słownika terminów literackich*⁴, *Słownika języka polskiego*⁵ oraz *Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny*⁶;

sposób myślenia i ustosunkowywania się do rzeczywistości jednostki lub grupy społecznej, ogólne nastawienie i stopień aktywności intelektualnej, uwarunkowane biologicznie i społecznie; umysłowość”, por. S. Dubisz (red.), *Uniwersalny słownik języka polskiego*, w 4 t., t. 2: K–O, Warszawa 2006, s. 608; M. Szymczak, *Słownik języka polskiego*, w 3 t., t. 2: L–P, Warszawa, 1998, s. 132.

³ W tym kontekście szerzej por.: L. Kolarska-Bobińska (red.), *Obraz Polski i Polaków w Europie*, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

⁴ J. Sławiński (red.), *Słownik terminów literackich*, wyd. 5, Wrocław 2008, s. 104.

⁵ M. Szymczak (red.), op. cit., t. 1, s. 414.

⁶ H. Zgólkowa (red.), op. cit., t. 9, s. 211–212.

tudzież „dowcip językowy” z *Encyklopedii języka polskiego*⁷. Z powyższych określeń wynika, że dowcip to przejaw i efekt aktywności intelektualnej człowieka, przybierający zwykle formę krótkich, spójnych wypowiedzi, w których (za Danutą Buttler) w sposób zamierzony wykorzystuje się wszelkie środki mogące przekazać komiczną intencję twórcy; może on przybierać różne figury (paradoks, ironia, antyteza, pointa), formy (anegdota, fraszka itp.) i strategie przekazu informacji (gra słów, kalambur, paronomazja). Bezwzględna istotą dowcipów jest silna więź między nadawcą a odbiorcą komunikatu, polegająca na rozumieniu ogólnego kontekstu i ukrytych sensów żartu. Ich cechy formalne (za Dorotą Brzozowską) to: krótkość, dialogowość, zaskakująca pointa, stała forma. W takim ujęciu dowcip polityczny spośród innych typów dowcipu będzie wyróżniał się pod względem tematu bądź obiektu żartu, co z powodzeniem można odnieść do zasadniczego, dychotomicznego podziału na podtypy, np. dowcipy o ogólnej sytuacji w kraju, ustroju, reformach itd. (temat), dowcipy o konkretnych politykach (obiekt).

Z kolei pojęcie „fuzja przestrzeni językowo-kulturowych” w niniejszej pracy oznaczać będzie połączenie informacji (rozumianych zarówno jako składniki sensu, jak i formy wypowiedzi) z różnych i do pewnego stopnia odseparowanych źródeł w spójną całość. W danym tekście fuzja dwóch przestrzeni językowo-kulturowych to fuzja przestrzeni rosyjskiej i ukraińskiej.

Przed przystąpieniem do zasadniczej części pracy należy zaznaczyć, że tematyka dowcipów, komizmu, żartów i ogólnie humoru stanowiła ważny element w całej polskiej powojennej literaturze naukowej i to zarówno językoznawczej, jak i literaturoznawczej, kulturoznawczej czy estetycznej. Przegląd ważniejszych postulatów, nurtów badawczych i proponowanych systematyzacji może z powodzeniem stanowić temat oddzielnych studiów; zajmowali się tym problemem na przestrzeni ponad 60 ostatnich lat tacy znani badacze, jak: Dorota Brzozowska, Marian Bugajski, Danuta Buttler, Jan Stanisław Bystron, Władysław Chłopicki, Bohdan Dziemidok, Michał Głowiński, Maria Gołaszewska, Wojciech Kalaga, Sławomir Kmiecik, Robert Lew, Andrzej Markowski, Jan Mazur, Dorota Simonides, Stanisław Skorupka, Jadwiga Stawicka, Kazimierz Żygulski i in.

Powyższe wstępne ustalenia pozwalają na głębsze prześledzenie natury dowcipu politycznego na Ukrainie. Należy podkreślić, że tylko część spośród istniejących w obiegu ukraińskim dowcipów politycznych nosi cechy wymiesza-

⁷ S. Urbańczyk, M. Kucala (red.), *Encyklopedia językoznawstwa polskiego*, Wrocław 1999, s. 79.

nia rzeczywistości rosyjskiej i ukraińskiej, co więcej – taka konwencja często wykorzystywana jest również w dowcipach o innym charakterze, np. w utworach przedstawicieli postmodernizmu ukraińskiego – Jurija Andruchowycza, Lubka Deresza, Oleksandra Irwancia, Switłany Pyrkało, Oksany Zabuzko, Bohdana Żołdaka⁸ i in. – można odnaleźć miejsca, gdzie warstwa mieszanego kodu jest z jednej strony kanwą opowiadanego dowcipu, ale z drugiej to też język narracji – najczęściej oddanej osobie opowiadającej dowcip. Zwykle to zamierzony przez autorów podwojony efekt komizmu, gdzie dzięki użytemu językowi dowcipem jest nie tylko sam dowcip, ale też sposób jego opowiedzenia. Jak zatem można wywnioskować, wykorzystanie efektu fuzji językowo-kulturowej nie tylko wychodzi poza podtyp dowcipu politycznego, ale ponadto może pełnić różne funkcje w tekście.

Z drugiej strony łatwo można wyobrazić sobie sytuację, gdy rasowy dowcip polityczny w ogóle nie jest związany z konwencją mieszanego kodu językowo-kulturowego. Oto przykład: *W ostatnim czasie strach aż wychodzić w Doniecku na ulicę. Co kto wyjdzie, od razu zabierają go do Werchownej Rady (parlament) albo do Rady Ministrów.*

Przedstawiony dowcip może być opowiedziany z powodzeniem w dowolnym języku i niekoniecznie musi być skierowany do osoby z Ukrainy – do zrozumienia jego nadrzędnego komunikatu wystarczy ogólna orientacja w obecnej sytuacji geopolitycznej na Ukrainie. Rzecz jasna, publika nieco bardziej obeznana z niedawną historią (ZSRR) skojarzy, że forma „zabierania z ulicy” była typowa dla aresztowań i kończyła się w więzieniu, co może rodzić dodatkowe konotacje między obrazem zakładów penitencjarnych i najważniejszych instytucji państwowych ze względu na podnoszoną co jakiś czas przeszłość kryminalną części osób piastujących wysokie urzędy państwowe, tym niemniej jest to ledwie widoczna sugestia.

Poczynione obserwacje pozwalają na postawienie tezy, że wykorzystanie fuzji językowo-kulturowej (rosyjsko-ukraińskiej) w dowcipach politycznych na Ukrainie nie jest ich cechą prymarną, lecz jedną ze strategii pozwalających na wydobywanie efektu komizmu. Jednakże przypomniane wyżej częste wykorzystywanie

⁸ Część dzieł literackich wspomnianych autorów doczekała się tłumaczeń na język polski, o których specyfice traktuje inny mój artykuł: A. Bracki, *Recepcja językowego obrazu rzeczywistości postradzieckiej w polskich tłumaczeniach ukraińskiej prozy postmodernistycznej*, „Acta Polono-Ruthenica”, t. XIV, Olsztyn 2009, s. 353–365; o innych aspektach specyfiki języka wypowiedzi literackiej we współczesnych tekstach ukraińskich por. także: idem, *Kulturowo-językowa specyfika współczesnych ukraińskich tekstów literackich – kwestia użycia surżyka (na przykładzie utworów B. Żołdaka)*, [w:] *Literatura ukraińska XIX–XX wieku w kontekście europejskim*, pod red. L. Siryk, Lublin 2008, s. 237–245.

jej w ukraińskiej prozie współczesnej, pokazuje, że ta strategia może być istotą dowcipu. Stąd też kierunek dalszych poszukiwań to próba odnalezienia tekstów, w których element wspomnianej fuzji będzie podstawowym budulcem dowcipu politycznego.

Bardzo obiecujące są dowcipy polityczne parodiujące hasła i programy wyborcze czołowych polityków ukraińskich. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo silne powiązanie tekstu z obrazem. Istnienie w nich wątku mieszkanki językowej ma wielopłaszczyznową genezę, dlatego warto na wstępie wymienić te najważniejsze powody:

1. Mimo dwudziestoletniego statusu ukraińskiego jako jedyne go języka państwowego na terytorium niepodległej Ukrainy (akty prawne: O językach USRR z 1989 r. i art. 10 Konstytucji Ukrainy z 1996 r.), wciąż silny jest wpływ i znaczenie języka rosyjskiego, pozostającego dla wielu obywateli ukraińskich językiem komunikacji codziennej.

2. Według spisu powszechnego z roku 2005 ponad 17% obywateli ukraińskich deklaruje pochodzenie rosyjskie, a jednocześnie mniej więcej 1/3 społeczeństwa ukraińskiego deklaruje się jak rosyjskojęzyczna (28–48% w zależności od ośrodka badań w latach 2001–2005), zatem rosyjski to drugi spośród najczęściej używanych języków na terytorium Ukrainy.

3. Ważnym elementem każdej kampanii politycznej (choć poprzez jego nadużywanie sprowadzanym coraz bardziej do rangi tematu zastępczego) jest status języka rosyjskiego na Ukrainie; w zależności od prezentowanej opcji (ukraiński jako jedyny język państwowy lub kurs na uprawnioną dwujęzyczność) polityków nazywa się „patriotami” bądź „rusofilami”.

4. Mimo dwudziestoletniej suwerenności państwowej, na poziomie kontaktów społecznych obywatele ukraińscy to wciąż w dużej mierze nosiciele tradycji radzieckiej: mający krewnych w innych byłych republikach, przekazujący swoje doświadczenie (a więc i język komunikacji codziennej) młodszemu pokoleniu (fenomen korespondencji rosyjskiej z wykorzystaniem alfabetu ukraińskiego – dowód na odmiennosć języka komunikacji codziennej i języka edukacji szkolnej), preferujących komunikację po rosyjsku.

5. Ukraińska przestrzeń medialna (prasa, radio, telewizja) opanowana jest przez język rosyjski. Popularne kanały muzyczne w celu realizacji ustanowionej przepisami zasady „nie mniej niż 50% czasu antenowego po ukraińsku” podają w tym języku wyłącznie reklamy (i tak obowiązkowo ukraińskojęzyczne zgodnie z innym rozporządzeniem) oraz bloki informacyjne (wiadomości, prognoza pogody itp.) – resztę czasu antenowego wypełniają (przeważnie) piosenki rosyjskie i (wyłącznie) rosyjskie komentarze prowadzących.

6. W telewizji (zarówno kanały państwowe, jak i prywatne) bardzo popularna jest formuła programu z dwoma spikerami, z których jeden mówi po rosyjsku, a drugi – po ukraińsku. Tylko w części bloków informacyjnych zdecydowano się na dublowanie napisami bądź tłumaczenie na ukraiński wypowiedzi po rosyjsku (być może dla uniknięcia paradoksalnego tłumaczenia na język państwowy wypowiedzi np. premiera Ukrainy).

7. Duża część społeczeństwa ukraińskiego posługuje się na co dzień mieszaną językową ukraińsko-rosyjską, często są to wypowiedzi w jednym z tych języków, do których dodawane są tylko niektóre słowa z drugiego języka (np. oddające stosunek do opisywanej rzeczywistości, nazywające przedmioty lub zdarzenia typowe dla miejscowej kultury itp.), często też noszą one znamiona mowy o cechach *surżyka*.

Przykład nr 1. Kolaż dwóch plakatów doby radzieckiej przerobionych poprzez zmianę twarzy (dopasowanie twarzy Wiktora Juszczunki, Dmitrija Miedwiediewa i Julii Tymoszenko) oraz podpisu: *Болтають – врагу помогать*. Twarz W. Juszczunki umieszczono w zarysie osoby wyobrażającej lekkomyślnego gadułę, a twarz Miedwiediewa – w sylwetce szpiega. Z kolei Julię Tymoszenko wpisano w postać kołchoźnicy, być może dyrektora jednego z kołchozu (dość

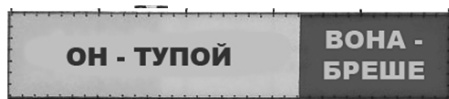


Źródło: <<http://shmaliy.com/blog/312>>

wspomnieć film *Kubańscy Kozacy* z roku 1949, gdzie Gordiej Woron, szef kołchozu, zakochuje się w Galinie Jermołajewnie Piereswietowej, szefowej konkurującego kołchozu), na co wskazuje obecność stylowej, „dyrektorskiej” wołgi i odznaczenie „Герой социалистического труда”; tu usunięto podpis: *С каждым днем все радостнее жить!*, a oba połączone plakaty scalono parodią hasła wyborczego Julii Tymoszenko. Fuzja językowo-kulturowa uruchomiona jest na dwóch poziomach pamięci zbiorowej – utopijnej wizji stalinowskiej permanentnego inwigilowania ZSRR przez agentów i nie mniej utopijnej wizji rajskiego kołchozu gdzieś za linią głodnego horyzontu oraz nałożenia ukraińskiej tkanki językowej na te obrazy propagandy radzieckiej z odpowiednim retuszem postaci. Odbiorca takiej modyfikacji obrazu ma odruchowo zadać sobie pytanie, czy cokolwiek uległo zmianie, zwłaszcza że to **element współczesnej kampanii politycznej**.

Poniższy przykład pokazuje, że w dowcipie politycznym fuzja językowo-kulturowa nie musi następować tylko w obrębie znaku językowego, ale możliwa jest także na zasadzie zestawienia kontrastywnego obrazu (minione czasy) i języka (współczesność). Mimo że w obrazie widoczne są modyfikacje, dopasowujące jego zawartość do realiów współczesnych, to jednak w wymiarze całościowym obrazu nadal jednoznacznie kojarzą się z treścią znanych plakatów radzieckich. W ten sposób kwestia omawianej fuzji w dowcipie politycznym może sprowadzać się do swobodnego przenikania różnych elementów składających się na całość i nie muszą one następować w warstwie językowej, ani nawet bezpośrednio odnosić się do niej. Zatem w dowcipie politycznym omawianego typu warstwa językowa nie musi samodzielnie budować efektu komicznego – może też współtworzyć.

Przykład 2. *Он тупой, вона бреши – третьего не дано?* (pol. z ros. – *On jest tępy; z ukr. – ona łże; z ros. – nie dano trzeciego?*), czyli pytanie o faktyczny brak trzeciej możliwości w stosunku do obu (jak można wnioskować z treści wypowiedzi) nie najlepszych kandydatur. Fuzja językowo-kulturowa działa tu na poziomie zestawienia dwóch polityków charakteryzowanych w języku, który preferują jako język wystąpień (czy też deklarowanym stosunkiem do statusu języka ukraińskiego i rosyjskiego na Ukrainie). Pytanie o możliwość wyjścia z tego impasu to swoisty apel do wyborców o poszukanie innej drogi, określonej później mianem *донотуєсцхувалися* (głosowanie *проти всіх*, pol. *przeciw wszystkim*), do którego zachęcali m.in. Oksana Zabuzko, Jurij Andruchowycz i Wiktor Juszczenko.



Третьего не дано?



Powyżej dowcip (Źródło: <http://durdom.in.ua/ru/main/photo/photo_id/7786/filter/interesting/order/desc.phtml>), poniżej – zdjęcia oryg. hasel wyborczych (Źródło: <<http://io.ua>>)

Na uwagę zasługuje fakt odwrócenia roli obrazu względem tekstu w porównaniu do poprzedniego przykładu. Zostaje zatarta granica między zarysem powierzchni znanego na Ukrainie spotu wyborczego Julii Tymoszenko i tekstu składającego się na dowcip. Dopisek pod powierzchnią plakatu łamie konwencję dychotomii wypowiedzi, dowodząc, że przestrzeń dyskursu może być szersza. Dość zastanawiające jest to, że dopisek stanowiący pointę całej wypowiedzi zapisany jest po rosyjsku, „na obszczeponiatnom” – jakby powiedzieli zwolennicy umocnienia pozycji języka ukraińskiego na Ukrainie. Ten dowcip to dowód, że omawiana konwencja może wykorzystywać elementy wypowiedzi w obu językach bez łamania ich struktury, pisowni itd. **To element kampanii prezydenckiej.**

Przykład 3. *Одна Україна – єдиний урод. Вишануймо день соборності – день єдності українського народу! Віктор Янукович* (dopisek u dołu: *объединение страны возможно*). Przeróbka słowa *народ* na rosyjskie *урод* (pol. odpowiednio: *naród*, *pokraka*, *paskuda*) to prosta gra słowami wskazująca na utopijność idei połączenia Ukraińców ponad podziałami – dobitnie podkreśla to wpłatanie rosyjskiego słowa i podpis komentujący po rosyjsku plakat ukraińskojęzyczny. Fuzja językowo-kulturowa jest tu ukierunkowana na wykazanie dwulicowości

Swoista modyfikacja hasła wyborczego i komentarz wychodzący poza ramy plakatu (Źródło: <http://censor.net.ua/photo_news/152532/od-na_krana_diniyi_urod_na_layitboksah_hreschatika_obnovili_slogan_yanukovicha_fotoreportaj>)



nawołującego do unitarności państwa i obywateli kandydata z ramienia Partii Regionów, która to partia hołduje niezmiennie idei federalizacji.

Dowcip polega na wykorzystaniu negatywnej konotacji wtrącenia z języka innego niż pozostała treść tekstu. Wtrącenie licuje nie tylko ze względu na swoją obcojęzyczność, ale także na wykorzystanie w tej roli leksemu nieprzystawalnego stylistycznie do pozostałej treści wypowiedzi. Fuzja może zatem wykorzystywać komizm związany z brakiem spójności treści całościowej komunikatu oraz kandydata przeczącego nadrzędnym interesom reprezentowanej siły politycznej.

Przykład 4. *Тому що зону хавав, пацан* oraz pozostałe to rysunki-parodie hasła wyborczego *тому що (надійний, послідовний)*. Fuzja językowo-kulturowa w pierwszym przypadku odbywa się na poziomie bardzo wyraźnego asymilowania wyrażen z języka rosyjskiego (argot i język polityki) do ukraińskiego, przy czym *зону хавав* (pol. grub. rub. *kiblował; siedział w kiciu, mamrze; garował*) licuje łagodnością spodziewanej frazy, a *пацан* (pol. dwuznacznie: 1. rub. *koleś, gość*; 2. żarg. *git-człowiek*) czy (w innej, niezamieszczonej tu parodii) *реальний* [r'ieal'nyj] (ukr. *реальний*; ros. *реальный*; pol. *prawdziwy, autentyczny*) przypomina o przeszłości więziennej kandydata i jego kontaktach z dołami społecznymi, a także ośmiesza sposób jego wysławiania się (i, poniekąd, zrusyfikowaną mentalność). W drugim przypadku obraz epatuje odwołaniem do przeszłości kryminalnej (1969, 1972 – daty osadzenia w areszcie) i do znajomości *по поняттям* i – po usunięciu litery „” – *по понтам* (odpowiednio: pol. *kotekst. za przekonania* oraz *dzięki „plecom”*) z dodaniem niejasnych koneksji z poprzednim aparatem władzy ZSRR i Ukrainy postradzieckiej Krawczuk i Kuczma



Parodie cyklu hasel wyborczych z powtarzającym się wyrażeniem тому що (Źródło: <<http://tomusho.narod.ru/kartinki.htm>>

(skutkujące m.in. zatarciem karalności), co uwypukla również inna parodia, utrzymana – dla zintensyfikowania efektu – w konwencji pozornie neutralnego czarno-białego plakatu.

Tu zjawisko fuzji językowo-kulturowej wykorzystano do negowania kontekstu wynikającego z ogólnego obrazu (solidny, wiarygodny i uczciwy kandydat), poprzez wykorzystanie języka dołów społecznych lub mieszanek noszącej cechy *surżyka*.

Przedstawione wyżej przykłady dowcipów politycznych pokazują, że pewna ich grupa w obszarze ukraińskim opiera się na konwencji fuzji językowo-kulturowej. Może ona przebiegać na różnych poziomach przekazu – kontrastować elementy obu języków, obrazu kojarzącego się z jednym i komentarza zapisanego w drugim języku; może wreszcie przyjmować postać hybryd językowych. Za każdym jednakże razem jest to forma zrozumiała w pełni tylko dla osób na stałe przebywających w przestrzeni ukraińskiej z jej specyficzną postacią bilingwizmu i biculturowości. Ponieważ dowcip to wytwór intelektu, wspomniana fuzja wchodzi do galerii zamierzonych narzędzi komunikacji – w ten sposób odwzorowuje element rzeczywistości językowej i kulturowej na Ukrainie, który nie zawsze można zaliczyć do przejawów artyzmu i maestrii wypowiedzi.

Właśnie swoista autonomiczność (samowystarczalność) wskazanych dowcipów politycznych (ukierunkowanie na odbiorcę ukraińskiego) jako fuzji językowo-kulturowej decyduje o możliwości wyodrębnienia ich jako oddzielnej grupy tego typu tekstów. Wydaje się, że ta konwencja będzie wykorzystywana jeszcze przez długi czas, bo nawet przy możliwym uzyskaniu przez język ukraiński statusu języka dominującego na całym obszarze państwa ukraińskiego obraz dwoistości językowo-kulturowej pozostanie jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli nieprostej koegzystencji rosyjsko-ukraińskiej.

Резюме

*Политические анекдоты в Украине как слияние
двух культурно-языковых пространств – постановка проблемы*

Предметом статьи является описание стратегии создания политических анекдотов с элементами слияния двух культурно-языковых пространств. Объект исследования – политические анекдоты, функционирующие в пространстве украинских средств массовой информации. Способом реализации задачи стал сравнительный анализ некоторых примеров таких анекдотов и способов использования стратегии культурно-языкового слияния.

В результате исследования удалось установить, что культурно-языковое слияние может быть эффективной стратегией не только для политических анекдотов, но и для любого другого типа юмористического текста (в том числе и в литературе), а новизна представленной задачи состоит в указании возможности выделить подтип украинского политического анекдота именно на основании использования в нем элементов титульного слияния.

Summary

*Political joke in Ukraine as a fusion
two linguistic-cultural space – a sketch of the problem*

The subject of this article is to describe the strategy to create political humor with elements of fusion of two linguistic-cultural space. The object of this research is chosen political jokes, functioning in the mass-media in Ukraine. The way the task has become a comparative statement of captured examples of these jokes and explore how to use the strategy of language and cultural fusion.

As a result, the study failed to establish that the presentation of the linguistic-cultural fusion can be an effective strategy not only for political jokes, but also in any other type of humorous text (including, in literature), and the novelty of the presented task was fairly reliable indication the possibility of separating the subtype of the Ukrainian political joke just because of the use of its components signaled by the merger.

Joanna Getka
Warszawa

***„Posłav spekulatora, czyli kata” – ekwiwalenty leksykalne
w ukraińskim wariacie „prostej mowy” XVIII wieku
(na materiale „Nauk parafialnych” Juliana Dobryłowskiego,
Poczajów 1794)***

Przedmiot analizy

Wytłoczone w bazylińskiej typografii starodruki poczajowskie są znakomitą źródłem do badań interferencji języków i dialektów słowiańskich. Niestety, niewiele z nich doczekało się wyczerpujących monografii. Uwagę lingwistów przyciągają przede wszystkim zabytki literatury świeckiej pisane tzw. prostą mową, np. *Политика сече́йская* (1770) czy *Книжиця для господарства...* (1788), traktowane jako cenny materiał do badań nad historią języka ukraińskiego¹. Tymczasem z różnych przyczyn (wskutek przeświadczenia o panującym w tym gatunku skostniałym języku cerkiewnym czy też z powodów politycznych) traktowana „po macoszemu” XVIII-wieczna literatura religijna, szczególnie kaznodziejska, również znakomicie odzwierciedla cechy tego języka. Na mocy postanowień Synodu Zamojskiego (1720) by prócz „katechizmu dla nauki ludu pospolitego, druga xięga dla nauki samych parochów wydana była [...] językiem pospolitym”², literaturę kaznodziejską pisano tzw. prostą mową, stanowiącą „niby język ludowy, prosty, z cerkiewnosłowiańską i polską domieszką”³. Zagadnienie „prostej mowy” jest tematem wywołującym dyskusje zarówno w kwestii czasu jej powstania, jak i jej charakteru, funkcji, zasięgu występowania

¹ Zob. m.in.: O.O. Литвиненко, *Мовні особливості почаївського стародруку „Книжиця для господарства” 1788 р. (Фонетика. Морфологія)*, Charków 2003, s. 4–5; I. Франко, *Галицько-руський savoir vivre*, „Киевская старина” 1891, t. 32. Reprodukcyj: *Два почаївські стародруки*, Monachium 1985.

² *Synod prowincjonalny ruski w Zamościu roku 1720 odprawiony*, Wilno 1785, s. 43; cyt. za: M. Cubrzyńska-Leonarczyk, *Unicka oficyna supraska jako ośrodek drukarstwa cyrylicznego*, [w:] J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumow (red.), *Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej*, Kraków 1993, s. 241.

³ Ю. Шевельов, *Історична фонологія української мови*. Переклад з англійського видання С. Вакуленка, А. Даниленка (Shevelov G.Y. *A Historical Phonology of the Ukrainian Language*, Heidelberg 1979), Charków 2002, s. 719.

i kręgów jej użytkowników⁴. Można pokusić się o uogólnione stwierdzenie, iż była ona potocznym i literackim językiem Ukraińców i Białorusinów, nazywanym tak powszechnie jeszcze w XIX wieku⁵.

Przedmiotem niniejszej analizy jest leksyka zachowanego w pojedynczych egzemplarzach zbioru kazań *NAUKI PAROCHIALNIJA na Neděli i S[vja]ta uroczystyja cělogo Roku, z E[van]g[e]li podług obrjadu greckeskago raspolozennyh, z pridaniem pri konci nauki pri, szljubě, dvoch nauk pri pogrebenii, i na Pjatkі s[vja]tago velikago posta, o Strastech Chr(is)tovych* (dalej: *Nauki...*). Opracowanie *Nauk...*, wydrukowanych cyrylicą w Ławrze Poczajowskiej w 1794 r., przypisuje się bazylianinowi Julianowi Dobryłowskiemu. Z poczynionych przez niego we wstępie uwag nie wynika jednoznacznie, czy jest tłumaczem on, czy też autorem dzieła, które jest wzorowane na jakimś cerkiewnosłowiańskim pierwowzorze, który z kolei miał i polskiego, i włoskiego poprzednika⁶. Nie zastanawiając się jednak nad genezą utworu⁷, a będąc uzbrojonym w powyższe informacje, można zauważyć, że warstwy językowe – polska, ruska i cerkiewna – przeplatają się, tworząc nową rzeczywistość tekstu, co daje pokusę przeprowadzenia analizy jego leksyki pod kątem konfrontacji jednostek cerkiewnosłowiańskich z ich ruskimi i polskimi ekwiwalentami. Może to uwypuklić wszelkie przejawy żywego języka, które znalazły odzwierciedlenie na tym poziomie językowym poprzez przybliżenie się do odpowiedzi na pytania:

⁴ Zob. Л.Л. Гумецкая, *Вопросы украинско-белорусских языковых связей древнего периода*, „Вопросы языкознания” 1965, nr 2, s. 44; K. Morita, *Zwizek prostej mowy na dawnych Kresach Wschodnich z prostą mową w Wielkim Księstwie Litewskim. Uwagi terminologiczne*, [w:] *Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim*, „Studia Slawistyczne” 2003, nr 3, s. 147–153; П.П. Плющ, *Історія української літературної мови*, Kijów 1971, s. 140; В. М. Русанівський, *Історія української літературної мови*, Kijów 2002, s. 65; J. Getka, *Język „Nauk Parafialnych” (1794) – ukraiński wariant prostej mowy końca XVIII wieku*, Warszawa 2011; W. Miakiszew, *Język Statutu Litewskiego 1588 r.*, Kraków 2008, s. 38 i nast.; A. Fałowski, *Język ruskiego przekładu Katechizmu Jezuickiego z 1585 roku*, Kraków 2003, s. 11; idem, *Najstarsze katechizmy zachodnioruskie*, [w:] *Język ukraiński. Współczesność – historia*, Lublin 2003; Ю. Шевельов, *Історична фонологія української мови*, переклад з англійського видання С. Вакуленка та А. Даниленка (G.Y. Shevelov, *Historical Phonology of the Ukrainian Language*, Heidelberg 1979), Charków 2002, s. 719; М. Мозер, *Что такое простая мова?*, „Studia Slavica Hung” 2002, nr 47(3-4); Б. Успенский, *Краткий очерк истории русского языка (XI-XIX стст)*, Москва 1994, s. 68.

⁵ Zob. W. Witkowski, *O gramatyce języka ruskiego dla Polaków i poziomie językoznawstwa w Galicji pod koniec XIX wieku*, [w:] *Język ukraiński. Współczesność...*, s. 193; Л.М. Шахун, *Гісторыя беларускай літаратурнай мовы*, Mińsk 1966, s. 35; H. Nuckowska, *Język i styl listów pasterskich metropolity Andrzeja Szeptyckiego*, Lublin 2003, s. 40.

⁶ Zob. wstęp do: *Nauki...*, Poczajów 1794, s. 3.

⁷ Szerzej: J. Getka, *Kazania Dobryłowskiego – przekład czy dzieło oryginalne? Uwagi w dyskusji nad genezą XVIII-wiecznego zabytku Nauki Parochialnija*, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2009, nr 3, s. 61–84.

1) skąd autor czerpie słownictwo do swojego przekładu oraz 2) jakie jednostki leksykalne preferuje. Zgodnie z założeniem, że język literatury kaznodziejskiej jest zbliżony do ówczesnego mówionego, tak przeprowadzona analiza może być dopełnieniem ogólnego obrazu języka ukraińskiego XVIII wieku.

Pomysł doboru materiału do analizy podsunął styl *Nauk...* Jednym z jego naczelných cech jest egzegeza – tłumaczenie wiernym skomplikowanych tematów i symboli biblijnych. *Nauki...* są przy tym utworem szczególnym: autor z łatwością przechodzi od praktyki języka pisanego (tekstu Biblii) do języka, na który „tłumaczy”. Istotna jest przy tym uwaga, że obecna w tekście warstwa języka potocznego nie stanowi wyniku autorskich zabiegów stylizacyjnych, lecz odzwierciedla współczesne realia językowe.

Warstwy językowe zabytku

Występujące w zabytku warstwy językowe – ruska, polska i cerkiewnosłowiańska – są zarazem głównymi składowymi, bazującej na języku ogólnosłowiańskim i staroruskim, leksyki języka ukraińskiego.

Tekst, jak czytamy we wstępie do *Nauk...*, jest napisany **prostą, ruską mową**, by każdy Rusin mógł go swobodnie czytać i rozumieć. „Prosta mowa” (mamy tu do czynienia z jej ukraińskim wariantem) stanowi więc teoretycznie bazę leksyki zabytku. Odpowiada to dążeniom (powstałym w okresie reformacji) do tłumaczenia Biblii i ksiąg kościelnych na języki narodowe. Było to o tyle łatwo urzeczywistniane, że w związku z kryzysem prawosławia i oświaty na ziemiach białorusko-ukraińskich w XVI–XVII wieku język cerkiewnosłowiański był mało zrozumiały dla czytelników, a nawet dla duchowieństwa. Myśląc o potrzebach i możliwościach zwykłego czytelnika (świeckiego – nie duchownego), nieznającego „klasycznej cerkiewszczyzny”, pisarze musieli modernizować jej leksykalno-gramatyczne normy i dostosowywać je do wymogów języka im współczesnego, częściowo literackiego, częściowo mówionego. O emancypacji „prostej mowy” świadczy pojawienie się takiego zabytku, jakim był *Ewangelia* Wasyla Ciapińskiego, pisanego równolegle po rusku i cerkiewnosłowiańsku, potwierdzający równoprawny status tych języków.

Zgodnie z praktyką liturgiczną, w celu uargumentowania swoich twierdzeń i nauk, kaznodzieja odwołuje się do historii biblijnych, nauk apostoelskich, interpretuje przypadające na daną niedzielę czytania z ewangelii. **Wtręty cerkiewnosłowiańskie** w tekście przeplatają się z wyrazami bądź całymi frazami ruskimi. Służą one podkreśleniu tezy kazania, stylizacji na tekst kanoniczny. Dodatkowo, zastosowanie wstawek z języka cerkiewnosłowiańskiego w tekstach drugiej połowy XVII wieku mogło świadczyć o erudycji autora, analogicznie jak użycie latynizmów w utworach

polskich⁸. Wskazuje również na potencjalnych odbiorców książki – Rusinów: Ukraińców i Białorusinów ziem Rzeczypospolitej. Jest zarazem oczywiste, że język cerkiewnosłowiański z *Nauk...*, podobnie jak i innych utworów tego okresu, odbiega znacznie od tego, jaki rejestrują najstarsze zabytki. Przyczyną tego była niedostateczna edukacja ich autorów oraz przenikanie do tekstów kanonicznych cech języka mówionego, o czym wspomniano wyżej. Z drugiej strony, pisarze dążący do tworzenia tekstów „prostą mową” mimowolnie używali słów z tradycyjnej cerkiewnosłowiańskiej leksyki⁹, która utrwaliła się w języku znacznie wcześniej i była traktowana jako rodzime elementy języka.

W tekście liczne są również **polonizmy**, co nie powinno dziwić. Po pierwsze, sam pisarz wskazuje polski pierwowzór swojego dzieła, do tego – jak uważał A. Brückner – tłumacze „nawet gdy po rusku pisali, po polsku myśleli, z polskich szkół wyszli, z polskich dzieł czerpali”¹⁰. Po drugie, w omawianym okresie polski był językiem kultury dominującej w tym regionie. Języki: polski, ukraiński i białoruski pozostawały w kontakcie od najdawniejszych czasów, co sprzyjało wzajemnym wpływom.

Długi okres znajdowania się etnicznych terytoriów białoruskich i ukraińskich w składzie Rzeczypospolitej nie mógł nie odcisnąć piętna na języku. Znaczenie i powszechność użycia języka polskiego z czasem doprowadziło do upadku prestiżu języków ukraińskiego i białoruskiego, jednak mimo to jego znaczenie dla rozwoju systemów języków zachodnioruskich było ogromne, porównywalne do wpływu języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na rozwój literackiego języka rosyjskiego. Język polski nie tylko wzbogacił leksykę tych języków (*Słownik języka staroukraińskiego XIV–XV wieku* podaje ok. 900 zapożyczeń z języka polskiego¹¹), wpłynął również na rozszerzenie ich środków słowotwórczych¹². Masowemu przenikaniu polonizmów do języków zachodnioruskich sprzyjały ożywione kontakty literackie nawiązane na przełomie XVI i XVII wieku.

Ekwiwalenty w tekście

Występujące w *Naukach...* jednostki leksykalne w zdecydowanej większości mają potwierdzenie we wcześniejszych tekstach i słownikach, co świadczy o tym, że autor był zorientowany na istniejącą literaturę, opierał się na funkcjonujących

⁸ J. Rieger, *Cerkiewszczyzna równa łacinie?: wtręty cerkiewnosłowiańskie u Łazarza Baranowicza (druga połowa XVII wieku)*, „Slavia Orientalis” 1998, s. 519–521. Por. też: Л.М. Шахун, *Значення царкоўнаславянскай мовы...*, s. 15.

⁹ П. Житецький, *Напис літературної історії української мови в XVII віці*, Lwów 1941, s. 3 i n.

¹⁰ A. Brückner, *Spory o Unię w dawnej literaturze*. „Kwartalnik Historyczny”, R. X, 1896, s. 579.

¹¹ Por. S. Kozak, *Polacy i Ukraińcy...*, s. 15.

¹² A. Żurawski, *Uwagi...*, s. 53.

kanonach i wzorach. Ze względu na pokrewieństwo języków ruskich i polskiego Dobryłowski czerpał z ich zasobów leksykalnych bez ograniczeń, najwyraźniej uznając je za zrozumiałe dla współczesnego mu odbiorcy. Część wyrazów uznał jednak za potencjalnie niejasne. W dążeniu do maksymalnego zrozumienia tekstu Ewangelii i kazania tłumaczył niektóre wyrazy z języka cerkiewnoruskiego: *поясъ оусмешъ, то есть: шкураный* (209/1), *мзда вашиа, то есть заплата* (251/30), *отрасли, чили роуцки* (163/17), *чрезъ дмлателей, чили робитников* (63/6) i in.¹³, jak również niektóre polonizmy: *на зневаги, чили гоненія несправедливіи* (12/24), *фалишу, чили неправди* (81/19) i in.

Definicję leksemu wprowadza się tu najczęściej za pośrednictwem słówka *чили*, występującego także w postaci: *чим*, a nawet *чилиы* (co odpowiada ukraińskiemu charakterowi stwardnienia głosek). Z tekstu wynotowano 161 tego typu konstrukcji. Świadczą one o dążeniu autora do jasności tekstu, unaoczniając zarazem rangę poszczególnych warstw językowych w omawianym zabytku.

Analiza ma na celu wykazanie, jakiego rodzaju słownictwo autor klasyfikował jako potencjalnie niezrozumiałe (wyrazy części objaśnianej) i na jaki język (jakie języki) je tłumaczył (wyrazy części objaśniającej). Tak zanalizowane synonimy pozwolą określić, jaka warstwa językowa – ruska (ukraińska, białoruska), cerkiewna czy też polska – dominuje w utworze.

Niektóre zwroty z *чили* są oczywiście zwykłymi zwrotami „stylistycznymi”, nie „objaśniającymi” – zostały więc wyłączone z analizy. Są one metaforami bądź rozbudowanymi porównaniami: *мы до землм, чили до речей дочеснихъ нахилени* (105/26), *дати душу свою, чили житіє* (159/18), *сынове царствія небеснаго, чили вибраніи до небесній хвалы* (245/9) i in., bądź też wprowadzeniem równoległych terminów (z obrządku prawosławnego i łacińskiego), w końcu – tłumaczeniem nazw świąt cerkiewnych: *недмля седмдесятици, чили старозапустная* (136/14), *недмля шестая поста, чили цветоносная* (161/3) i in. W wyniku tego zabiegu pozostało 148 par wyrazów, m.in.: *легеонъ чили полкъ* (92/22), *подобіє, чили прикладъ* (101/21), *завидовати, чили заздростити* (103/11), *оздобу, чили украшеніє* (114/22), *взрокъ, чили видмніє* (117/3), *отримаєте, чили посядете* (136/2), *прокаженныхъ, чили струпомъ обсыпанныхъ* (110/11) i in., co daje 255 jednostek wyrazowych (w części przypadków poszczególne komponenty zwrotu mogą się powtarzać).

Już na pierwszy rzut oka widać, że analizowane zwroty są bardzo różnorodne zarówno pod względem budowy, jak i treści. Pełna ekwiwalencja części objaśnianej i objaśniającej, jak w zwrotach: *дщеръ, чили дочка* (226/27), *водоносъ, чили*

¹³ Tłumaczone są także skomplikowane, wyszukane i rozbudowane metafory biblijne, ale pozostają one poza obrębem analizy.

ведро (15/10), *защищеніе*, *чили оборона* (209/9), *приключитися*, *чили притрафити* (220/28), *блудного*, *чили марнотравного* (139/2), *со одромъ*, *чили з' постелю* (149/19) i in. nie jest regułą. Przeciwnie – tłumaczenie nie zawsze bywa dokładne: *волную оувагою*, *чили мыслію* (132/2), *съ отраслями*, *чили роцками финиковыми* (163/11) i in. Niekiedy notuje się zawężenie znaczenia wyrazu objaśniającego w stosunku do objaśnianego: *чистою одеждою*, *чили сукіенкою* (169/4), *оружіе же*, *чили мечъ* (205/4), *волхвовъ*, *чили оныхъ трієхъ царей* (257/21), *рабовъ*, *чили слугъ* (63/24) i in., bądź jego rozszerzenie: *декретъ*, *чили волю* (246/4), *брата*, *чили ближнего* (187/2) i in.

Dodatkowo, ten sam wyraz w różnych miejscach tekstu może mieć inne tłumaczenie: *подобіе*, *чили прикладъ* (101/21) i *подобіе*, *чимъ приповестъ* (134/3) i in. Zdarzają się również frazy, gdzie ten sam wyraz jest raz objaśnianym, innym razem objaśniającym: *взрокъ*, *чили видмніе* (117/3), *позрмніе*, *чили взрокъ* (44/23), *въ часм гоненія*, *чили преслмдованія хрїстіанъ* (152/17), *зневаги*, *чили гоненія несправедливїи* (12/24) i in. Z punktu widzenia badań leksykograficznych taki zabieg trudno przecenić: dążąc do zróżnicowania synonimów, autor poszerza ich wachlarz, co umożliwia prześledzenie rozwoju znaczeń zasobów leksykalnych języka białoruskiego i ukraińskiego.

Ze względu na potencjalnych odbiorców *Nauk...* (Rusinów) zdaje się, że pożądanym modelem byłoby tłumaczenie wyrazu (bądź frazy) z języka cerkiewnosłowiańskiego bądź polskiego na ruski (prosty). Tego typu zwroty odnajdujemy w tekście dość często: *въ ладїю*, *чили въ човенъ рыбацкїй* (77/5), *естественнымъ*, *чили природнымъ способомъ* (254/8), *защищеніе*, *чили оборона* (209/9), *оупавъ въ вонтливість*, *чили недоверствїе* (5/2) i in. Najczęściej jednak – co nie dziwi – w części objaśniającej omawianych zwrotów użyto wyrazów ogólnosłowiańskich lub przynajmniej wyrazów wspólnych dla języków białoruskiego, ukraińskiego i polskiego. Odpowiada to tendencji autora do uczynienia tekstu maksymalnie zrozumiałym dla odbiorcy: *оуфность*, *чили надмя* (75/25), *оупекла опрмснокъ*, *чили подпалокъ* (213/18), *фалиу*, *чили неправди* (81/19), *декретъ*, *чили волю* (246/4), *въ коновъ*, *чили котель* (239/13) i in.

Jak widać, objaśnianymi mogą być nie tylko cerkiewizmy, słowa staroruskie i polonizmy (a wśród nich także wyrazy niesłowiańskie, które za pośrednictwem języka polskiego znalazły się w językach ruskich), ale także słowa ruskie. Co więcej, niekiedy komponenty zwrotu nie wymagają specjalnego tłumaczenia: *мыслью*, *чили розумомъ* (89/28), *друга*, *чили прїятеля* (237/25), *елятва*, *чили присяга* (227/13) i in. Jako wyrazy ogólnosłowiańskie obie części zwrotów powinny być dobrze zrozumiane. Podobne zwroty świadczą o dążności do wzbogacenia leksyki, a więc mają cel stylistyczny.

Zabieg stylistyczny stanowią także zapewne konstrukcje, gdzie ewidentny polonizm objaśniany jest innym polonizmem, por.: *любезности, чим сльа пожадливости* (54/16), *посилку, чили покарму* (184/17) i in. Analogicznie rzecz się ma z cerkiewizmami. Bywa, że cerkiewizm z części objaśnianej w części objaśniającej przybliżony jest przez wprowadzenie innego cerkiewizmu: *ходатанцею, чили заступницею* (225/4), *въ посещеніи, чим въ часм пришествія* (206/25) i in. Uzasadniona jest teza, że użycie synonimów nawet w obrębie tego samego języka mogło przybliżyć wyraz czytelnikom. W tekście występują jednak również frazy, zdawałoby się, nieuzasadnione z punktu widzenia dążności do uczynienia tekstu zrozumiałym dla czytelników. Mowa tu o zwrotach, w których w części objaśniającej występują ewidentne polonizmy czy cerkiewizmy, podczas gdy w części objaśnianej mamy wyraz powszechnie notowany w językach ruskich przynajmniej od XVI wieku¹⁴: *оздобу, чилиоукрашеніе* (114/22), *нерозумомъ чили безуміємъ* (103/2), *поганъ, чили ідолослужителей, то естъ балвохваляцовъ* (210/2) i in. Zabieg ten tłumaczyć może orientacja pisarza na istniejące utwory autorów polskich i cerkiewnoruskich.

Cerkiewizmy i polonizmy mogą być stosowane jako ekwiwalenty, tzn. niekiedy polonizm tłumaczony jest przez cerkiewizm: *покусами, чили до слога подущеніємъ* (188/3) czy (częściej) cerkiewizm tłumaczony jest polonizmem: *подобіе чили приповмсть* (134/3), *нмкий видъ, чили родзай* (237/5), *старстемъ, чили склонностемъ* (236/25) i in.

Porównanie frekwencji obu tych zabiegów sugeruje, że język polski pisarz uznał za bardziej zrozumiały od języka cerkiewnosłowiańskiego. Większa frekwencja polonizmów mogła być – poza znajomością polszczyzny – uwarunkowana misją religijną unickich bazylianów, a także sugerowanym przez autora polskim pierwowzorem. Świadczą o tym zwroty tradycyjnie używane w liturgii katolickiej: *Агнца, чили баранка* (200/16), *жалъ, чили актъ щирои и правдивои скрухи* (84/28), *самъ единъ згладивъ, чили знеслъ грехи всм свмта* (167/5) i in.

Poza tym, o czym już wspomniano, cerkiewizmy w językach białoruskim i ukraińskim są znacznie rzadsze niż np. w rosyjskim, a ich obecność w zabytkach ograniczała się do wyrazów, które występowały w języku literackim (starobiałoruskim i staroukraińskim) znacznie wcześniej – w XVIII wieku były więc przez pisarzy zapewne traktowane jako rodzime elementy ich języka.

¹⁴ Por. występowanie danych wyrazów w pracach: Д.Р. Гринчишин, Л.Л. Гумецька, І.М. Керницький (ред.), *Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.*, Кіїв 1977–1978; А.І. Жураўскі (ред.), *Гістарычны слоўнік беларускай мовы*, Мінск 1982; У. Анічэнка, *Слоўнік мовы Скарыны*, Мінск 1984.

Z przytoczonych przykładów wynika, iż autor nie zawsze podaje dokładny ekwiwalent wyjaśnianego słowa, co znajduje odzwierciedlenie w budowie zwrotów. Zwroty takie, jak: *вонности, чили запаху* (161/25), *на оучрежденіе, чили оучту* (162/12), *плоду, чили овощей* (170/17), *по оутвержденію, чили оугрунтованю* (210/6) i in., w których jednemu wyrazowi części objaśnianej odpowiada jeden ekwiwalent w części objaśniającej, nie stanowią reguły w analizowanym utworze.

Niekiedy autor ucieka się do objaśnienia opisowego, najwyraźniej nie znajdując dokładnego odpowiednika jakiegoś wyrazu. W części objaśniającej może więc występować dwuwyrazowe bądź jeszcze dłuższe objaśnienie potencjalnie niezrozumiałego słowa: *занедбовати, чили мимо пускати* (195/7), *щиростію, чили простотою обычаевъ* (199/27), *въ посмищеніи, чили въ часм приишествія* (206/25), *прелюбміца, чили без'встыдная наложница Иродова* (226/20), *алчуцихъ, чили тихъ, которіи прагнуті справедливости* (251/17) i in.

Problemy analizy

Analiza leksyki *Nauk...* nastrocza wielu problemów. Należy do nich m.in. kwestia zapożyczeń. Tłumacze od zawsze stali przed zadaniem doboru odpowiedniego ekwiwalentu spośród istniejących środków. W wieku XVII–XVIII „zruszczanie” wyrazów czy też mniej lub bardziej dokładnie transliterowanie polskich leksemów było powszechną praktyką¹⁵. Analizując zapożyczenia w języku zabytku, pamiętać należy również o wspólnych polsko-ukraińskich leksemach gwar Ukrainy Zachodniej.

Oprócz genezy i obszaru występowania, za wyróżnik zapożyczeń z języka polskiego przyjąć należy także cechy morfologiczne, fonetyczne i semantyczne. Teoretycznie pożyczką z języka X do języka Y jest każdy wyraz z języka X przejęty przez język Y¹⁶. Jest jednak oczywiste, że formy przejęte z innych języków z czasem asymilują się na gruncie języka zapożyczającego i nie brzmią w nim obco czy niezrozumiale. Wychodząc z tego założenia, przy analizie konkretnych form brano pod uwagę czas pojawienia się słowa w danym języku. W końcu XVI i w XVII wieku polonizmy były obecne we wszystkich gatunkach piśmiennictwa białoruskiego i ukraińskiego. Pokazna liczba polonizmów przetrwała tak w języku białoruskim, jak ukraińskim, stając się stabilną częścią ich

¹⁵ I. Galster, *Formalna adaptacja obcych imion własnych na gruncie staroruskim*, „Slavia Orientalis” 1978, nr 3, s. 105.

¹⁶ W. Witkowski, *Elementy polskie w języku Kotlarewskiego*, „Slavia Orientalis” 1970, nr 2, s. 207.

systemu leksykalnego. Często notuje się przy tym rozszerzenie czy też zmianę znaczenia zapożyczonego leksemu w stosunku do pierwotnego polonizmu¹⁷.

W niektórych zabytkach XV–XVIII wieku polskie wpływy są na tyle silne, że oprócz środków użytych ze względu na wymogi komunikacyjne (słowa, których brakowało w słowniku białoruskim czy ukraińskim), pojawiają się wyrazy, których użycie nie jest niezbędne z punktu widzenia zasobu leksykalnego – słownictwo to stanowiło jedynie zjawisko przejściowe w językach ruskich. Za polonizmy, które wymagały tłumaczenia Rusinom, można uznać więc słowa, których nie notuje *Словарь украинского языка* pod redakcją B. Hrinchenki. Słownik ten, wydany w latach 1907–1909, jest oparty na materiałach wcześniejszych. Pomocne są również *Словарь белорусского наречия* I. Nosowicza (Санкт-Петербург 1870) i słowniki współczesnych języków ukraińskiego i białoruskiego. Zrozumiała jest konieczność odwoływania się do słowników historycznych tych języków. Ogółem analizę oparto na blisko 50 źródłach słownikowych: słowników historycznych, etymologicznych czy współczesnych języków słowiańskich.

Należy przy tym zwrócić uwagę na niezadowalający stan leksykografii historycznej języków zachodnioruskich¹⁸. Do dziś brakuje pełnych wydań słowników historycznych języka białoruskiego¹⁹ czy ukraińskiego²⁰, niezbędnych do prowadzenia tego rodzaju badań. Istniejące słowniki²¹, poza pracą I. Sriezniewskiego, są dalekie od doskonałości: tłumaczenia zawartych tam leksemów są często niewystarczające, ograniczają się do przykładu czy odsyłacza lub zawierają błędy definicyjne typu *idem per idem* np.: *приятель* ‘асаб. да прыязнъ, прыятельство’²² albo np. *внутронсти* ‘внутряня’²³, często też brak formy wyjściowej objaśnianego słowa²⁴.

Źródła te rejestrują jednak przypadki użycia poszczególnych leksemów w ogóle, wskazując, że dany wyraz funkcjonował na gruncie ruskim, co jest

¹⁷ В. Чабаненко, *Західнослов'янізми в ролі експресивних засобів української мови*, „Мовознавство” 1972, nr 4, s. 52; А. Булыка, *Лексичныя запозычанні ў беларускай мове XIV–XVIII стст.*, Мінск 1980, s. 8; *Історія української мови. Лексика і фразеологія...*, s. 227.

¹⁸ Na problem ten zwracał również uwagę m. in. Adam Fałowski, analizując język przekładu *Katechizmu jezuickiego z XVI w.* Por. A. Fałowski, *Język ruskiego przekładu...*, s. 58.

¹⁹ *Гістарычны слоўнік беларускай мовы...*

²⁰ Д.Р. Гринчишин (ред.), *Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.*, Львів 1994.

²¹ А.Р. Гринчишин, Л.Л. Гумецька, І.М. Керницький (ред.), *Словник староукраїнської мови XIV–XV ст...*; П. Житецький, *Словник книжної української мови за рукописом XVII віку*, [w:] idem, *Нарис...*; У. Анічэнка, op. cit.; И. Срезневский, *Материалы для словаря древнерусского языка*, т. 1–3, Москва 1958.

²² У. Анічэнка, op. cit., т. 2, s. 136.

²³ П. Житецький, *Словник книжної української мови...*, s. 141.

²⁴ Ibidem.

szczególnie istotne w kontekście analizy zapożyczeń. Ważnym i pomocnym źródłem jest wydany w 1859 r. słownik Lindego²⁵, który odpowiada z grubsza stanowi języka polskiego w momencie powstawania *Nauk...* Pozwala on zidentyfikować jako polonizmy słowa nieużywane we współczesnej polszczyźnie – np. *spowiednica* ‘konfesjonał’.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty (złożoność analizy zapożyczeń przy braku pełnych źródeł słownikowych) trudno oczekiwać, że wyniki badań będą bezdyskusyjne i jednoznaczne.

Rezultaty analizy

I. Po dokonaniu analizy zwrotów ze słówkiem *чули* wyrazy części objaśnianej (uznanych przez autora za potencjalnie niezrozumiałe) i objaśniającej zwrotów (autor klasyfikował je jako znane, powszechne) po ustaleniu ich pochodzenia pogrupowano według następujących kategorii:

1. Wyrazy ogólnosłowiańskie o rodowodzie prasłowiańskim. W części objaśnianej zidentyfikowano 30 takich wyrazów, w części objaśniającej – 38.

2. Cerkiewizmy bądź wyrazy staroruskie, nienotowane we współczesnych językach białoruskim i ukraińskim. Grupa ta obejmuje trzy podgrupy: wyrazy wspólne dla języka cerkiewnosłowiańskiego i staroruskiego, ewidentne cerkiewizmy i wyrazy staroruskie. Ogółem w części objaśnianej reprezentuje ją 37 wyrazów, w tym 14 wyrazów wspólnych, 20 cerkiewizmów i 3 wyrazy staroruskie. W części objaśniającej wyrazów tej grupy jest tylko 6, z czego 4 to wyrazy wspólne dla obu języków, a 2 to cerkiewizmy.

3. Wyrazy z pochodzenia cerkiewnosłowiańskie zapożyczone do języków zachodnioruskich. W ramach tej grupy wydzielono podgrupę wyrazów zapożyczonych tylko do jednego z tych języków. Wśród wyrazów objaśnianych takich leksemów jest 28, z czego 18 przejęły oba języki, 8 wyrazów notuje obecnie tylko język ukraiński, 2 są typowe tylko dla języka białoruskiego. W części objaśniającej te proporcje są odmiennie. Ogółem wyrazów pochodzenia cerkiewnego wynotowano 5 – cztery z nich występują w obu językach, jeden jest notowany tylko w języku ukraińskim.

²⁵ S. B. Linde, *Słownik języka polskiego*, wyd. 2, t. 1–4, Lwów 1855 (przedruk – Poznań 1951). Jak zauważa J. Kolbuszewski, wydanie tego słownika było wydarzeniem doniosłym nie tylko w skali kultury polskiej – miało szersze znaczenie europejskie. Linde jako pierwszy rejestrował dawne znaczenia wyrazów, ilustrując je cytatami: „dzięki więc jego wnikliwości dziś możemy dokładniej śledzić dzieje interesujących nas pojęć”. Por. J. Kolbuszewski, *Kresy*, Wrocław 2002, s. 18.

4. Polonizmy nienotowane we współczesnych językach zachodnioruskich. W części objaśnianej jest ich 15, w części objaśniającej – 25.

5. Wyrazy pochodzenia polskiego i niesłowiańskiego, które za polskim pośrednictwem znalazły się w językach zachodnioruskich (przynajmniej w jednym z nich). Z części objaśnianej wynotowano 25 takich leksemów, ale 2 z nich występują tylko w języku ukraińskim i nie występują w literackim języku białoruskim. Z części objaśnianej wynotowano już 40 takich leksemów, a 6 z nich jest notowanych tylko w języku ukraińskim.

6. Wyrazy wspólne dla języków polskiego, ukraińskiego i białoruskiego, nienotowane przez słowniki języka staroruskiego ani języka cerkiewnosłowiańskiego. W części objaśnianej jest ich 3, w części objaśniającej – 13.

7. Wyrazy wspólne dla języków ukraińskiego i białoruskiego, nienotowane w polszczyźnie. Grupa ta, siłą rzeczy, obejmuje też wyrazy wspólne dla wszystkich języków wschodniosłowiańskich, powstałe m.in. w okresie staroruskim (ze względu na charakter zabytku nie skupiono się na przynależności wyrazów do języka rosyjskiego). W części objaśnianej występuje 1 taki wyraz, w części objaśniającej aż 13.

8. Wyrazy charakterystyczne dla języka ukraińskiego bądź białoruskiego. Ustalono, że w części objaśnianej są 2 ukrainizmy. Brak natomiast wyrazów wyłącznie białoruskich. Podobnie w części objaśniającej – brak białorutenizmów, wyrazów ukraińskich jest natomiast 6.

9. Wyrazy niejasne, różnego rodzaju nowotwory, hybrydy. Podobnych form w części objaśnianej jest 7, w części objaśniającej – 2.

Z porównania frekwencji wynika, że w części objaśniającej jest zdecydowanie mniej cerkiewizmów i wyrazów staroruskich nienotowanych we współczesnych językach białoruskim i ukraińskim (37 w części objaśnianej, 6 – w objaśniającej), a także wyrazów występujących w językach ukraińskim i białoruskim, które są z pochodzenia cerkiewizmami (odpowiednio 28 – w części objaśnianej i 5 w objaśniającej). Więcej jest natomiast polonizmów (25 vs. 15 w części objaśnianej) i wyrazów, które za pośrednictwem polskim znalazły się w językach białoruskim i ukraińskim (odpowiednio 40 i 25). W części objaśniającej więcej jest również form rodzimych, wspólnych dla obszaru dialektalnego białorusko-ukraińskiego, a także takich, które poza językami ukraińskim i białoruskim występują również w języku polskim.

Dla przejrzystości, w tabeli nr 1 zamieszczono zebrane wyniki badań.

Tabela 1. Podział analizowanych wyrazów ze względu na ich pochodzenie

Pochodzenie		Część objaśniana				Część objaśniająca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 – wyrazy ogólnosłowiańskie o rodowodzie prasłowiańskim		30		20,3%		38		25,7%	
2 – cerkiewizmy, wyrazy staroruskie, nienotowane we współczesnych językach białoruskim i ukraińskim	wspólne	37	14	25%	9,5%	6	4	4,1%	2,7%
	scs		20		13,5%		2		1,4%
	st.-rus		3		2,0%		0		0,0%
3 – z pochodzenia cerkiewizmy, zapożyczone do języków zachodnioruskich	wspólne	28	18	19%	12,2%	5	4	3,4%	2,7%
	ukr.		8		5,4%		1		0,7%
	brus.		2		1,4%		0		0,0%
4 – polonizmy nienotowane we współczesnych językach białoruskim i ukraińskim		15		10,1%		25		16,9%	

cd. tabeli 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 – wyrazy pochodzenia polskiego i innych języków obcych, które za polskim pośrednictwem znalazły się w językach białoruskim i ukraińskim	wspólne	25	23	16,9	15,5%	40	34	27,1%	23%
	ukr.		2		1,4%		6		4,1%
	brus.		0		0%		0		0%
6 – wyrazy wspólne dla języków polskiego, ukraińskiego i białoruskiego; rozwinęły się równolegle w wymienionych językach		3			2,0%		13		8,8%
7 – wyrazy wspólne dla języków ukraińskiego i białoruskiego		1			0,7%		13		8,8%
8 – wyrazy typowe dla języka ukraińskiego bądź białoruskiego		2			1,4%		6		4,1%
9 – wyrazy niejasne, nowotwory, hybrydy		7			4,7%		2		1,4%
Razem		148			100,0%		148		100,0%

Powyższa statystyka potwierdza tezę o próbie zbliżenia języka *Nauk...* do żywego języka ich potencjalnych odbiorców. Stosunkowo duża liczba polonizmów jest zapewne spowodowana wpływem polskich źródeł, z których niewątpliwie korzystali unicy bazylianie.

II. Badanie zasobu leksykalnego zabytku miało jeszcze jeden aspekt – sprawdzenie, czy wyrazy z tekstu *Nauk...* niezależnie od ich pochodzenia są notowane w językach uwzględnionych w analizie leksyki tekstu. Umożliwiło to ustalenie „zbieżności” z uwzględnionymi w analizie językami: cerkiewnosłowiańskim, staroruskim, polskim i tzw. ruskimi²⁶. Jest przy tym oczywiste, że niektóre wyrazy są wspólne dla dwóch, a nawet wszystkich wymienionych języków.

Ostatecznie stwierdzono, iż w części objaśnianej występuje 94 wyrazów ruskich, 80 wyrazów polskich, 78 cerkiewnosłowiańskich, co oznacza, że kaznodzieja korzystał głównie z ekwiwalentów ruskich (63,5% form), następnie polskich (54,1%) i cerkiewnosłowiańskich (51,4%).

W części objaśniającej cerkiewizmów było już znacznie mniej – stanowiły one 27,7% (43 formy), wzrósł natomiast odsetek wyrazów ruskich (80,41% – 119 form) i polskich (68,9% – 114 wyrazów).

Tabela 2. Występowanie analizowanych wyrazów w wybranych językach słowiańskich

Wyrazy	Wszystkie	Cerkiewizmy	Ruskie	Polskie
Część objaśniana	148	78	94	80
	100%	51,4%	63,5%	54,1%
Część objaśniająca	148	43	119	114
	100%	27,7%	80,4%	68,9%

Wyniki tego badania potwierdzają poprzednie spostrzeżenia – w analizowanych zwrotach zauważa się, choć nieznaczną, przewagę ekwiwalentów pochodzących z języków „ruskich”. Tłumacz dąży do przekazania języka współczesnego, cerkiewizmy czy słowa staroruskie traktuje jako niezrozumiałe. Wyraźnie zaznacza się też warstwa polska w leksyce utworu.

²⁶ Brano pod uwagę występowanie wyrazu przynajmniej w jednym z dwóch języków grupy – ukraińskim lub białoruskim.

Zabieg tłumaczenia (*чуну*) sprawia, że jednostki leksykalne języka cerkiewnosłowiańskiego, języków białoruskiego, ukraińskiego i polskiego wchodzą w układy synonimiczne, poszerzając zasób leksykalny tłumacza. Ich status w wyrażeniu procentowym jest niemal identyczny. Większość jednostek leksykalnych zabytku, uznanych za polonizmy, została na trwałe zapożyczona do języków ukraińskiego i białoruskiego. Polonizmów nienotowanych w językach białoruskim i ukraińskim jest zaledwie 18 (12,2%) w części objaśnianej i 34 (23%) w części objaśniającej zwrotów.

Zakończenie

W zabytku wyraźne jest dążenie autora do uczynienia tekstu maksymalnie zrozumiałym dla czytelników. Dlatego też, jak się zdaje, dobór ekwiwalentów nie był przypadkowy: pisarz najchętniej odwołuje się do wyrazów ogólnosłowiańskich, chętnie też korzysta z zasobów leksykalnych żywego języka. Wprowadzenie konstrukcji synonimicznych ma dodatkowe znaczenie dla rozwoju leksyki: utrwala i czyni bliższymi słowa niezrozumiałe, na trwałe mocując je w języku.

Większość leksemów zabytku, zakwalifikowanych jako polonizmy, została na trwałe zapożyczona do języków ukraińskiego i białoruskiego. Są to na ogół pożyczki stare, mające za sobą dłuższą tradycję językową. Wyrazy te należy wręcz traktować jako rodzime, rozwijające się równolegle w różnych systemach językowych, w warunkach ścisłego kontaktu języków ruskich i polskiego w wiekach XIV–XVIII. Podobnie przedstawia się kwestia cerkiewizmów i wyrazów odziedziczonych z epoki staroruskiej. Obecność cerkiewizmów w tekście religijnym jest oczywista – ciągle odwoływanie się do Pisma Świętego transponuje słownictwo. Wzory cerkiewne, utrwalone wielowiekową tradycją przekładu Biblii, były dla Dobryłowskiego cennym źródłem terminologii religijnej.

Użyte w *Naukach...* słownictwo odzwierciedla stan języka literackiego ziem ukraińskich w XVIII wieku. Będący w użyciu warstw oświeconych język oraz kultura polska odgrywały w kształtującym się ukraińskim języku literackim ogromną rolę; polszczyzna służyła nie tylko jako narzędzie wypowiedzi literackiej, ale również jako inspiracja. Wpływ polszczyzny utrzymywał się i później, oddziałując na udoskonalony już literacki język miejscowy, powstały w oparciu o dwa źródła – pisany język cerkiewnosłowiański i żywy język ludności.

W języku *Nauk...* widoczne są sprzeczności, które cechowały ukraiński język literacki końca XVIII wieku: walka *nowego* opartego na elementach ludowo-potocznych ze *starym* – bazującym na tradycji cerkiewnosłowiańskiej i staroksiąż-

kowym języku literackim. Typowy dla zabytku, jak również ówczesnego języka literackiego był silny wpływ języka polskiego, uwarunkowany szeregiem czynników historycznych i kulturowych. Zarazem był to język na miarę epoki, odpowiadający jej potrzebom, a także potrzebom jego użytkowników.

Резюме

„Послав спекулятора, чили ката” лексические эквиваленты в украинском варианте „простой мовы” 18 века (на материале „Науки Парохияльных” Юлиана Добрыловского, Почаев 1794)

Напечатанные в почаевской типографии издания являются превосходным материалом для анализа взаимоотношений славянских языков. К сожалению, внимание исследователей привлекают скорее всего светские памятники, сочиненные на так называемой „простой мове”, например *Политика свецькая* (1770) или *Книжиця для господарства...* (1788), в то время как изданная там в XVIII веке религиозная литература тоже хорошо отражает черты тогдашнего „живого” языка. В настоящей статье проводится анализ изданного в 1794 году сборника проповедей *Науки парохияльниѣ...* Чтобы сделать текст как можно более понятным для читателей (и слушателей), проповедник толкует некоторые термины, которые ему кажутся потенциально непонятными для слушателей. Для этого он использует слово *чили*, напр. *поясь оусмеишь, то есть: шкуруный* (209/1). Анализ компонентов данных фраз (в общем 148 пар), заключающих в себе как „русские” (украинские, белорусские), польские, так и церковно-славянские элементы приводит к выводу, что в тексте преобладает украинская языковая стихия, так как большинство проанализированных в ходе исследования лексических единиц относятся именно к украинскому языку. Благодаря этому анализ языка *Науки парохияльных...* дополняет исследования украинского литературного языка XVIII века.

Summary

“Poslav spekulatora, czyli kata” lexical equivalents of the Ukrainian variant of so called “prosta mova” of 18th century (based on the “Nauki parochialnija” by Julian Dobryłowski, Pochayev 1794)

The subject of the study is the lexic of a relic of Ruthenian literature titled *NAUKI PAROCHIALNIJA na Neděli i S(vja)ta urocizystja cělogo Roku, z E(vange)lij podług obrjadu greckeska-go raspolozennych, z pridaniem pri konci nauki pri, szljubě, dvoch nauk pri pogrebenii, i na Pjatk s(vja)tago velikago posta, o Strastech Chr(is)tovych*, further called *Nauki*, edited in 1794. The analyzed composition of homilies was created in one of the most resilient centers of Greek Catholic Eastern Rite who were well known for their attachment to Ruthenian culture and language, in Poczajow in Wolyn and it was designated for Eastern Rite priests and believers of Eastern Rite confines dioceses.

The composition of written in Cyrillic alphabet homilies is attributed to Julian Dobrylovski. According to the author assumption, language of the piece, close to simple – spoken language was

supposed to be understood for believers of Greek Catholic Church. Thanks to this *Nauki* is the remarkable material for the analysis of factual state of language in the century it was created in.

The subject of the analysis were the definitions of the lexemes that occur in the relic which include element *it means*, for example: *vú ladiju, čili vú čovenú rybackij* and others (148 pairs). The study proved that the majority of lexemes belong to the Ukrainian language. Therefore, the analysis of the language of *Nauki* has a capital meaning in the studies on the development of Ukrainian literature language. It fulfills already existing notices and language description of the period of their creations with the religious, pulpit literature work. This kind of literature was omitted in linguistic description till recently with various causes (among all with the conviction that this genre works are written in fossilized Church Slavonic language).

Tatiana Kołodyńska
Lublin

Кореляція за дзвінкістю/ глухістю у консонантизмі українських надсянських говірок

Статтю присвячено розгляду системи консонантизму українських надсянських говірок. Тут звернено увагу на особливості корелятивної системи приголосних за ознакою участі голосу і шуму, зокрема на тенденції, які виявляють щодо оглушення дзвінкі приголосні у позиції кінця префікса, середини слова, кінця слова та у міжслівній позиції перед глухими й дзвінкими приголосними. Ключові слова: діалектологія, фонетико-фонологічний рівень, консонантизм, кореляція за дзвінкістю/глухістю.

Серед диференційних рис українського діалектного консонантизму важливою є ознака голосу й шуму в творенні приголосних. У сучасній українській мові фонеми попарно протиставляються за кореляцією дзвінкість/ глухість¹, утворюючи два ряди приголосних: глухі й дзвінкі. Кореляція глухості й дзвінкості є характерною взагалі для української мови, як і для інших слов'янських. У всіх українських діалектах виявляється кореляція за глухістю і дзвінкістю таких фонем: |п| : |б|, |т| : |д|, |с| : |з|, |ш| : |ж|, |х| : |г|, |ч| : |дж|, |ц| : |дз|, |к| : |г|, і м'які відповідники: |т'| : |д'|, |с'| : |з'|, |ц'| : |дз'|, а у частині діалектів – |ф| : |ф'|.

Як зазначається у науковій літературі, у всіх говорах української мови кореляція глухості/ дзвінкості виступає в усіх позиціях перед голосними, а в частині говорів – також перед приголосними і в кінці слів. Найбільш поширена ця кореляція у поліських, волинських та надсянських говорах. Позиційних обмежень зазнала кореляція за глухістю / дзвінкістю в багатьох південно-західних діалектах. Так, у частині південно-західних українських говорів, зокрема, у наддністрянських (або опільських), дослідники відзначають перехід дзвінких приголосних у глухі перед глухими і в кінці слів перед глухими наступного слова (якщо немає паузи): *ворух* – *воруга*, *банка* – *бабок*, *вухка* (*вогка*), *лехка*, *буріт* (*борід*), *пітперти* та ін.²

¹ Сучасна українська літературна мова, ред. І. К. Білодід, Наукова думка, Київ 1980, с. 244.

² Ф. Т. Жилко, *Говори української мови*, Київ 1958, с. 75.

В українських надсянських говірках втрата приголосних досить помітна. Це говірки, що з північного сходу межують із наддністрянськими, а з заходу з польськими говорами.

Це явище помічаємо також у волинських говірках, в яких „дзвінкі приголосні здебільшого втрачають цілком або частково голос перед глухими [...]”³. Отже, у частині південно – західних говірок відбулася асиміляція дзвінких перед глухими в середині й занепад дзвінкості приголосних у кінці слів. Саме тому в цих говірках кореляція за глухістю/ дзвінкістю виявляється тільки перед голосними і перед сонантами, а загалом можна говорити про неоднорідність говірок південно-західного наріччя щодо рівноваги у дистрибуції членів корелятивних пар: тенденцію частини говірок до оглушення дзвінких у переважній кількості позицій (наддністрянські, волинські та інші) та прагнення до збереження дзвінкості приголосних перед глухими (частина подільських). Тенденція до збереження дзвінкості характерна для частини говірок південно-східного наріччя⁴.

У науковій літературі переважає думка, висловлена Ф. Т. Жилком, за якою „у багатьох південно-східних говорах (за винятком степових – дзвінкі приголосні *б, д, з, дз, дж, ж, г, ґ*, маючи так звану сильну початкову форму, тобто початок цих звуків сильніший, ніж кінець (у позиції кінця складу), не втрачають своєї дзвінкості, тобто не наближаються у вимові до глухих *п, т, с, ц, ш, х, к*, і не переходять у них, напр.: *дуб, мороз, дід, ворог, рибка, одкидат, казка, лагти* та ін.”⁵.

Матеріалом для аналізу системи консонантизму послужили власні матеріали записів, зібрані від найстарших носіїв українських надсянських говірок. Обстежувані населені пункти: Гай (Gaje), Ніновичі (Nienowice), Кальників (Kalników), Лази (Jazy), Хотинець (Chotyniec), Залаззя (Załazie), розташовані у південно-східному воєводстві Польщі (підкарпатському).

Для системи консонантизму українських надсянських говірок південно-західного діалектного масиву, який частинно проходить територією Польщі, важливим є те, що дзвінкі приголосні перед наступним глухим, як правило, оглушуються. Тенденція втрачати дзвінкість у згаданих позиції характеризується великою частотністю.

³ Ibidem, с. 115.

⁴ Див. Л. Фроляк, *Кореляція за дзвінкістю/ глухістю в українських говірках Донеччини*, [в:] *Лінгвістичні студії*, вип. 11, ч. 2, Донецьк 2003, с. 601–605; idem, *Корелятивна система приголосних за дзвінкістю / глухістю в східностепових говірках*, [в:] *Діалектологічні студії* 5, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів 2005.

⁵ Ф. Т. Жилко, *op. cit.*, с. 145.

Частотність функціонування деяких фонем у говорах південно-західного наріччя відрізняються від їх частотності у літературній мові внаслідок відмінностей у протіканні фонетичних процесів, позиційного обмеження вияву одного з репрезентантів – членів кореляції за дзвінкістю/ глухістю, відсутності фонем у системі говіркового консонантизму та інше.

Обмежено вживаними або відсутніми у частині досліджуваних говірок є фонема [дж], яка субститується відповідно [ч], у слові: *пчола* (укр. бджола), *кукуруза* (укр. кукурудза). Опозитивний до названої за дзвінкістю/ глухістю фонемі [ч] залишається у позиції перед голосним і сонорним приголосним без корелятивної пари.

Внаслідок асимілятивних процесів у складі звукових рядів фонем [ч], [д], [д'] з'являються звуки [дж], [ц]: *ходж бисті* 'укр. відповідник *хоч би ви*, 'pol. *choć byście*', *л'уцкій* 'pol. *ludzki*, укр. людський', *л'іджба* 'pol. *liczba*, укр. лічба'.

До рідко вживаних належить, в обстежуваних говірках, фонема [ɾ] (польський відповідник [g]), яка функціонує лише в обмеженій кількості слів, переважно у запозичених із польської мови формах, таких як: *agryst* / *i*angryst* 'pol. *agrest*', *ksin'gôwa* 'pol. *księgowa*', *slizgu* 'ślisko', *vugir* 'pol. *ugór*', *wu|guli* 'pol. *w ogóle*', *zygar* 'pol. *zegar*', *guz* 'pol. *guz*', *guʒôk* 'pol. *guzek*'. Частотність вживання звука [ɾ] підвищується за рахунок виявів фонемі [к] звуком [ɾ], який з'являється внаслідок повної асиміляції за дзвінкістю глухого [к] до наступного дзвінкого приголосного. Таке уподібнення спостерігається як у середині слова: *i*ag|by* 'укр. як би, поль. *jak by*', *tag|by* 'укр. так би, pol. *tak by*', так і у міжслівній позиції: *tag |byłu* 'укр. так було, pol. *tak było*', *tag žy* 'укр. так що, pol. *tak że*'.

Такі випадки одзвінчення є частиною загального асимілятивного процесу одзвінчення глухих приголосних перед дзвінкими у міжслівній позиції, у якому беруть участь також інші приголосні. Оглушення приголосних це фонетичний процес, який виступає в усіх слов'янських мовах. Учені вважають, що найбільш виразно помітна втрата дзвінкості (часткова або цілком) у префіксах перед глухими приголосними. Дзвінкі приголосні часто втрачають дзвінкість перед глухими та в середині слова, між словами і в абсолютному кінці слова⁶.

У сучасній українській мові найбільш вразливим щодо впливу наступного глухого приголосного є вияв фонемі [з] у складі префіксів, який піддається переважно повному оглушенню⁷. Матеріали досліджуваних

⁶ Ibidem.

⁷ В. М. Бранхов, *Явища асиміляції в консонантизмі української мови*, Наукова думка, Київ 1970, с. 61.

надсянських говірок дають змогу твердити, що в їх системі фонема [з] у морфологічній позиції прийменника – префікса відзначається відносною стійкістю щодо асиміляції до наступного глухого приголосного. У позиції перед шумними проривними **н, м, к**, виявом названої фонемі виступає переважно звук [с] (польський відповідник [s]): *s tub|ôu** ‘укр. з тобою, pol. z tobą’, *spy|tau** ‘укр. запитав, pol. spytał’, *spi|spôdu* ‘укр. зісподу, pol. spod spodu’, *s ta|kôm* ‘укр. з такою, pol. z taką’, *s |pańum* ‘pol. z panią’, *s ku|bitum* ‘pol. z kobietą’, *s kru|v’êu** ‘укр. з кров’ю, pol. z krwią’, *s kiruu*|ńikum* ‘укр. з керівником, pol. z kierownikiem’. Також у прийменнику **без** (говіркова форма *бис/бис*) – укр. через; послідовно виступає оглушення кінцевого з- перед глухими **м, н, к**: *bys |têbi* ‘укр. через тебе’, *bys |s’êstru* ‘укр. через сестру’, *bys ku|hô* ‘укр. через кого’, *bys |pana* ‘укр. через пана’, *bys sk|ladu* ‘pol. bez składu’, *bys |pôli* ‘укр. через поле’, *bys pud|wiri* ‘укр. через подвір’я’.

Відповідною кореляційною парою буде фонема [з] (поль. відп. [z]), що виступає завжди перед наступним дзвінким приголосним: *byz |n’êhu* ‘укр. через нього’, *byz |matu*, *byz du|rôhu* ‘укр. через дорогу, pol. przez drogę’, *byz |ladu* ‘pol. bez ład’, *byz mist* ‘через міст, pol. przez most’.

У сполученні кінцевої приголосної фонемі [з] у префіксі з наступним глухими фрикативними **с, х, ф**, та передньоязиковими **н, м**, її репрезентує звук [с] (лат. відп. [s]) у таких словах: *rusx|ôdit še*, *rus|xôžynyi** ‘укр. розходжений’, *ruspu|rôti* ‘укр. розпороти, pol. rozpruć’, *rustwu|ryti* ‘pol. roz-tworzyć, utworzyć’, *rusku|titi* ‘укр. розкрутити, pol. rozkręcić’, *ruspi|č’êta-nui*|i* ‘pol. rozpieczętowane’. Відповідно до цього, у тому ж префіксі **рус-** (укр. роз-), фонема [з] перед дзвінкими приголосними репрезентована є звуком [з] (лат. відп. [z]): *ruzma|i*oti* ‘поль. rozmaicie’, *ruzwa|iiti* ‘укр. розвалити’, *ruz|biti* ‘укр. розбити’, *ruzlu|mati* ‘укр. розломати’. У префіксі **без-/ бис-** у міжслівній позиції на стику префікса і кореня, перед глухим приголосним піддається переважно повному оглушенню: *bys |słôwa*, *bys plat|ni*, *bys |sôli*.

Фонема [з] у складі префіксів у позиції перед шумним проривним **н, м, к** репрезентується переважно звуком [с], перед глухими фрикативними **с, х, ф**. У позиції між двома дзвінкими [з] не втрачає своєї дзвінкості. Таким чином, досліджувані говірки у системі говорів української мови щодо рівноваги вияву глухих фонем дзвінкими та глухими звуками у позиціях, де дзвінкі піддаються впливу глухих, займають позицію, ближчу до тих говорів, які віддають перевагу збереженню дзвінкості приголосних⁸.

⁸ Див. Л. Фроляк, *op. cit.*

У міжслівній позиції фонема [з] реалізується звуком [ч] (поль. відп. |и|), у таких словах: *s čym / š čym* ‘укр. з чим’, *s čyi*ôm / š čyi*ôm* ‘укр. з числом, pol. z czyją’, *s čy|hô / š čy|hô* ‘укр. з чого, pol. z czego’, *s |čystuhu / š |čystuhu* ‘укр. з чистого, pol. z czystego’. Фонема [з] у прийменнику *z-*, у позиції перед голосним і напіввідкритими приголосними звуками не оглушується, тобто реалізується фонемою [з]: *z |liša* ‘укр. з лісу’, *z lu|d'mi* ‘з людьми’, *z da|lēka* ‘укр. здалеку’, *z |dômu* ‘укр. з дому’, *z ma|lym* ‘укр. з малим’, *z na|rôdum* ‘укр. з народом’, а також у позиції перед дзвінкими щільними і зімкненими приголосними: *z |b'eryhu* ‘укр. з берега’, *z |bôku* ‘укр. збоку’, *z da|lēka* ‘укр. здалека’, *z |dômu* ‘укр. з дому’, *z |wami* ‘укр. з вами’, *z |wui*kum* ‘укр. з вуйком’. У позиції перед глухими приголосними фонема [з] втрачає дзвінкість і реалізується фонемою [с] (поль. відп. |s|), напр.: *s fil'warku* ‘pol. z folwarku’, *s kut'rôhu* ‘укр. з котрого’, *s |pi*êtuhu* ‘укр. з п'ятого’, *s tam|tym* ‘pol. z tamtym’, *s tu|bôu** ‘pol. z toba’, *s |twary* ‘pol. z twarzy’.

Оглушення кінцевих передньоязикових приголосних в кінці слова, у міжслівній позиції: *žyt ubiç'êu** ‘укр. жид обіцяв’, *hrap ru|bati* ‘укр. рубати граб’, *pu|p'êryt n'êhu* ‘укр. перед ним’, *zup la|diti* ‘укр. зуб лікувати’. Однак, перед голосними і напіввідкритими приголосними звуками кінцевий звук у міжслівній позиції не оглушується, напр.: *Bôh dast*, *vid |n'êhu* ‘укр. від нього’, *vid |rôku* ‘укр. від року’, *pid ruka|wôm* ‘укр. під рукавом’.

В обстежуваних говірках оглушенню піддаються первинно дзвінки приголосні, які творять корелятивні пари [г] : [х], [д] : [т], [б] : [п], [в] : [ф]

а) в абсолютному кінці слова: *Bôx* ‘укр. Бог’, *blut* ‘укр. блуд, помилка; pol. błąd’, *dup* ‘укр. дуб’, *fstyt* ‘pol. fstyd’, *hôtup* ‘укр. голуб’, *hra|t* ‘укр. град’, *hrip* ‘укр. гріб’, *hryp* ‘pol. grzyb’, *zat* ‘укр. зад’, *su|sît* ‘укр. сусід’;

б) на початку і в середині слова перед глухою фонемою: *|fcali* ‘pol. wcale’, *fčuu** ‘укр. почув’, *|fčyti* ‘укр. вчити’, *|fpadi* ‘укр. впаде, pol. wpadnie’, *|hôtupci* ‘укр. голубці’, *wi|fsa* ‘укр. вівса’, *|fč'êstu* ‘укр. часто’, *zup|ci* ‘укр. зубці’.

У міжслівній позиції, зокрема в прийменнику *над-/ nat-* приголосний звук [д] оглушується і реалізується фонемою [т], утворюючи корелятивну пару [д] : [т]. Явище це виступає завжди перед глухими приголосними звуками: *nat|p'êčynui*i* ‘укр. надпечений, pol. nadpieczone’, *natpu|č'êtui*i* ‘napoczęte’, *nad|stawinyi** ‘укр. надставлений, pol. nadstawiony’, *nat|kušynyi** ‘pol. nadgryziony’. Однак фонема [д] у прийменнику *над-* (в середині слова) зберігає дзвінкість перед кожним дзвінким звуком, напр.: *nad|rubanyi** ‘укр. надрубаний’, *nad|lômanyi** ‘укр. надломаний, pol. nadłamany’, *nad|hryžynyi** ‘pol. nadgryziony’. У прийменнику *нараз/ paras* (укр. через), фонема [з]

повністю оглушується перед наступним глухим звуком і реалізується фонемою |c| - поль. відп. |s|, утворюючи тим способом корелятивну пару |з| : |c|, напр.: *paras* ¹*ćotku* 'pol. przez ciotkę', *paras* ¹*kuliżanku* 'pol. przez koleżankę', *paras* ¹*t'ëbi* 'укр. через тебе'.

У позиції перед наступним дзвінким приголосним фонема |з| зберігає свою дзвінкість і реалізується без змін, як |з|: *paraz* ¹*matu* 'укр. через маму', *paraz* ¹*nas* 'укр. через нас'.

У прийменнику *eid/ vit* фонема |д| виступає в кореляції з фонемою |т| - у міжслівній позиції, коли втрачає дзвінкість перед наступними глухими звуками: *vit* ¹*s'ërci* 'укр. від серця', *vit* ¹*sónçi* 'від сонця', *vit* ¹*fčara* 'укр. від вчора', *vit* ¹*pukuliń* 'укр. від поколінь', *vit* ¹*šastui*i* 'укр. від шостої'. Але фонема |д| у цьому ж самому прийменнику, у позиції перед наступними дзвінкими звуками не оглушується: *vid* ¹*brata* 'укр. від брата', *vid* ¹*ból'u* 'укр. від болю', *vid* ¹*mai*a* 'pol. od lata', *vid* ¹*lita* 'укр. від літа'.

Підсумовуючи аналіз кореляції дзвінкості / глухості в українських надсянських говірках, слід зауважити, що тенденція до втрати дзвінкості приголосних є характерним явищем для діалектів південно-західноукраїнського діалектного масиву. Особливо поширеним є воно в обстежуваних говірках, які піддаються впливові польської мови, що доводить до мовної інтерференції та поширення фонологічних процесів в межах одного слова й на межі слів.

Streszczenie

Korelacja dźwięczności/ bezdźwięczności w systemie konsonantycznym ukraińskich gwar nadszańskich

Artykuł omawia zagadnienie korelacji spółgłosek pod względem dźwięczności i bezdźwięczności w ukraińskich gwarach nadszańskich występujących na terenie Polski. Szczegółowa analiza zjawisk językowych potwierdziła istnienie w badanych gwarach par korelacyjnych, jak również ich brak w systemie gwary (głównie w zapożyczeniach polskich). Analizie poddane zostały pozycje końca prefiksów, przyimków, początku i środka wyrazu, a także pozycje międzywyrazowe. Korelacja dźwięczności/ bezdźwięczności spółgłosek w oparciu o materiał gwarowy potwierdza, iż proces ubezdźwięcznienia i zachowania dźwięczności spółgłosek jest charakterystyczny dla większości gwar dialektu południowo-zachodnioukraińskiego. Ubezdźwięcznienie natomiast częściowo spowodowane jest oddziaływaniem języka polskiego na badane gwary.

Summary

Correlation of voiced and voiceless consonants in the Ukrainian dialects over the territory of river San

The article discusses issues concerning consonantism in the Ukrainian dialects over the territory of river San In Poland. Detailed analysys was put on the theme of correlation of consonant system in the end position of prefix, middle of the word, end of the word and the liaison position before voiced and voiceless consonants. Voiced and voiceless correlation occurs in many south-western Ukrainian dialects and also in analyzed dialects over the territory of river San. The most characteristic feature of dialects over territory of river San is the less of consonant voicing which is supported by the influence of Polish language. Therefore, there are phonemes that have no counterparts correlation so they are not forming a binary pair.

Ekaterina Lukyanova

Vladymir (Rosja)

Межэтнические контакты в сфере регионального топонимикона (на материале Владимирской области)*

Тенденции последних лет в лингвистической науке наметили новые пути изучения языковых явлений в рамках антропоцентрической парадигмы. При таком подходе интересы исследователей „переключаются с объектов познания на субъекта, т.е. анализируется человек и язык в человеке”¹.

Стоит отметить, что проблема „язык и культура”, „язык и человек” была намечена в языкознании XIX века и рассматривалась в трудах В. фон Гумбольдта, Э. Бенвениста, Г. Штейнталя, А.А. Потебни и др. учёных. Формирование антропоцентрической парадигмы привело к „развороту лингвистической проблематики в сторону человека и его места в культуре, ибо в центре внимания культуры и культурной традиции стоит языковая личность во всём её многообразии”². В рамках антропоцентрической парадигмы лингвистика рассматривает язык как зеркало человека, которое отражает его мировосприятие и его разнообразные отношения с миром. Базовым при этом является понятие языковой картины мира.

Современные представления о языковой картине мира отражены в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей.

Так, согласно взглядам академика Ю.Д. Апресяна, каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, которая осознаётся всеми носителями языка. Свойственный данному языку способ концептуализации действительности, т.е. отражение в языке тех или иных реалий объективного мира, отчасти универсален,

* Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы „Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 гг., проект „Языковая экзистенциальность XXI века в условиях модернизации современной России: лингвофилософский дискурс”.

¹ В.А. Маслова, *Лингвокультурология*: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, Москва 2001, с. 6.

² Ibidem, с. 8.

отчасти национально специфичен, и носители разных языков могут видеть мир по-разному, сквозь призму своих языков³. Концептуализация действительности – это осмысление человеком известных ему фактов о мире, мысленное конструирование предметов и явлений действительности, которое приводит к образованию определенных представлений о мире в виде фиксированных в сознании человека смыслов – концептов. Познавая окружающий мир, человек формирует общие понятия, которые объединяются в систему знаний о мире. Основная часть этих знаний закрепляется в языке значениями конкретных языковых единиц, т.е. одновременно с мыслительной осуществляется языковая концептуализация действительности, результаты которой в своей совокупности составляют языковую картину мира.

В середине XX века изучение топонимикона того или иного региона производилось с позиций структуралистского подхода. Именно в рамках этого подхода было выделено понятие топонимической системы, которую в когнитивном аспекте мы соотносим с понятием топонимической картины мира. Топонимическая картина мира и топонимическая система, согласно Н.Д. Голеву, представляют разные формы бытия: топонимическая картина мира – ментальное, топонимическая система – онтологическое. Таким образом, топонимическая картина мира – это топонимическая система в ее ментальном бытии⁴. Однако неправильно думать, что в работах структуралистского плана лингвисты не обращались к сознанию человека. Примером может служить утвержденный В.А. Никоновым „принцип относительной негативности”, заключающийся в том, что зачастую при номинации берётся не избыток признака географического объекта, а его дефицит⁵. А.В. Суперанская внесла дополнение в традиционное определение топонимической системы: „топонимическая система – это территориально организованный набор топооснов, топоформантов, а также способов их соединения друг с другом и специфика восприятия определенных топонимических образований”⁶. Однако эти обращения к сознанию носителей языка в работах по топонимике середины XX века были фрагментарными и не носили системного характера.

³ Ю.Д. Апресян, *Избранные труды*, т. II: *Интегральное описание языка и системная лексикография*, Москва 1995, с. 39.

⁴ Н.Д. Голев, Л.М. Дмитриева, *Единство онтологического и ментального бытия топонимической системы (к проблеме когнитивной топонимики)*, [online] <<http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z06.html>>.

⁵ В.А. Никонов, *Введение в топонимику*, Москва 1964.

⁶ А.В. Суперанская, *Что такое топонимика*, Москва 1984, с. 108.

В соответствии с современной тенденцией к антропоцентризму лингвистической науки, открываются возможности изучения топонимической системы в когнитивном аспекте, который предполагает взгляд на топонимию с позиции человеческого сознания – с позиций восприятия, идентификации и особенностей интерпретации языка и его единиц. „Когнитивная революция» была одним из проявлений общей тенденции к интерпретативному подходу в различных дисциплинах. Это стремление выявить механизмы интерпретации человеком мира и себя в мире, особенно ярко выраженное в лингвистическом «интерпретационизме»⁷.

При этом подходе к топонимикону возникает иная точка отсчета – языковое сознание носителей языка, в котором и функционируют данные топонимы в их единичности и в их системном существовании. Форма топонимической единицы может быть представлена через ментальные категории, поскольку когнитивная структура производного слова коррелирует с его словообразовательной моделью, являющейся тем каркасом, той прототипической конструкцией, которая затем наполняется конкретным лексическим содержанием. Учитывая при данном подходе центральную позицию активного человеческого сознания, происходит ориентация на процесс создания слова и анализ всего комплекса связанных с этим процессов и условий.

Интересным представляется изучение репрезентации языковой картины мира в региональном топонимиконе, поскольку именно на таком уровне могут быть прослежены специфические национальные особенности концептуализации действительности носителей языка.

В центре внимания настоящей статьи находятся топонимы, отражающие многовековые межэтнические отношения представителей языкового коллектива, ограниченного на современном этапе административной границей Владимирской области.

Межэтнические и межнациональные отношения в различные периоды русской истории, безусловно, нашли отражение в языке, в том числе и в региональной топонимии. На территории Владимирской области проживают представители более десятка национальностей: русские, украинцы, татары, белорусы, армяне, мордва, азербайджанцы, чуваша, цыгане, молдаване, немцы, грузины, марийцы и др. С учётом особого статуса России как многонационального государства, а также государства

⁷ В.З. Демьянков, *Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода*, „Вопросы языкознания” 1994, № 4, с. 20.

с достаточно богатой историей взаимодействия с соседними этносами и народностями, весьма интересным представляется рассмотрение того пласта владимирской топонимии, как фрагмента общерусской топонимической системы, который отражает разнообразные межэтнические контакты.

Анализ топонимической системы Владимирской области (более 2600 наименований) дает основание говорить о том, что процесс этнического контактирования на территории центральной России имеет сложный и многоступенчатый характер. Несмотря на то, что общее число географических названий, так или иначе характеризующих межнациональные отношения, составляет только около 2% от общего числа единиц, среди них можно выделить два пласта топонимической лексики.

К первому и самому древнему пласту относят так называемую **субстратную топонимию**, под которой понимается язык топонимии всякого населения данной территории, которое предшествовало во времени населению, ныне доминирующему в пределах этой же территории⁸. Субстратные топонимы на территории Владимирской области характеризуют период контактов переселявшихся на эти территории славян с обитавшими здесь финно-угорскими племенами. В конце I тысячелетия нынешний владимирский край стали заселять пришедшие с юга-запада более сильные славянские племена вятичей и кривичей. Под натиском пришельцев часть местных племён переселилась в Поволжье, а большинство населения осталось жить бок о бок со славянскими соседями, которые „завоёвывали эти места не мечом, а сохой”⁹. По прошествии столетий совместного проживания коренное население освоило земледелие, которое уже тогда было основным занятием славян, усвоило язык, обычаи и нравы пришельцев. Однако в языке славян закрепились некоторые элементы языка, на котором разговаривали тогда финно-угорские племена. В основном, это географические названия. Среди таких географических названий следует выделить две группы топонимической лексики. Во-первых, это собственно субстратные топонимы, внутренняя форма которых может быть объяснена только путем этимологического анализа финно-угорских языков. Например: *Судогда*, *Клязьма*, *Сойма* и др. Во-вторых, здесь выделяем топонимы, в основе которых лежат наименования финно-угорских племен. К примеру: *Муром*, *Мецёра* и др.

⁸ Г.П. Смолицкая, *Об одном этническом аспекте топонимики*, Москва 1987, с. 23–27.

⁹ В.М. Никонов, *Судогда: Историко-краеведческие очерки*, Владимир 1994, с. 16.

Ко второму пласту рассматриваемой топонимической лексики следует отнести **отэтнонимные географические названия**, которые несут информацию об этнической и национальной принадлежности групп людей, населявших именуемые объекты на определенном этапе. От длительной эпохи татаро-монгольского ига остались географические названия типа *Татарово*. Уже в более поздний период появились топонимы, в основе которых – названия народностей, которые населяли российское государство. Например: *Мордвиново*. В обоих случаях принципом номинации становилось обозначение особенности именуемого объекта – большинство населения в нём составляли представители чужого этноса, чужой национальности. При этом в обозначенной группе **отэтнонимных** топонимов можно выделить два вида наименований. Одни из них носят нейтральный характер, что на словообразовательном уровне характеризуется наличием традиционных стилистически нейтральных топоформантов (-ово, -ево, -ино): *Мордвиново*, *Татарово*. Топонимы, представляющие собой этимологически названия людей по их национальности, тоже следует отнести к данному виду: *Корелы*, *Мордвины*. Однако географически названия типа *Ляхи* и *Хохлачи* уже составляют второй вид топонимов, характеризующихся яркой эмоционально-оценочной коннотацией. Сюда же следует отнести и топонимы типа *Чувашиха* с суффиксом -их(а), который так же имеет коннотативную окраску.

Таким образом, географические названия обозначенных групп появлялись в те периоды, когда на территории Владимирской области происходило взаимодействие различных народностей: славян и заселявших эти земли угро-финских племен в начальный период, славян и народов-завоевателей во время татаро-монгольского нашествия, русского народа и представителей других наций в более поздний период. Номинация поселения по национальному признаку его жителей актуализирует важный для народного коллектива ориентир „свой – чужой”, который достаточно ярко проявляется в топонимии. Основным же при номинации по национальному признаку становится указание на семантический полюс «чужой» в этой оппозиции, поэтому данные топонимы образованы, по преимуществу, от названий нерусских народностей.

Streszczenie

Kontakty międzyetniczne w sferze regionalnego toponimikonu (na materiale obwodu włodzimirskiego)

W artykule zbadano odzwierciedlenie kontaktów różnych grup etnicznych w regionalnej toponimice. Na przykładzie analizy systemu toponimicznego obwodu włodzimirskiego zostały ujawnione nazwy geograficzne odzwierciedlające kontakty między nacjami w różnych okresach historii tego terytorium (substratowa toponimia pochodząca z okresu kolonizacji przez Słowian terenów zamieszkałych przez plemiona ugrofińskie oraz etnonimiczne nazwy geograficzne informujące o przynależności nacjonalnej grup zamieszkujących te tereny na różnych etapach historii Rosji). Etniczna toponimia aktualizuje ważną dla językowego kolektywu opozycję „swój – obcy”.

Summary

Inter-ethnic contacts within the regional toponymicon (the Vladimir region case study)

The article deals with the question of the interethnic relations reflection on the example of ethnic toponymy. On the basis of the analyzing the toponymical system of Vladimir region the author established the following stratas of geographic names which characterize interethnic relations in different periods of the denoted territory development: substrate toponymy which characterizes the period of contacts between the Slavs and Finno-Ugric tribes and toponyms formed of nationality names inhabited denoted geographical locations in the certain period. Ethnic toponymy actualizes for the people«s collective important point “self – foreign”.

Lech Krajewski

Olsztyn

Стереотипы в гимнах и песнях футбольных фанатов

1. Гимны и песни спортивных болельщиков приумножают словесно-музыкальный фольклор этой оригинальной субкультуры. В окриках и слоганах болельщиков¹, в также в гимнах и песнях выражается эмоциональность высокой степени накала, сопровождаемая словесной агрессией, цель которой поддержать общее эмоциональное напряжение спортивного зрелища и одновременно выразить симпатию по отношению к своей команде². Наши наблюдения выявляют, что подобные тексты в большинстве своем являются вторичными по отношению к уже существующим литературным произведениям. Мелодии популярной, молодежной, фольклорной, военной и даже религиозной музыки³ функционируют в данном случае как прецедентные.

Обратимся к анализу текстового и музыкального материала, а также к экспонированию вариантов известных литературно-музыкальных мотивов. В связи с этим нас будет интересовать, с одной стороны уровень интеллектуальности текстов⁴, а с другой – инновации, модифицирующие

¹ Л. Краевски, М. Вощенко, *Оппозиция свой – чужой в текстах кричалок болельщиков футбола (на материале польской, русской и украинской лексики)*, [в:] *Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты)*, Москва – Кострома 2006, с. 444–453; В. Urbankowski, *Etyka i mitologia sportu*, [в:] *Sport i kultura*, Warszawa 1981, с. 129–142; J. Korzeniewska-Berczyńska, *Образ человека в континууме публицистики*, Olsztyn 2001; T. Sahaj, *Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania*, Poznań 2007; idem, *Psychospołeczne aspekty agresywnych zachowań chuliganów futbolowych*, [в:] Z. Dziubiński (red.), *Sport a agresja*, Warszawa 2007, с. 109–118; S. Grzegorzczak, *Piłka nożna 1919–1979, ludzie, drużyny, mecze*, Warszawa 1981.

² Z. Benedyktowicz, *Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu*, Kraków 2000; M. Danielewiczowa, *O pojęciu konotacji wartościującej*, „Polono-Slaviensia. Studia Semantyczne”, Warszawa 1993, с. 131–142; T. Walas (red.), *Narody i stereotypy*, Kraków 1995; J. Bartmiński, *Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne*, Lublin 2009; K. Pisarkowa, *Konotacja semantyczna nazw narodowości*, „Zeszyty Prasoznawcze” XXII, № 1, с. 5–26; H. Popowska-Taborska, *Językowe wykładniki opozycji swoi-obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości*, [в:] *Językowy obraz świata*, Lublin 1999, с. 57–63.

³ A. Barańczak, *Konwencjonalność w piosence jako problem semantyczny*, [в:] *Formy literatury popularnej*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973, с. 173–192.

⁴ A. Duszak, *Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa*, Warszawa 1998; G. M. Gagajewa, *Psychologia gry w piłkę nożną*, tłum. E. Wasilewski, Warszawa 1973.

уже существующие музыкально-текстовые схемы. В данном случае под интеллектуальностью будем понимать систему различных познавательных способностей индивида – ощущения, восприятие, память, представления, мышление, воображение, т.е. интеллектуальные усилия, с помощью которых преобразуется изначальный текст.

Исследовательская реконструкция охватывает следующие группы текстов: гимны, песни, мелорецитации и также тексты смешанного типа⁵. При этом необходимо выяснить, в какой мере стандартные фразы первичного текста (прототекста) используются в конструкции нового словесно-музыкального коммуниката (метатекста), а также то, как мелодия побуждает и подчиняет творение новых текстов с четко просматриваемыми симптомами актуализации. Полагаем, что необходимо также проследить, насколько мода и снобизм, а также примеры западной массовой культуры влияют на разнообразие форм и мотивов хитов для стадионов⁶. Поскольку в текстах песен и гимнов создается и поддерживается образ любимой футбольной команды, постольку определенный интерес представляет портрет команды, а также то, как формируются характеристики образа команды в такого вида текстах.

2. Гимны футбольных болельщиков наряду с флагами и эмблемами являются атрибутами клубной символики. Гимны – это ярко выраженная форма манифестации симпатии по отношению к клубной или общенародной команде. В них можно найти патетически проявленную похвалу с тенденцией к сакральности и патриотизму. Гимн как массовая публичная песня выполняет прежде всего риторическую, персвазионную функцию, так как призывает, приглашает к активности не только футболистов, но также зрителей. Во второй половине XX века появились тенденции к презентации в гимнах повседневных дел и забот, достижений техники и фактов городской цивилизации. Риторическая функция прослеживается не только в актуализации, которая касается названий

⁵ Источниками данного научного реконесанса является следующее: T. Wołek, *Futbolowe ziarnko pieprzu* 2003, [online] <<http://historia.futbolu.w.interia.pl/narodzinyf.htm>>, <www.onet.pl>; <www.kicker.pl>; <www.bojkotpzpn.com>, dostęp 14.01.2010; <www.kibice.net>, dostęp 14.03.2010; „To My Kibice” 2009, № 9–12; „To My Kibice” 2010, № 1–2.

⁶ J. Dudała, *Fani – chuligani. Rzecz o polskich kibolach*, Warszawa 2003; S. Wanat, *Socjologia zachowań chuligańskich w sporcie*, „Kultura Fizyczna” № 7–8, с. 18; N. Cantor, W. Mischel, *Prototypy w postrzeganiu osób*, [w:] *Poznanie. Afekt. Zachowanie*, Warszawa 1993, с. 20–52.

клубов, но также и в частых повторениях, изменениях ритма, в интенсивности скандированных куплетов или припевов.

Среди имеющихся гимнов преобладают тексты, оригинальные по содержанию и мелодии. Текстовые версии гимнов создаются в фан-клубах, выкладываются на сайты, благодаря Интернету с ними знакомится широкий круг пользователей. Следует отметить подвижность текстов: структура и содержание гимна может перестраиваться в процессе спортивного зрелища в зависимости от сложившейся игровой ситуации. Для гимна характерна синхронизация музыкального кода с кодом словесным. Гимны – это экспрессивная манифестация эмоций, симпатий по отношению к любимой команде и клубу, зачастую она выражается с помощью стилистически разнородной лексики.

Вступление (первый куплет или начальный фрагмент) часто представляет собою лаудацию, которая экспонирует позитивные черты команды или клуба: *Najwspanialszy klub na świecie...* Подобный шаблон используют болельщики разных команд, вводя только актуальные названия клубов: Olimpia/ Arka/ Pogoń Szczecin/ Спартак и под. Другие характеристики команд, как правило, повторяются, поскольку являются стандартными. Далее следуют, как правило, пожелания: выиграть матч, получить пункты/очки в розыгрышах; выражается пожелание команде остаться в лиге или в конкурсе футбольных команд:

Strzelić bramkę by mecz wygrać,
Aby punkty zdobywać.
Żeby w drugiej lidze grała,
Nam Olimpia kochana.

Существуют также гимны, которые начинаются инвокацией, информирующей о том, какой регион или страну представляет клуб/команда, какой существует клубный знак, герб, эмблема:

Na **Standarze Gryf** złotem się mieni –
To **Pogoni Szczecin** znak.
Żółty piach plaży, niebieskie morze
Barwy klubowe, **Arce** pomoże
Znów dzisiaj **Arka** gra.

Часто бывает так, что после обращения к дружеской команде экспонируются болельщики и их роль в футбольном спектакле. Образ

болельщиков, их настрой и энергия должны помогать команде, быть гарантией успеха. Болельщикам отводится важная роль в спортивном спектакле: свою позитивную энергию они должны передавать игрокам любимой команды, а негативную – направлять на противников.

Najwspanialszy klub na świecie,
Co kibiców **wiernych** ma,
Każdy kibic wie, że przecież
To jest **Arka kochana**.
Jej kibice są **nie do pokonania**.

Иногда тексты гимнов посвящены фанатам; гимн демонстрирует их верность клубу, желание отстаивать интересы любимой команды и фан-клуба, умение противостоять болельщикам других команд. Задача гимна – сплотить фанатов клуба в борьбе за интересы любимой команды. Зачастую противостояние членов фан-клубов приобретает острые, антисоциальные формы, перерастая в бандитские разборки.

Jej kibice są niezwyciężeni, Boi się nas cała pierwsza liga,
Boi się nas cały świat! Boi się nas cała policja angielska,
Boją się nas kibice angielscy, Boi się nas także holenderska.
Boją się nas fani holenderscy. O Pogonio, Pogonio, Pogonio –
Boi się nas cała Bundesliga, Boi się nas cały świat!

Существуют гимны, в которых инвокация направлена к землякам, гимны оповещают о предстоящих футбольных мероприятиях, их значимости. И только в припеве находим информацию об участниках игры, о команде, а также пожелания и прогнозы для команды, например: *Czeka Europa nas...*

Тексты могут отражать исторические события, происходящие в футбольном мире. Так, например, под влиянием событий, происходящих на Кубке мира по футболу (мундиале) в Испании, появились припев и мотив, характерные для множества испанских гимнов: *Оле-оле-оле-оле...*

Для гимнов российских фанатов характерно то, что вступительная часть содержит информацию о месте проведения спортивного мероприятия, о царящей на стадионе атмосфере, и только в заключительной части дается название команды, которой посвящен гимн. В текст гимна вводится профессиональная лексика, сравнения, специфическую функцию выполняет профессионализм „на гора”:

Над шахтерским горизонтом
Слышен крик и вой,
На футбол спешат фанаты,
На Шахтер родной.

На „гора” спешат шахтеры,
Под землей свернувши горы,
И не с книжкой студент
От Шахтера ждёт побед.

Припев, в свою очередь, содержит в себе минидраму, сценку, где главный герой – команда, которая храбро разделяется с противником, поддерживаемая окриками и призывами болельщиков. Верность клубу выражается независимо от результатов игры, в финале гимна содержится надежда на победу, веру в мастерство команды (Шахтер, Металлист):

Ворота атакует Шахтер – держись давай!
Ты покажи им силу, голы им забивай,
Вперед мяч пролетает, болельщики кричат,
И мяч в воротах, Шахтер – Виват!

Доходчиво подчеркивается присутствие и духовное единство фанатов. Частотны для гимнов характерные припевы, введение так называемого портандо – скользящего перехода от одного звука к другому, мелорецитации, с помощью которой скандируется сокращенное название клуба – „Динамо, Динамо-о-о-о” (это могут быть различные другие названия клубов, например, ЦСКА, Спартак).

Наряду с так называемыми хитами, получающими широкое распространение путем медиа-средств, задолго до начала футбольных состязаний появляются песни футбольных фанатов их собственного сочинения. В них используется разнородный и богатый репертуар общеизвестных и популярных мелодий, фанаты обращаются к различным музыкальным жанрам. Песня как комплексный коммуникат (словесный, музыкальный, жестикулятивный) стремится к выработке какой-либо абстрактной модели, опирающейся на готовую мелодию и лексическую модификацию (актуализацию), что говорит о тенденции к стабилизации и упорядочиванию привлекаемых текстов. Приведем примеры того, как при создании гимнов уже существующие произведения используются в качестве прототекста.

В Польше, например, канвой клубного гимна стала *Rota*, на стихи Марии Каноппицкой и музыку Феликса Нововельского. В метатексте сохранены ритмика стиха, мелодика прототекста. Претерпела изменения содержательная часть: заменены отдельные фразы или их составляющие,

модификация сводится к вставкам с названием клуба и команды⁷. В подобных текстах прослеживается определенная стабильность структуры презентации и информационной вместимости, это формирует стереотипный образ любимой команды или клуба.

Можно классифицировать типы метатекстов, в которых используются различные формы модификации первичного словесно-музыкального текста для создания песен футбольных болельщиков:

а) использование музыкального и словесного текста с минимальными модификациями;

б) использование музыкальной модели прототекста;

в) музыкальная и словесная контаминация двух текстов.

Строгое следование прототексту в хитах болельщиков – явление не частотное; как правило, оно встречается в песнях, протекстом которых являются патриотические произведения. Это могут быть, например, гимны, музыкальная и содержательная стилистика которых квалифицируется как «высокая». В подобные тексты привносятся незначительные инновации, а просторечная лексика и жаргонизмы, как правило, не вводятся. Высокий стиль патриотических произведений является своего рода преградой для агрессивности и вульгарности, так характерной для фанатов футбола⁸.

Rozpłakały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się **Polonia** w głos
I podniosła swe **oczka** błyszczące

Jak długo na Wawelu
Tak długo nasza **Pogoń**
Lidze nadaje ton

⁷ J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), *Język a kultura*, t. 12: *Stereotyp jako przedmiot lingwistyki*, Wrocław 1998, с. 171–184; Z. Greń, *Stereotypy jako fenomeny językowe*, [в:] *Stereotypy a uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe*, Kraków 2001, с. 67–79; J. Kłodecka-Różalska, *Zachowania agresywne w sporcie: dominacja nadziei i optymizmu nad pesymizmem i zwątpieniem*, [в:] Z. Dziubiński (red.), *Sport a agresja*, Warszawa 2007, с. 90–98; R. Konarski, *Pieśń stadionów*, „Polityka” 1995, № 23, с. 17.

⁸ По словам J. Puzyniny, качества выражаются, как правило, на трех уровнях: (а) в живой речи через разновидность интонации, темпа высказывания, жестов, мимики; (б) на уровне кода через культурные коннотации, например, в использовании таких понятий, как родина, семья; (в) в письменном тексте через коннотацию, зависящую от контекста, и ассоциаций (оценку приобретает целый текст, а не отдельные выражения), используются также тропы и стилистические фигуры (персонификация, ирония, метафоры и сравнения), а кроме того определенных частей речи. См. J. Puzynina, *O elementach ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów*, „Biuletyn PTJ” XL, 1992, с. 59–64; A. Tyszczyk, *O pojęciu wartości negatywnej w literaturze*, [в:] *Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze*, Lublin 1992, с. 137–152; В.В. Химик, *Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен*, Санкт-Петербург 2000; R. Leniarski, M. Szadkowski, *Kibolski Lublin*, „Gazeta Wyborcza”, № 287, с. 32; W. Lubiński, *Porażka byłaby katastrofą*, „Przegląd Sportowy” 2004, № 148; G. Pazdyk, *Znowu horror*, „Przegląd Sportowy” 2003, № 220; P. Piotrowski, *Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych*, Toruń 2000.

Na warszawski, **k...i** życia los
 Nie płacz **Polonio** ma z żalu aż serce rwie.
 Nie płacz **warszawski psie**
 Bo w **trzecie*** ludzie nie jest źle

Zwycięży nasza **Pogoń**
 Zwycięży **barlinecka brać**
A osadnik też zwycięży
Jak się nauczy grać

Встречаются тексты, в которых первоначальная содержательная и эстетическая модель прототекста заменяется примитивным содержанием, характерным для массовой культуры, при сохранении синтаксиса изначального текста:

My kibice Łodzi,
 Wódka Nam nie szkodzi,
 Za Łódź, za ŁKS,
 Pójdziemy aż po życia kres.
 [My pierwsza brygada]

В минипеснях фанатов может акцентироваться значимость последнего для данного круга соревнований футбольного поединка, решающего судьбу команды; судьбоносность ситуации для любимой команды моделирует соответствующую музыкальную инспирацию для текста. Так, например, в качестве прототекста избирается *Интернационал*:

Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud,
 Gdy **żółto-biało-niebiescy, u trzecie* ligi staną wrót...**

Незначительные инновации наблюдаем тогда, когда есть припев, который функционирует как независимый текст в роли подпевки между скандированными мотивами. Скопление перечислений, которые представляют собою названия команды, позволяют создателям метатекстов обратиться к использованию хита скальдов *Весна*; подобный прием повторяется и в другой песне, где также эксплуатируется уже известное произведение:

Olimpia dzisiaj z nami gra,
 Olimpia dzisiaj trzy punkty ma,
 Olimpia w koło, Olimpia jest.
 Po zielonej trawie piłka goni,
 Zawsze my wygramy, nigdy oni,
 Zawsze będzie dobrze, nigdy nie jest źle,
 Olimpia jest lepsza i każdy wie!

В песнях польских болельщиков также можно найти пример с использованием фольклорной мелодии, например, *Калинки*, где двустрочный текст многократно повторяется в нарастающем темпе:

Olimpio, Olimpio, Olimpio, nasza
Hej Olimpia, Olimpia, Olimpia, nasza!...

Нередко для вознесения ранга похвал, для поддержания спортивного духа эксплуатируются церковные мотивы, используемые в припеве:

Alleluja, alleluja,
Alleluja, Olimpia!
Alleluja, alleluja,
Alleluja, Olimpia!

В другой ситуации фрагмент музыкального произведения послужил польским и русским фанатам для создания песенного слогана, призывающего команду любимого клуба к соперничеству с западными футболистами :

Go West Stomil wygra mecz.
Go West bo najlepszy jest.
Go West i Resovia też,
Bo Stomil przyjacielem jest.

или

Вперед, ЦСКА Москва.
Вперед, ЦСКА Москва
Вперед, ЦСКА Москва

Польское общество имеет необыкновенно высокий уровень религиозности, нельзя забывать о том, как прочно польская культура стоит на традициях христианства. Поэтому никого не удивляет всеобщее знание литературы и религиозных песен, а в особенности колядок: *Wśród nocnej ciszy*.... Однако нижеследующий текст фанатов демонстрирует глубокую профанацию исходного текста⁹. Содержание прототекста игнорируется, что

⁹ Т. Р. Кшешовский считает, что вся наша деятельность, идеи, поведение по отношению к окружающим, а также наши чувства, которые питаем к разным объектам, можно, по меньшей мере, характеризовать как позитивные, так и негативные, и это находит свое отражение в речи. Автор различает три вида качеств: понятийные (оценка посредством использования носителя качеств); классовые (оценка с помощью сравнения данного класса в идеализированной модели когнитивного понятия); экземплярные (оценка касается конкретного

противоречит религиозному воспитанию поляков, духовным основам общества. Это пример небывалой дерзости и компрометация гуманизма. В мататексте наблюдается смешение маргинальных стилей. Здесь можно найти элементы солдатской и хулиганской провиненции:

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
wstańcie **Lechiści**, **Arka** nadchodzi
Weźmy pałki i zapalki, podpalimy ch... bramki
Wedle rozkazu
Wedle rozkazu

Poszli, znaleźli **Arkowca w rowie**
I dla przykładu dali po głowie
Przywiązali do trzepaka,
W... na stojaka.

В песнях и гимнах может использоваться также фразовая модель текста, которая актуализирует новую ситуацию: вместо пастухов появляется названия клуба, другие инновации касаются примитивных сцен, представленных в стиле солдатского жаргона. Примером подобного может служить еще одно использование религиозного произведения в качестве прототекста. Этот пример демонстрирует направление положительных и отрицательных эмоций болельщиков¹⁰:

единичного экземпляра, который приравнивается к целому классу). Поскольку понятийное качество имеет абсолютный характер, поэтому оно не имеет отношения к другим понятиям, в то время как классовые качества являются всегда относительными и относятся к оцениваемому экземпляру на фоне целой категории. Иерархия качеств, описанная Кшешовским, опирается на философскую иерархию бытия св. Августина. На низшей ступени расположены сенсорные качества, связанные с мысленным опытом человека по отношению к неживым предметам. Чуть выше находятся витальные качества – уровень растений, который представляет собою живой мир; далее минимальные качества, которые связывают человека с животными. На самом высоком уровне находятся духовные качества, вмещающие в себе все то, что отличает человека от других живых существ и зверей. Самыми важными оказываются божественные качества (религиозные). T.P. Krzeszowski, *Aksjologiczne aspekty semantyki językowej*, Toruń 1999. См. также K. Ożóg, *Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia*, Rzeszów 2001; A. Pajdzińska, *Wartościowanie we frazeologii*, [в:] *Wartości w języku w tekście, Język a kultura*, т. 3, Wrocław 1991, с. 18–28; eadem, *Motywacja semantyczna przymiotników wartościujących*, [в:] *Etnolingwistyka*, т. 7, Lublin 1995, с. 5–12.

¹⁰ Эмоции подчиняются двум правилам: правилу иерархии, касающемуся размещения по уровням, и правилу симметрии (каждое качество имеет противоположность – антикачество). Считается, что разные люди в одно и то же время могут один и тот же объект размещать на разных уровнях качества. Это значит, что один и тот же объект одновременно может находиться на разных качественных уровнях, что приводит к тому, что один человек может оценить данное происшествие как негативное, другой – как позитивное. Один и тот же случай можно расценивать, например, как важный (с точки зрения общества), но так же и как эмоционирующий (с точки зрения гедонизма). S. Opara (red.), *Podstawy filozofii*, Olsztyn 1996, с. 9.

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
 Wstańcie **Akowcy, Lechia** nadchodzi
Weźcie pałki, weźcie noże
Lechia k... żyć nie może
 Wedle rozkazu.

Poszli znaleźli **Lechię na strychu**
Wpierdol spuścili, zesli po cichu
Gdyby Lechia nie skakała
To by w... nie dostała
Wedle rozkazu.

Церковная песня: *Śluchaj Jezu jak Cię błaga lud* также послужила прототекстом для создания песни-просьбы. Однако просьба фанатов далека от оригинальной версии, болельщики просят Творца помочь команде Elbląga войти в первую лигу после 60-летнего ожидания. Концовка песни содержит слоган:

Stuuuuuuchaj Jezuuuuu jak Cię błaga lud,
 Zrób w Elblągu pierwszą ligę zrób
 My czekamy już 60 lat
 Jezu, Jezu chyba nadszedł czas...
 I ZetKaeSSSS.

В большинстве песен для стадионов присваивается общеизвестная славянская развлекательная музыка, при этом заменяется текстовая часть песни, текст строится, как правило, по стереотипной схеме с использованием просторечной, обыденной фразеологии и такой же метафорики¹¹.

Популярность песне может придавать первая строка, иногда повторяемая также в названии или припеве, который легко запоминается. Подобное наблюдаем на примере использования в качестве прототекста российского хита конца 90-х годов *Тополиный пух*. Остальные строчки содержат перечисление фамилий и прозвищ. В прозвищах прослеживается влияние криминального аргота (см., например, *нетух*)¹². Для поддержания ритма и мелодической структуры вводятся повторы вульгарного содержания. Отрицательная оценка достигается столкновением в тексте названий

¹¹ В. Красных, „Свой” среди „чужих”: миф или реальность?, Москва 2003; G. Kleiberg, *Semantyka prototypu. Kategoria i znaczenia leksykalne*, Kraków 2003.

¹² S. Grabias, *Język w zachowaniach społecznych*, Lublin 1994.

команды и названий народностей, футбольные команды которых не играют значимой роли в мире футбола:

Тополиный пух, Титов-петух,
Цимбаларь – мясная рожа,
Филимонов тоже педераст
А И Романцев с ними тоже, тоже!
Паровоз вези-вези-вези
Мы болеем за армейцев
Спартак с...-с...-с...
У китайцев и корейцев.

В другом примере также используется только мелодия известного фольклорного произведения *Krakowiaczek*. Текст представляет собою инновацию с характерным повторами *trzaśnie: maśle* и стереотипным сравнением *wejdzie gładko jak po maśle* и проклятием *niech to piorun trzaśnie*:

Hej Olimpia Elbląg, niech kto piorun trzaśnie
Wejdzie w trzecia* ligę gładko jak po maśle
Hej Olimpia Elbląg niech to piorun trzaśnie
Wejdzie w trzecia* ligę gładko jak po maśle.

В случае, когда текст представляет собою экзистенциальную рефлексия, используется мелодия музыкального текста, слова которого способствуют поддержанию соответствующего состояния. Так, например, для создания подобного эффекта польские фанаты обратились к хиту М. Rodowicz *Remedium*, причем текст содержит необыкновенную драстичность и ярко выраженную агрессию:

Wsiąść do pociągu
Byle **do Łodzi**,
Zabrać też kosę,
Nic nie zaszkodzi,

Ściskając w ręku
Kamień brukowy,
Aby łodzianom
Rozbijać głowy.

Прототекстом песни, посвященной петербургскому клубу Зенит, является *Катюша*, известная песня. Метатекст сохранил музыку и ритм, отдельные слова и словосочетания любимой песни. Можно подчеркнуть, что симпатия к команде выражена эксплицитно с помощью слова *Зенитушка*, где суффикс *-ушк-* имеет уменьшительно-ласкательное значение:

Развивались синие знамена,
Задымились шашки **над Невой**,
Заполнялся сектор стадиона,
Самый лучший, хоть и боковой.
И все фэны хором гимн запели
Про Зенит, **Зенитушку** родной,
За который преданно болели,
Про того, кто радость их и боль.

В песне *Идет солдат по городу* наблюдаются частичные лексические замены, персонажем становится не *солдат*, а *фанат*, а вместо обращения к девушкам (“не обижайтесь девушки, ведь для солдата главное...”) идет обращение к гражданам.

Идет фанат по городу,
По незнакомой улице,
И от знамен вся улица светла.
Не обижайтесь, граждане,
На ленинградский наш Зенит,
Ведь за него практически
Болеет вся страна.

Музыкально-словесные тексты мультфильмов завоевали популярность не только среди детей, но в среде молодежных субкультур. Фанатов привлекает простота этих произведений, легко запоминающаяся ритмика, людичность. Примером такого текста является веселая песенка из мультфильма *Бременские музыканты*:

Ничего на свете лучше нету – чем бродить с фанатами по свету!
Наши флаги бело-голубые – мы болеем за Динамо Киев!

Популярности произведения соответствует количество текстовых новаций. Подобное наблюдаем относительно песни *Hej sokoły*, где только

по отношению к одному спортивному клубу появилась несколько текстовых версий, использующих мелодию этой песни:

Odkąd życie moje płynie	Dziś Olimpii nie pokona
Kibicuje swej drużynie	Nawet słynna Barcelona
Z mego miasta kochanego	Dziś Olimpii nie da rady
Nie opuszczę klubu tego	Nawet słynny Real Madryd
Hej sokoły, hej, hej wspólna sprawa,	
Olimpia Elbląg, Legia Warszawa.	
Nasze więzi hartowane,	
Legia i Olimpia ukochane.	

Отметим, что песни спортивных болельщиков как крупные формы постепенно преобразуются. Для этого есть несколько причин: первоначальный замысел отбрасывается стихийно или как ответ на быструю реакцию команды/ болельщиков противника или же в связи со сменой общего настроения исполнителей. В такой ситуации песня объединяется с мелоречитацией, скандированием девизов и лозунгов, может также происходить контаминация этих форм. Подобное наблюдаем в тексте, который возник на базе мелодии польского фильма J. Rybkowskiego *Zakazane piosenki*, не представляющей трудности в исполнении:

W pociągu jest tłok,
 W tramwaju jest tłok,
Kibice na Legię jadą.
 Wtem nagle ktoś wstał,
Zaśpiewam ja wam o Legii mej ukochanej...

Следующая часть этого произведения в версии фанатов представляет собою возглас:

CKWS do boju Legia Warszawa
 centralny wojskowy. Kochany, sportowy
 to jest nasz CWKS!

Популярная некогда пионерская песня *Płonie ognisko i szumią knieje* достаточно прочно закрепились в сознании молодежи и без труда адаптирована фанатами Ольштына для передачи иного, агрессивного содержания:

Płonie ognisko na Łazienkowskiej
stadion Legii pali się
Legia płonie i nigdy nie zgaśnie
Fani z Olsztyna cieszą się
Cieszą się, bo to oni podpalili
Całą Legię doszczętnie spalili
Hej Stomilu klubie nasz
Mistrza Polski wkrótce masz.

Более глубокую эволюцию содержания обнаруживаем в российской песне для стадиона, которая изначально была пионерским хитом, а благодаря текстовым изменениям превратилась в текст с анархистским содержанием:

Вместе весело шагать по болотам,
По болотам – с пулеметом.
И деревни поджигать лучше ротой,
Или целым батальоном.
И шагает хулиган за хулиганами,
Раз армеец, два армеец – будет армия!
Раз убийство, два убийство – демократия.
Мы армейские фанаты – мы каратели!

В следующем примере молодые псевдофаны эксплуатируют известный музыкальный мотив нашумевшего в Польше конца 70-х годов телевизионного сериала *Pszczynka Maja*. Это жизнерадостное произведение было приспособлено для презентации клуба Wisły Kraków¹³, при этом используется грубо-просторечная лексика.

¹³ М. Гловинский считает, что передатчиком качественной основы может быть также стиль, в основном иронический. Исследователь пишет, что при избрании стиля одновременно вводится аксиологический фактор даже тогда, когда в данном высказывании нет никаких слов с ярко выраженной качественной характеристикой. Эти свойства стиля легко улавливаются интуитивно. При оценке выделяются нетипичные состояния. Норма, типичное состояние представляют собою нечто менее важное. Негативно оценивается обыкновенность и отсутствие индивидуальных черт, например: *ни рыба- ни мясо, ни то ни се, так себе*. Позитивные оценки признаются как наиболее общие и недостаточно точные, поэтому преобладает негативная оценка как таковая, которая характеризует предметы. Подвергаются оценке, как правило, элементы „чужого”, с точки зрения культуры, мира не известные интерпретирующим, что может привести к закреплению этих „точек зрения” для общества в целом. М. Głowiński, *Badania literackie a język potoczny*, [в:] *O wartościowaniu w badaniach literackich*, Lublin 1986, с. 191.

Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie
 Wieś, w której rzecz ta dzieje się
Maleńka k... mieszka tam
Wisła Kraków nazywa się.

Tę k..., którą tu widzicie zowią **Wisła**
Wisła z ch... nam wytrysła
Wisło, ty k... mój
W całej Polsce nazywają ciebie ch...

Вульгарный юмор рождается в данном случае на контрасте семантики оригинального текста, для которого характерны высокий оптимизм и положительная коннотация, и метатекста „низкой” культуры, опирающегося на обсценную и жаргонную лексику при создании нового содержания.

В субкультурах значительное место занимает фольклор. В качестве примера возьмем текст с народной провинцией *Czerwone jabłuszko*. Первые три строки метатекста близки к оригиналу, за исключением топонима *Widzew*, но последняя строка удивляет непристойным содержанием и сквернословием:

Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż,
 Czemu ty **Widzewie** krzywo na mnie patrzysz.,
 Bum ta ra ra ra. Bum tra ra bum.
Mówi tobie Stomil: Pocałuj mnie w ch....

Прототекстом может послужить студенческая песня. Подобно другим песням фанатов используется мелодия общеизвестного студенческого гимна, его синтаксис, отдельные слова и словосочетания. Изменения продиктованы спортивной тематикой, а также настроением болельщиков:

По московской стороне, на своей планете
 За Спартак болеют все: взрослые и дети.
 До чего люблю Спартак, не сказать словами,
 Расскажу я вам, друзья, просто между нами...
 Жора Ярцев – наш кумир, быстрый и техничный.
 Самый лучший бомбардир, форвард он отличный¹⁴.

¹⁴ Ł. Szymański, *Staramy się pokazać przywiązanie do tego klubu*, „Tygodnik Piski” № 21, с. 22; Z. Szymula, *Nos trenera*, „Gazeta Olsztyńska” 2004, № 123; J. Talaga, *ABC młodego piłkarza*, Warszawa 1980; R. Tokarski, *Konotacja jako składnik treści słowa*, [в:] J. Bartmiński (red.), *Konotacja*, Lublin 1988, с. 35–54; idem, *Tło kulturowe a znaczenia jednostek leksykalnych*, [в:] A.M. Lewicki, R. Tokarski, *Kreowanie świata w tekstach*, Lublin 1995, с. 39–58; idem, *Językowy obraz świata w metaforach potocznych*, [в:] J. Bartmiński (red.), *Językowy obraz świata*, Lublin 1999, с. 65–81.

3. Спорт является источником духовных и телесных радостей¹⁵. Он гармонично соединяет новую информацию, яркие впечатления и отдых. Спортивная субкультура обладает своими музыкальными произведениями, в которых наблюдается столкновение высокого и низкого стилей. Гимны и песни фанатов способствуют рождению стереотипов данной субкультуры, закрепляют определенный образ мира. Стереотипы влияют на понимание того, что происходит вокруг человека, используются обществом для достижения конкретных целей. Однако в современном мире стереотипы подвижны, находятся в сложных взаимосвязях.

Некоторые исследователи видят в стереотипах ряд дополнительных черт, которые расширяют характеристику предмета, и предлагают множество значений и интерпретаций понятия. Стереотипы включают в себе познавательные и эмоциональные (оценочные) характеристики. Неотъемлемая черта человеческого бытия есть явление характеристики¹⁶.

В исполняемых болельщиками текстах знание усваивается без какой-либо критики, что может быть помехой не только для межкультурной коммуникации, но также для общения в границах одной социальной группы. Песни спортивных болельщиков, одна из форм коммуникации, служат созданию симпатии по отношению к своему клубу, гимны манифестируют также негативное отношение и даже агрессию по отношению к игрокам команды-соперницы. Манипулируя словесно-музыкальными текстами, фанаты откровенно выражают свои оценки футбольных событий, творя мир футбола. В создании этого мира актуальной является метафора¹⁷. Создание подобных метафор адаптирует

¹⁵ Спорт, согласно исследованиям, выполняет в публичной коммуникации следующие функции: информативная – передаются сведения о результате и статистике, объясняются правила игры; интеграционная – объединяет болельщиков, рождает чувство социальной общности, возбуждающая – возбуждает эмоции и эстетические переживания, эскапистическая – позволяет на время забыть повседневные заботы. S. Birteel, J.W. Loy, *Sport w mediach: gorący i zimny*, [в:] *Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury*, Kraków 2003, s. 233.

¹⁶ Расширенная типология оценки свидетельствует о том, что человек оценивает почти все объекты, их состояние, вид, поведение, и размещает их на шкале добра и зла. И речь часто служит средством передачи и утверждения не только некоторых идей, мыслей, но также и характеристик. С помощью речи интерпретируется действительность, объектам, которые нас окружают, придается значение.

¹⁷ В текстах гимнов и песен футбольных болельщиков функционирует четырех типа когнитивной метафоры: (а) наиболее популярная из них *спорт – это война*. Здесь используются слова *поединок, борьба, бой, битва, атака, нападающий, оборона, поражение и победа*; (б) *спорт – это зрелище, игра*, где подчеркиваются этические и эстетические ценности, типовые лексические средства выражения – слова *спектакль, игра, парады, показания, концерты, красочные выступления, звезды*; (в) *спорт – это монархия*,

существующие тексты для выполнения иных коммуникативных задач, обогащая другие дискурсы.

В метатекстах, созданных фанатами, упорядочиваются характеристики команд, создается их образ, моделируется стереотипное поведение болельщиков. Представленная здесь «таксация» команд является амбивалентной, поскольку гимн или песня могут содержать как позитивную оценку команды, так и негативную, для этого достаточно изменить название клуба в тексте.

Появление множества текстов, обслуживающих фанатов и болельщиков, свидетельствует о жизненности этих форм для молодёжной субкультуры и сигнализирует об изменениях, происходящих в современном мире.

Streszczenie

Stereotyp w hymnach i piosenkach kibiców piłki nożnej

Sport zaspokaja zarówno potrzeby fizyczne, jak i psychiczne. Hymny kibiców piłki nożnej należą do wyrazistych przejawów klubowej symboliki na równi z flagami i klubowymi emblematami, a równocześnie są przykładem manifestacji sympatii do swojego klubu lub narodowej reprezentacji. Zawartość tych nowych tekstów jest przejrzyste uporządkowana, ponieważ wyraziste są w tych piosenkach portrety obu drużyn. Leksyka oceniająca, kolejność prezentacji świata przedstawionego zdaje się zapowiadać kolejną stereotypizację oraz następną wariację muzyczno-tekstową. Owa dynamiczność świadczy o żywiołowości i sile witalnej folkloru młodzieżowego subкультуры kibiców. Poza tym zjawisko to sygnalizuje metamorfozy kultury masowej we współczesnym świecie.

Rekonesans badawczy pozwolił na wyróżnienie następujących grup tekstów: hymny, piosenki, melorecytacje oraz typ mieszany. Bezwzględne trzymanie się pierwowzoru piosenki w stadionowych hitach spotyka się niezbyt często i tylko wśród tych, które bardzo przypominają hymn z racji muzycznego uporządkowania oraz z uwagi na wysoką stylistykę utworów. Nie są one nasycone wulgaryzmami i przynoszą pewną innowację tekstu, zaś wysoki styl hymnu tonuje agresywność wypowiedzi. Widoczne jest na nich piętno historycznych wydarzeń sportowych, jak również wysoka religijność społeczeństwa. Wyjątkową popularnością cieszą się kolędy – dochodzi tu do pełnej desakralizacji i profanacji wierzeń chrześcijańskich. Innym popularnym sposobem kreowania piosenek stadionowych jest nawiązywanie do znanych melodii słowiańskiej muzyki rozrywkowej; tekst niesie atrakcyjną treść, wykorzystującą nową frazeologię potoczną i taką też metaforykę stereotypizującą schemat informacyjny.

осуществление власти, где средством выражения являются король ворот, цезарь футбола, коронация, владеть титулом, вступить на трон, управлять; (г) футбол описывается в терминах и категориях иных спортивных дисциплин, что придает речи большую выразительность, эмоциональность, например, футбольные соревнования описываются в терминах бокса или борьбы: положить команду на лопатки. P. Nowak, Nazwy własne a opozycja obcy – swój w publicystycznych wypowiedzeniach perswazyjnych, [в:] K. Bottger, M. Giger, B. Wiemer (eds.), Betrager der Europäischen Slavistischen Linguistik (PLYSLAV), Bd. 3, München 2004, с. 155–160.

Ocenę deprecjonującą autorzy osiągają dzięki ewokowaniu nazw narodowości, których piłkarscy przedstawiciele nie osiągnęli wyjątkowych sukcesów i popularności mistrzów. Wykorzystywane bywają melodie sąsiednich kultur w celu zabawnej trawestacji, np. zmiana tempa melodii rodzi zabawę, dowcip, muzyczny żart. Zderzenie stylu wysokiego (hymn) z niskim (potoczny) buduje i utrwala stereotypy. W kreowanych przez kibiców tekstach wiedza o świecie przejmowana jest bez jakiegokolwiek krytyki i służy fanom w komunikacji językowej jednej socjalnej grupy czy komunikacji międzykulturowej – stwarza klimat życzliwości dla swojej drużyny. Może także manifestować agresję względem przeciwnika lub po obu stronach spotkania sportowego (w sytuacji słabej gry własnej drużyny). Z kolei manipulacja słowno-muzyczna utrwala i kształtuje obraz piłkarskiego świata, niesie jego taksację. Temu celowi służy bogaty wachlarz metafor, który ubogaca język kibiców. Metafory są substratem wpływającym na codzienną komunikację fanów piłki nożnej, umożliwiają adaptację już istniejących utworów muzycznych dla nowej sytuacji socjolektalnego dyskursu.

Summary

Stereotype in anthems and songs of football fans

Sport fulfils both physical and mental needs. Hymns of soccer fans belong to expressive manifestation of club symbolism on a par with flags and club emblems. They are simultaneously an example of expression of emotions for one's personal or national team. Contents of these new texts are clearly organised because portraits of both teams in those songs are distinct. Lexis and order in which portrayed world is presented seem to announce stereotypization, music-textual variation and linguistic image of the team. That dynamism presents spontaneity and vital folklore strength of youth fan subculture. Moreover mentioned phenomenon signalizes metamorphosis of modern mass culture in modern world.

The research permits to distinguish the following groups of texts: hymns, songs, melorecitation and mixed type. Rigorous holding of the original song in stadium hits happens rarely – only among those reminding hymn on the basis of musical arrangement and because of high stylistics of the tune. They are not filled with vulgarisms and bring certain innovation of the text and the elevated style tone down aggressiveness of the statement. Historical sports events and religiosity of the society imprint on them. Christmas carols are very popular – one can perceive full desacralization and profanation of Christian beliefs. Another popular way of creating stadium songs is referring only to known melodies of Slavic popular music; text brings attractive content using new popular phraseology and imagery that stereotype information scheme.

Authors reach depreciated appraisal thanks to recalling names of nationalities of which soccer representatives did not receive unique success and popularity of the masters. Melodies of neighbouring cultures are being used for the funny travestiation for example change of melodies tempo brings out an amusement, a joke or musical trick. Juxtaposition of elevated style (hymns) and lower styles (popular songs) builds and establishes stereotypes. In the text created by fans knowledge about the world is taken without any criticism and is used in communication of one social group or the multicultural communication, creates kindness climate for their soccer team. It may also represent unnecessary aggression towards an opponent or on the both sides of the game (in case of weak play of the favourite team). On the other hand word-musical manipulation establishes and creates the view of the soccer world and also brings it's own taxation. Wide arrange of metaphors, that enrich the language is used to reach that aim. Metaphors are substrate influencing everyday communication of soccer fans and they enable adaptation of already existing songs for the new situation of sociolect discourse.

Recenzje

**„Вестник Российского Государственного университета им. И. Канта”.
Серия „Филологические науки”, Выпуск 8, Калининград 2010, сс. 160.**

В 2010 г. в Калининграде издан очередной номер журнала „Вестник Российского Государственного университета им. И. Канта”, в котором помещено 29 статей, собранных в нескольких разделах.

Открывают номер статьи, анализирующие „Вопросы языковой модальности” (с. 8–39). В них рассмотрены проблемы авторской модальности как текстообразующей категории (С.С. Ваулина, О.В. Девина) и модальной категории организации научного текста на материале русских орфографических трактатов XVI века (И.Р. Федорова); проанализированы модальные средства в газетных текстах XVIII (И.Ю. Кукса); исследованы модальные значения микрополя необходимости на примере романа Л.Н. Толстого *Воскресение* и его польского перевода (Р.В. Алимпиева, О.А. Толстая) и высказывания с модальным значением возможности в текстах телевизионных реклам (Е.М. Тутукова).

В части „Язык – Мир – Концепт” (с. 40) помещены четыре статьи, в которых представлены методические установки необходимости при анализе категорий „мужского” и „женского” на разных примерах из русского языка (У.С. Стрекалова) и фразеологические средства показа метафорического видения совести в польской языковой картине мира (Е.В. Зубрицкая); проведен анализ лексических средств для осмысления виртуального пространства в русскоязычном компьютерно-сетевом дискурсе (Е.Б. Русакова) и формирования древних фамилий, связанных с историей территории (Ю.А. Гурская – Белорусский гос. пед. университет).

Авторы статей, находящихся в разделе „Слово в поэтическом тексте” (с. 61–80), провели анализы разнообразных художественных текстов разных авторов, учитывая употребляемые ими лексические единицы, создающие индивидуальные „концептуальные профили” (М.Ю. Мухин – Уральский университет); синтаксических средств в формировании смысла стихотворения М.Ю. Лермонтова *И скучно и грустно* (И.Н. Лукьяненко); индивидуального авторского употребления глаголов и существительных в рассказах А.И. Солженицына (Л.М. Савина – Волгоградский университет); употребления субстандартных единиц в художественных произведениях авторов XXI (Т.А. Кудинова – Ростовский университет).

„Глоттодидактика сегодня: методы и приемы” (с. 81–96) – это следующая часть рассматриваемого номера журнала. Л.В. Бухалина (Балтийский военно-морской институт) поместила текст *Творческий аспект в системе созидательной лингвистики*; Е.А. Железняк рассмотрела потенциал драмы как методико-воспитательный прием при обучении польскому языку как иностранному, а П.Ф. Макарова исследовала использование метафор при изучении польского языка как иностранного.

Самый обширный раздел, в котором помещено восемь статей – это „Литературная классика: аспекты исследования” (с. 97–133). В них проанализированы классические произведения, начиная с *Поучения Владимира Мономаха* (Л.Г. Дорофеева), через оды М. В. Ломоносова (О.Н. Павляк), до рассказов Ф. Сологуба, в которых автора интересовали танатологические концовки (Р.Л. Красильников – МГУ).

Женский вопрос в американской литературе начала XX века рассмотрела Н.В. Искандарова (Сумгаитский университет – Азербайджан) на примере творчества Чарльза Брокдена Брауна, а в литературе немецкой на основе цикла Э.Т.А. Гофмана *Серапионовы братья* М.В. Крысанова (МГУ). Влиянию рассказов А.П. Чехова на творчество современных авторов, в частности, иранской писательницы, посвящен текст трех исследователей из Тегеранского университета (М. Яхьяпур, Дж. Карими-Майтаххар, С. Эсмаили).

Два текста относятся к художественному творчеству русских поэтов А.В. Крысанова представила поэтику образов пространства в цикле стихов М. Цветаевой *Стол*, а М.Н. Коннова рассмотрела аксиологию времени в стихотворении Б.Л. Пастернака. Автор считает, что „исследование аксиологии времени в стихотворении Б. Пастернака *Неоглядность* свидетельствует о неотделимости пространственно-временного континуума от ценностного деятельного начала...” (с. 133).

Заканчивает рекомендуемый сборник раздел „Литературные альтернативы” (с. 134–160), состоящий из пяти статей. М.С. Потёмина на примерах из художественных текстов немецких авторов XX века рассмотрела полифункциональность иронии, а Т.В. Цвигун пробел как средство транс(де)формации текста на основе примеров из русского авангардизма. Статья Л.А. Мальцева касается дневниковых жанров Ежи Анджеевского. Автор рассматривает их значимость во всем прозаическом опыте писателя, подчеркивая, что „Анджеевский вел дневники на протяжении всего творческого пути” (с. 144).

Н.Е. Лихина обратила внимание на выступающий в современной русской литературе мотив денег, раскрывая этот вопрос на примере творчества А. Вампилова, В. Пелевина, В. Распутина, Р. Сенчина. С.В. Свиридов проследил влияние последних прозаических произведений В. Катаева на поэтику В. Высоцкого. Автор статьи отмечает, что „*Трава забвенья*, прочитанная вовремя, была в числе импульсов, направляющих Высоцкого к его зрелой эстетике и поэтике” (с. 158), а книги Катаева входят „в поэтический язык Высоцкого, формируя знаковую связь моря, корабля, приема олицетворения и темы высоких свобод – свободы чувства, творчества, жизни” (с. 159).

Как нам кажется, предлагаемый новый номер калининградского журнала должен заинтересовать широкий круг читателей своей богатой, разнообразной, оригинальной и по-новому представленной тематикой из области языкознания, глоттодидактики, культуры и литературы.

Irena Rudziewicz

А.З. Дмитриевский, *Славянские записки*, Калининград 2010, ss. 154.

Przed nami zbiór artykułów i esejów znanego i nam poety, myśliciela i filologa, a wszystkie te określenia można uogólnić, nazywając go koneserem i wielkim miłośnikiem Słowa. Teksty pochodzą z lat 1995–2010 i były publikowane nie tylko w rosyjskiej, lecz i w polskiej periodyce. Autor wiele uwagi poświęca rozważaniom nad językiem rosyjskim, zwłaszcza zaś przyczynom jego współczesnej degradacji, objawiającej się wręcz niechlujnym użyciem inkrustowanym nieuzasadnionym stosowaniem wyrazów obcych. Autor, rozmiłowany w idei duchowego zjednoczenia wszystkich narodów słowiańskich, uważa, że gdy przeciwstawimy się niszczącej sile globalizacji, uratujemy własną tożsamość, własną specyfikę kulturową. Książka powstała z myślą o 600-letniej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, która jest tu rozumiana jako symbol zjednoczenia Słowian, a inne treści wskazują na przekonanie, że poczucie jedności powinno towarzyszyć Słowianom i dziś, chociażby ze względu na realne zagrożenia co do utraty tożsamości.

A. Dmitrowski wiele refleksji poświęca przypominaniu czytelnikom o wielkich kartach wspólnej rosyjskiej i polskiej historii, prezentuje zresztą w retrospekcji cały słowiański świat, poczynając od kulturowej działalności Cyryła

i Metodego. Klamrą spinającą te rozważania jest przypomnienie o współczesnych zorganizowanych próbach uratowania (czy może raczej ustanowienia) tej jedności. Chodzi o aktywność Всеславянского съезда, organizacji funkcjonującej ponad podziałami etnicznymi od roku 1848. Dwa jakże istotne wydarzenia zostały jednak przemilczane przez media: Zjazd Ogólnosłowiański w Mińsku (1985), gdzie został zatwierdzony Manifest Słowiański, a także nadzwyczajny zjazd Всеславянского собора w Moskwie (1999). Obradowano też w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej tragedią Jugosławii. Tymi oraz innymi istotnymi problemami zajmował się „самый представительный орган современного славянства, его истории и духа, его нынешней культуры и предстоящего утверждения в третьем тысячелетии”. Dowiadujemy się, że w Kaliningradzie istnieje oddział Międzynarodowej Akademii Słowiańskiej.

Skądinąd wiadomo, że nie ma takiego odpowiednika organizacyjnego w Polsce, a jednak w wielu tekstach recenzowanej książki znajdujemy sądy o możliwościach i oczekiwaniach wobec Polaków: „новый общеславянский свет исходит с польской земли”. Wydaje się, że do takiego wizerunku Polski, do tak optymistycznych wobec niej oczekiwań przyczyniła się ponad 20-letnia współpraca Uniwersytetu im. Kanta w Kaliningradzie z filologią rosyjską w pierw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zresztą ten wątek jest lejtmotywem tekstów A. Dmitrowskiego, a pisząc o kontaktach z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, nazywa je metaforycznie słowiańskim rajem. Słusznie zresztą akcentuje udział w tej współpracy prof. S. Wauliny, R.W. Alimpijewy i wielu innych.

A. Dmitrowski interpretuje historię rosyjsko-polskich kontaktów kulturowych, poczynając od Danilewskiego po trudną współczesność. Dużo uwagi poświęca rozważaniom Bierdiajewa o specyfice zarówno polskiej, jak i rosyjskiej duszy, a także o praprzyczynie różnic w charakterach narodowych, słusznie sądząc, że mają one walor prawdy ponadczasowej. Oprócz tych historycznych refleksji ogólnych, przedstawia też współczesne egzemplifikacje dotyczące nie tylko wzajemnych kontaktów, ale i specyfiki mentalnej. W tym aspekcie wspomina pięknym słowem śp. prof. Bazylego Białokozowicza, jego ogromny dorobek i niepowtarzalną osobowość twórczą. Wiele ciepłych słów poświęca prof. Walentemu Piłatowi (dr. honoris causa Uniwersytetu w Kaliningradzie), stwierdzając, że jest on jednym z najwybitniejszych w Polsce znawców dramaturgii rosyjskiej, jak również poetą, którego utwory są tłumaczone na język rosyjski przez R.W. Alimpijewą. Przypomina też bogatą osobowość twórczą i organizacyjną śp. prof. Alberta Bartoszewicza, np. w kontekście jednej z wielu wspaniałych konferencji, która odbyła się w 1995 r. w Iławie. To właśnie Profesor był

spiritus movens owocnej, jakże obustronnie pożytecznej współpracy pomiędzy naszymi placówkami naukowo-dydaktycznymi, która oby trwała! Prezentując najważniejsze elementy tej koegzystencji, A. Dmitrowski określa filologię rosyjską UWM mianem „Международный центр сравнительной славянской филологии”.

Kończąc powyższe uwagi, chcę podkreślić, iż omawiana publikacja nie jest dziełem jednolitym, co łatwo zrozumieć, znając różnorodne zainteresowania prof. Dmitrowskiego. Ponadto teksty są pisane w różnym czasie oraz w związku z różnymi okolicznościami. Niemniej jednak stanowią one bogate źródło wiedzy, mają walory informacyjno-poznawcze oraz – jeżeli można tak powiedzieć – refleksyjne. Skłaniają głównie do dwóch refleksji. Pierwszą można wyrazić w pytaniu: czy my, Słowianie, istotnie nie potrafimy harmonijnie współpracować, dążąc dla wspólnych celów? I jeszcze: czy każda utopia jest złem? Czy myślenie utopijne w słusznej sprawie nie ofiarowuje nam nadziei, jednocześnie wytyczając przynajmniej kierunek, w którym należy zmierzać, nawet ze świadomością, że proponowane cele są nie w pełni, a nawet zasadniczo nierealne? A więc szerokiej drogi niepoprawnym marzycielom...

Joanna Korzeniewska-Berczyńska

Wschód – Zachód w dialogu międzykulturowym, pod redakcją Jolanty Kaziemierczyk i Grażyny Lisowskiej, Akademia Pomorska, Słupsk 2010, ss. 215.

После проведенной 24–25 сентября 2009 г. VII Международной научной конференции „Восток – Запад” издан очередной том материалов, в котором в двух разделах помещены статьи авторов из Украины (5), России (3), Турции (1) и разных учебных заведений Польши (22).

В первом „Literatura rosyjska i kultura Rosji” находится 16 докладов, в которых авторы проанализировали разнообразные проблемы литературоведения и культурознания. Можно выделить тексты, представляющие мировоззрение, раздумья, философские идеи отдельных писателей разных школ, времен и эпох. Рассмотрена философская проблематика романа *Пирамида* Л. Леонова (А. Газизова – Москва); проведен сравнительный анализ экзистенциального сознания в художественном воплощении В. Вульф и А. Платонова (А. А. Степанова – Днепропетровск); на основе избранных

произведений В. Гомбровича и Ф. Достоевского произведено исследование *O dialogu kulturowym w aspekcie esencjalno-egzystencjonalnym koncepcji bytu* (P. Bogusz – Poznań).

Вторую группу составляют доклады, в которых дается подробный и оригинальный, тщательный и своеобразный анализ избранных литературных мотивов в различных текстах разных авторов. В центре внимания С. Н. Спиридонова (Москва) нашлись традиции еврейского плутовского романа рассмотрены на примере произведения *Похождения факира* Вс. Иванова. P. Gancarz (Słupsk) обратил внимание на категорию свободы, которую рассмотрел на основе литературных раздумий В. Гроссмана, подчеркивая, что творчество этого писателя имеет „ponadczasową wartość, to właśnie m.in. ze względu na ładunek myśli wolnościowej w niej zawarty” (с. 96). Т. Пудова (Słupsk) провела анализ гоголевских элементов, влияний, откликов в творчестве современного писателя М. Кураева, которого „роднит с гоголевской традицией умение увидеть в обыденности жизни фантастические черты; его внимание привлекает ничем не привлекательный человек” (с. 104).

Самая обширная часть этого раздела посвящена проблемам культуры России и Европы, литературы отечественной и зарубежной, анализам развития эмиграционного и отечественного литературного процесса. В трех докладах затронуты темы взаимовлияния польской и русской литературы. I. Lach (Słupsk) исследовала польские отголоски в трилогии В. Аксенова *Московская сага*; I. Rudziewicz (Olsztyn) отразила некоторые формы влияния традиций М. Горького на творчество избранных польских писателей-„деревенщиков”; Т. Osuch, G. Lisowska (Słupsk) проследили постановки пьесы А. Чехова *Чайка* в польских театрах на рубеже XX–XXI веков, подчеркивая, что произведение „и по сегодняшний день оказывается в центре внимания польской театральной и литературной критики” (с. 97).

В статье *Феномен субъективности в Восточно-Западном диалоге шестидесятников* В.Д. Наривская (Днепропетровск) обратила внимание на историческую роль шестидесятничества „независимо от причастности или не причастности к объединениям, группам, событиям, поскольку это был не только бунт, но мощная вспышка субъективного сознания, качественно обновившего хор культурного развития” (с. 13). J. Kazimierczyk (Słupsk) представила доклад *W kręgu mistycznych nastrojów Aleksandra I. (Więzi z „Krudenerką”)*, а М. Gubińska *Kultura arabsko-muzułmańska wobec cywilizacji Zachodu we współczesnej francuskojęzycznej literaturze Maghrebu*.

А. Horniatko-Szumilowska (Szczecin) рассмотрела взаимовлияние двух культур на примере творчества избранных украинских писателей-романтиков,

которые являлись представителями „ukraińskiej szkoły w literaturze rosyjskiej” (с. 21). С. Кочетова (Горловка, Украина) исследовала литературную критику М. Волошина, в частности, посвященную французской культуре, к которой писатель был привержен.

„Walka w szeregach konfederatów oraz niewola i zesłanie do Rosji stały się udziałem Karola Lubicz Chojeckiego oraz Thesby’ego de Belcoura” (с. 63) информирует в своей статье М. Dąbrowska (Warszawa) и анализирует дневники, написанные поляком и французом после пребывания в плену и царской ссылки в России. И.В. Дорогань (Днепропетровск) посвятила свое внимание личности и дневниковым записям писательницы и художницы Марии Башкирцевой, которая представляет собой „феноменальное явление русско-украинско-французских культурных связей”, а публикация ее дневника „стала настоящей сенсацией для европейского общества”, так как „его страницы раскрывали образ необыкновенной личности” (с. 70), которая „явила собой воплощение культурологической мысли об амбивалентном единстве культур Востока и Запада” (с. 76).

Во втором разделе „Język rosyjski. Problemy przekładu i dydaktyki” помещено 15 докладов, в которых были рассмотрены три важные темы, связанные с изучением русского языка. В первой части этого раздела авторов интересовали вопросы развития современного русского языка, проблемы языковедения и структуры родственных языков. Michał Akartel (Katowice) исследовал мир ассоциаций в русском и польском языках, используя для этого слова, которые „подверглись семантической модификации и приобрели на уровне языкового подстандарта, совершенно новое значение” (с. 116), а S. Szadyka (Warszawa) роль и место аббревиатур на примерах современного русского языка делового общения.

Е. Рагозина (Калининград) рассмотрела способы использования разного типа вопросительных конструкций при общении, которые, по ее мнению, „являются весьма значительным средством осуществления коммуникационных связей, условием взаимопонимания людей” (с. 157), а А. М. Калюта (Эрджиесский университет, Турция) на основе примеров из русской и турецкой фразеологии роль анимализмов.

Ł. Karpiński (Warszawa) представил доклад *Обучение иностранным специальным языкам с точки зрения лексикографии*, а М. Czetyrba-Piszczako (Olsztyn) и М. Czetyrba (Poznań) рассмотрели на примере украинского языка „derywaty fleksyjne i prefiksalne z ne- przedrostkowym”, которые являются формой редко выступающей в соотнесении „do klasy pochodnych afiksalnych. Pochodne paradygmatyczne derywowane są najczęściej od podstaw

czasowników, natomiast derywaty prefiksalne od odpowiednich niezaprzeczonych jednostek leksykalnych” (с. 174).

G. Lisowska (Słupsk) свой доклад посвятила развитию русского языка в произведениях массовой литературы, используя тексты детективных романов Александры Марининой. Автор считает, что массовая литература в какой-то степени является отражением „реальных коммуникативных ситуаций, общения и поведения людей, отражением картины языковой реальности” (с. 163).

Часть текстов во втором разделе относится к разнообразным проблемам переводческой деятельности. В них авторы касаются переводов художественных текстов русских авторов на польский язык. D. Gierczyńska (Słupsk) проанализировала способы и адекватность перевода русской разговорной речи на польский язык на примере повести Л. Улицкой *Сонечка*; M. Bączkowska (Gdańsk) рассказов Ю. Дружникова, учитывая „литературоведческие аспекты русских реалий и их значений в тексте” (с. 132).

Н. В. Зинукова (Днепропетровск) занялась анализом переводов гендерно ориентированной лексики в текстах англоязычной публицистики; K. Koczur-Lejk (Szczecin) влиянием культурных отношений на взаимные переводы польских и чешских текстов в XVI веке. Произведения польских авторов не всегда находили тогда читателей среди чехов, на что влияли „odřębne warunki społeczne, gospodarcze, a tym samym różnice w rozwoju kulturalnym między Polską a Czechami w XVI wieku” (с. 151).

В четырех текстах II раздела затронуты проблемы методики и способов обучения русскому языку. О возможности измерения выступающих трудностей в русских дидактических текстах изложила K. Wądołowska-Leśner (Gdańsk); результаты облика и образа учителя русского языка представила J. Frąckowiak (Poznań); об использовании игры и игровых форм обучения для повторения изученного материала писала M. Wiatr-Kmieć (Poznań); о принципах коммуникативности и учета родного языка при обучении русскому языку польских студентов-филологов докладывал A. Klimkiewicz (Słupsk).

Изданный в Слупске сборник материалов является, как нам кажется, очень нужным. Представленные в нем оригинальные и новые материалы, интересно поставленные вопросы и исследованные темы могут заинтересовать широкий круг читателей, в том числе преподавателей, исследователей и студентов высших учебных заведений.

Irena Rudziewicz

Ольга Камінчук, *Художній дискурс української поезії кінця XIX – початку XX ст.*: Монографія, „Педагогічна преса”, Київ 2009, ss. 352.

W kręgu zainteresowań Olgi Kamińczuk znalazły się m.in. problemy estetycznej specyfiki ukraińskiej poezji przełomu XIX i XX wieku. Monografia *Художній дискурс української поезії кінця XIX – початку XX ст. (Artystyczny dyskurs ukraińskiej poezji końca XIX – początku XX w.)* poświadcza bogactwo doświadczeń badaczki oraz jej interdyscyplinarną wiedzę. Wcześniej tematyką tą zajmowali się m.in. Bohdan Rubczak, Mykoła Bondar, Mychajło Najenko, Jurij Szerech, Wołodymyr Morenec.

Autorka łączy rozmaite wyobrażenia, rozdział po rozdziale omawia najważniejsze etapy rozwoju poezji przełomu XIX i XX wieku, skrupulatnie wyróżnia strukturalno-semantyczne typy artystycznego stylu, który wyraża się twórczą jednością ontologicznej koncepcji i strukturalnego paradygmatu. Kamińczuk podjęła próbę interpretacji określonych nurtów tego okresu – romantyzmu, neoklasycyzmu, neoromantyzmu, symbolizmu i dekadentyzmu, wiele uwagi poświęcając estetyce. Ujęła w duchu epoki główne tematy, motywy i nastroje występujące w poezji. Scharakteryzowała sytuacje poznawcze generowane przez poezję ukraińską, gdzie właściwie dopiero sto lat temu poetyka zaczęła dojrzewać do artystyczno-literackich norm europejskich i nowoczesnych.

W rozdziale pierwszym *Просвітницький романтизм: особистість і суспільство (Oświeceniowy romantyzm: osobowość i społeczeństwo)* autorka analizuje tendencje romantyzmu i oświecenia. Według niej poetycka recepcja ujawnia się w sferze świata przedstawionego liryków, w których występują obrazy romantyczne. Ta liryczna synteza poezji przełomu XIX i XX wieku ilustruje interpretację głównych kategorii wypracowanego światopoglądu. Przodują zatem idee duchowej wieczności oraz moralności jednostki. Autorka uważa, że również przyroda wyznacza syntezę romantyczną, połączoną z psychologiczną, dzięki której można odnaleźć prawdziwe oblicze sztuki. Jednocześnie z romantyzmem wiąże się niecodzienna miłość, której rozumienie ujawnia się w kategoriach etyki chrześcijańskiej. Kamińczuk pisze, iż poezja omawianego okresu stanowi recepcję tradycyjnego romantyzmu początku XIX wieku, a zarazem widoczne są estetyczne zjawiska, jakie nabyła w trakcie rozwoju. Tradycje romantyczne reprezentowali m.in. Mychajło Staryckij, Ołena Pczilka, Iwan Manżura, Pawło Grabowskij, Borys Hrinczenko, Jakiw Szczocholew, Pantelejmon Kulisz.

W drugim rozdziale *Неокласицизм: раціоналістичний вимір (Neoklasycyzm: racjonalny wymiar)* Kamińczuk bada początki nurtu neoklasycznego, który

racjonalnie zgłębiał szeroką problematykę oraz poszukiwał sensu ludzkiego bytu w świecie intelektualnych zasad. Neoklasyczna poezja charakteryzuje się filozoficznym rozumowaniem fenomenu twórczości jako duchowo-praktycznej działalności człowieka i jego osobowości. Wyróżnia ją także artystyczne postrzeganie miłości – filozoficzne wyobrażenie ludzkiego uczucia traktuje się jako walkę z siłami zła. Neoklasycyzm odznacza się również specyficzną interpretacją obrazu przyrody, którą pokazuje jako źródło życia ukryte w semantyce mitologicznej. Kamińczuk uważa, że racjonalny typ poetyckiego myślenia, czyli nadludzki stopień artystyczny, współdziała z emocjami sfery egzystencjalnej. Szczytowym zjawiskiem neoklasycyzmu stała się poetycka twórczość pięciu poetów: Mykoły Zerowa, Pawła Fylypowycza, Mychajły Draj-Chmary, Maksyma Rulskiego i Oswalda Burchardta.

Z kolei trzeci rozdział *Неоромантизм: антропоцентричне самоозначення* (Neoromantyzm: skoncentrowane samostanowienie) to analiza ukraińskiej poezji neoromantycznej, postrzegającej świat jako dynamiczną jedność kontrastów. Twórczość pisarzy tego okresu jest najwyższą formą wyrażenia osobowości oraz odkryciem duchowo-estetycznego potencjału w kontekście antytezy duchowości i świadomości. Interpretacja przyrody ma raczej charakter symboliczny, przy czym neoromantyczna poezja wykorzystuje szeroki strukturalno-semantyczny aspekt motywów nieba, morza, górskich dolin, wiosny i kwiatów. Kamińczuk twierdzi, że neoromantyczna sztuka nasączona jest poetyckimi, symbolicznymi obrazami, a w utworach poetów tego nurtu występują ludowe symbole, co jest szczególnie widoczne w twórczości Lesi Ukrainki, Uljany Krawczenko, Dniprowe Czajky, Mykoły Czerniawskiego, Sylwestra Jaryczewskiego, Ołeksandra Olesja.

W kolejnym rozdziale, zatytułowanym *Символізм: сакральне й естетичне* (Symbolizm: sakralny i estetyczny), Kamińczuk twierdzi, że styl ukraińskiej poezji odzwierciedla duchowe odczucia, a estetyczne oznaczenia obrazów odkrywają idealny świat oraz ideę piękna. Ważną strukturalno-semantyczną funkcję pełni symbolika koloru w kontekście artystyczno-stylistycznym europejskiego symbolizmu, który określa jednolitość formy. Badaczka przyznaje, że ukraiński symbolizm czerpie ze źródeł francuskich, rosyjskich etc., dlatego najczęściej ujawnia elementy innych artystycznych nurtów poezji europejskiej. Rozwój tych estetycznych tendencji prezentują wiersze Mykoły Woronoja, Petra Karmańskiego, Wasyla Paczowskiego, Hrygoria Czupryni.

Ostatni rozdział *Декаданс: натурфілософія часу* (Dekadentyzm: naturalna filozofia czasu) badaczka poświęciła dekadentyzmowi, który postrzega jako filozoficzną interpretację śmierci jako zakończenia ziemskiego bytowania. Charaktery-

styczną cechą dekadentyzmu jest również aspekt ideału, który w sferze przeszłości stanowi artystyczną tendencję. Według Kamińczuk głównym formatem dekadentyzmu oprócz estetyki i śmierci jest konotacja pejzażu oraz symbolika morza. Ten artystyczny styl wiąże się z neoklasycyzmem i symbolizmem. Zjawisko to ujawnia się w twórczości Bohdana Łepkiego, Stepana Czarneckiego, Mykoły Filanskiego.

Kamińczuk opisuje w sposób klarowny najważniejsze nurty, bada z różnych punktów widzenia utwory wymienionych pisarzy, porusza wątki historyczne, estetyczne, kulturowe oraz poetyckie. Przyjęte założenia i przedstawione etapy rozwoju poezji formułuje w sposób konceptualny – każdy rozdział to obszerna analiza pewnego nurtu. Wspólną cechą poezji ukraińskiej przełomu wieków było głębokie współczucie ludziom, często spotyka się też motywy historyczne o zabarwieniu patriotycznym.

Monografia stanowi bogate kompendium wiedzy o poezji ukraińskiej i z czasem stanie się konieczną „bazą danych” dla każdego badacza, który zajmuje się tą problematyką. Podsumowując, można powiedzieć, że Kamińczuk prezentuje nowe poglądy na estetyczną specyfikę poezji przełomu XIX i XX w. kultury ukraińskiej.

Monika Wróblewska

Halina Mazurek, *Róża i Płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej*, WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2009, ss. 116.

Książka Haliny Mazurek składa się z trzech rozdziałów. W rozwiniętym wprowadzeniu *Od liryki poprzez biografię do dramatu* (s. 7–22) autorka przedstawia trudne i skomplikowane losy życiowe poetki, poddaje analizie tworzone w poszczególnych okresach życia utwory, zgadzając się z wypowiedziami wielu badaczy, iż „obsesyjnym wręcz jej tematem jest miłość, do wszystkich niemal i do wszystkiego” (s. 11). Ona to również stanowi główny temat jej dramaturgii, którą do tej pory badacze mało się zajmowali. Do środowiska teatralnego wprowadził poetkę Paweł Antokolski, co zaowocowało jej twórczością przeznaczoną na scenę. Autorka szczegółowo omawia powiązania Cwietajewej z teatrem, aktorami, reżyserami, a także utwory liryczne tematycznie związane z teatrem, gdyż jej „wiersze antycypowały, dopełniały i na wszelkie sposoby nawiązywały do dramatów” (s. 21).

W rozdziale I *Życie, zdarzenia, postacie* (s. 23–66) autorka omawia poszczególne dramaturgiczne utwory Cwietajewej, rozpoczynając od pierwszych prób, które powstawały pod wpływem emocji związanych z „bliskim kontaktem z teatrem, zakulisowym życiem, aktorami, z nowymi ludźmi, spotykanymi, zarówno na scenie, jak i na widowni” (s. 23). Przeprowadza analizę sztuki *Walec czerwieny*, której głównym tematem jest konfrontacja miłości duchowej i przyziemnej. Następnie autorka skoncentrowała się na pokazaniu powiązań sztuki Cwietajewej z tradycyjnymi utworami dramatycznymi (Rostand, Blok), by przejść do tekstu *Kamienny anioł*, który wyłamuje się z całego cyklu *Romantyka*, gdyż podobnie jak w sztuce *Walec czerwieny* akcja nie jest umiejscowiona w XVIII stuleciu. Obie sztuki, podkreśla Mazurek, nie były zbyt często analizowane przez krytyków, którzy uważają je za nietypowe, odmienne i zaskakujące z punktu widzenia całej dramaturgii Cwietajewej. Pomysł sztuki związany był z rzeczywistymi wydarzeniami i realnymi postaciami aktorów – Sanią Holladay i Jurijem Zawadskim, który stał się również adresatem cyklu wierszy poetki, a ona bohaterką *Powieści o Sonieczce*.

Z Zawadskim powiązane są i następne dwie sztuki Cwietajewej, których akcja rozgrywa się w XVIII wieku, a „główna kolizja opierać się będzie jeszcze dodatkowo na przeciwstawieniu dwóch epok” (s. 29–30). Romantyczna *Zamieć* bardzo silnie związana jest z życiem poetki, a jej główny konflikt „opiera się, jak zwykle w utworach Cwietajewej, na przeciwstawieniu ideału przyziemności” (s. 32). W dramacie *Fortuna*, składającym się z pięciu obrazów, poetka przedstawiła kolejne etapy życia księcia de Lauzu poprzez spotkania z kobietami, z którymi był związany. Te dwa utwory, podkreśla badaczka, nie mają typowo dramaturgicznej budowy, gdyż składają się z kilku odsłon, części, a Cwietajewa dokonuje w nich przeglądu zdarzeń z całego życia bohaterów, „aby w ten sposób zaprezentować całościowe podejście do poruszanych zagadnień i szeroko uzasadnić postępowanie i zachowanie postaci” (s. 38).

Dwa następne dramaty *Przygoda* i *Feniks* są poświęcone postaci Casanovy, w *Pamiętnikach* którego rozczytywała się Cwietajewa, gdyż on również, jak i ona, „kochał miłość”. Mazurek dokonuje przeglądu autentycznych sytuacji i wypadków z życia poetki, jej ówczesnych przyjaciół i znajomych, które wpłynęły na kreacje bohaterów w obu sztukach. Motywy młodości i starości, osamotnienia i śmierci, starzenia się, zmiany epok wynikały u Cwietajewej, podkreśla uczona, „z biografii jej i jej pokolenia, jak również z biografii pokolenia ojców”, a tragedia bohaterów łączyła się „z dramatami życiowymi wielu współczesnych jej pisarzy, poetów, wybitnych jednostek dających swoim istnieniem i działalnością świadectwo świetności epoki” (s. 54).

Rozdział I kończy analiza dwóch ostatnich dramatów Cwietajewej *Ariadna* i *Fedra*, które różnią się od poprzednich, gdyż są interpretacją antycznych mitów, ale „łączy je z całą dramaturgią autorki temat miłości, którą tu postanowiła uzasadnić psychologicznie” (s. 55). Łączą się również z dwoma poematami i cyklem liryków, gdzie wiodącym tematem jest pożegnanie, nietrwałość ziemskiego uczucia, rozstanie. W obu sztukach, jak nie bez racji podkreśla Mazurek, „autorka dąży do prawdziwego, logicznego, ludzkiego uzasadnienia postępowania mitycznych postaci...”, koncentrując się „właśnie na psychologicznych uwarunkowaniach działań bohaterów” (s. 59).

W rozdziale II *Język i wiersz* (s. 67–88) Mazurek skoncentrowała swoją uwagę na najważniejszych cechach języka i wiersza Cwietajewej, podkreślając ich dynamiczność. Użyte skróty przyczyniają się do podniesienia dynamiki poszczególnych scen, a zastosowane dźwiękonaśladowcze określenia tworzą dynamikę akcji. Te środki, a także liczne powtórzenia, cytaty, wykrzyknienia „urozmaicają akcję i zastępują tradycyjną intrygę nieodzowną dla uzyskania wartości przebiegu zdarzeń” (s. 68).

Autorka zwraca uwagę na nerwowy, niespokojny, emocjonalny język. W tych dramatach „nie ma słowa ani zdania beznamiętnego, spokojnego, wyciszonego”, co podkreśla niebanalność tekstów, „ich niepowtarzalność i oryginalność” (s. 76), które fascynują i przyciągają uwagę czytelników i widzów. Podobnie jak użycie wyrazów potocznych, występowanie epitetów ludowych i form z języka staroruskiego nadaje wypowiedziom bohaterów śpiewność, tworzy specyficzną atmosferę. Wykorzystuje również Cwietajewa wypowiedzi chóru, którym nadała ludowe brzmienie, wzbogacając o nastrojotwórcze funkcje.

Według badaczki „granie językiem, rytmem, rymem należy do najważniejszych atutów stylu dramatów Cwietajewej”, a „wirtuozeria języka, zwłaszcza jego dynamika, żywość tworzą akcję analizowanych sztuk i tym samym przesądzą o ich dramatyczności i teatralności” (s. 87). Jak nie bez racji podkreśla Mazurek, Cwietajewa za pomocą swojego oryginalnego języka „docierała do najgłębszych pokładów duszy ludzkiej, duszy kobiety rozdartej między potrzebami Ewy i pragnieniami Psyche” (s. 88).

Rozdział III *Róża i Płaszcz* (s. 89–103) poświęcony został analizie tych dwóch symboli zarówno w liryce, jak i w dramatach. Dla poetki róża jest symbolem ulubionym i może oznaczać prawie wszystko, a zwłaszcza to, co ziemskie. „Ta rozmaitość rozumienia symboliki róży przenosi się do interpretowanej tu dramaturgii” (s. 90), choć ma swoje odzwierciedlenia przede wszystkim w liryce, a także „symbolizuje i jej życie, w którym chwile radości i uniesień miłosnych często okupione były rozczarowaniem, rozpaczą i bólem” (s. 94).

Symbolika płaszcza, stwierdza Mazurek, jest w twórczości Cwietajewej wieloznaczna, choć oznacza najczęściej „tajemnicę miłości duchowej” i staje się obok róży „spektakularnym elementem kształtu teatralnego w omawianych sztukach” (s. 97). Autorka kolejno omawia rolę tego rekwizytu w analizowanych sztukach i podkreśla, że „płaszcz jako symbol magii, wróżb, najczęściej dobrych występował w całej twórczości, głównie w liryce Cwietajewej” i zawsze z nim wiązało się „coś tajemniczego, niedopowiedzianego, duchowego” (s. 101–102).

W *Uwagach końcowych* (s. 105–108) autorka jeszcze raz podkreśla, że wszystkie napisane przez Cwietajewą utwory dramatyczne przekonują „o niezwykłej zdolności teatralnego, plastycznego widzenia świata przez poetkę. Ona go nie tylko wyobrażała, patrzyła nań, obserwowwała, malowała i przeżywała, ale tworzyła widowisko, koncentrując się na ruchu postaci w nim uczestniczących, dynamizowała przedstawione sceny i umieszczała je w konkretnej przestrzeni” (s. 105) przede wszystkim dzięki wyjątkowo i umiejętnie dobranym słowom, ich oryginalnym przekształceniom i tworzonemu neologizmom.

Elementy sceniczności, charakterystyczne są dla całej twórczości Cwietajewej, odnajdują się w prozie i poematach, gdyż „w każdym z uprawianych gatunkach i rodzajów literackich realizowała się jako poetka i jako twórca obdarzony wyjątkowym zmysłem scenicznym” (s. 106). Na całokształt twórczości przeogromny wpływ miało życie autorki, jej przeżycia i rozterki, które „splatają się z kreowaną rzeczywistością”. „W liryce przejawia się przede wszystkim życie, w największym stopniu emocjonalna, bo pierwsza reakcja na to, co intrygowało autorkę i co wydarzyło się zarówno w jej życiu prywatnym, jak i w rzeczywistości społeczno-politycznej jej czasów” – nie bez racji stwierdza Mazurek.

Recenzowana monografia to, jak się wydaje, bardzo interesująca pozycja na polskim rynku wydawniczym, gdyż zajmuje się problemami mało lub wcale nieporuszanymi w polskiej krytyce literackiej i badaniach naukowych. Uwzględniając nieliczne istniejące prace badawcze, Halina Mazurek w sposób oryginalny i dokładny przeanalizowała dokonania dramatyczne Cwietajewej, omówiła zarówno fakty z jej skomplikowanej drogi życiowej, jak i utwory liryczne i prozatorskie.

Irena Rudziewicz

„Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne”, pod redakcją Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011, nr 1, ss. 173.

Instytut Kulturoznawstwa i Katedra Lingwistyki Stosowanej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wydała pierwszy numer pisma kulturoznawczo-filologicznego „Heteroglossia”. Tom zawiera teksty referatów, które zostały wygłoszone 19 marca 2012 r. w czasie III seminarium naukowo-dydaktycznego „Innowacyjne rozwiązania i technologie w dydaktyce języków obcych”. Było to kolejne już spotkanie teoretyków i praktyków dydaktyki języków obcych oraz edukacji informatycznej i medialnej zorganizowane przez Studium Języków Obcych WSG w Bydgoszczy z cyklu „Języki obce w XXI wieku”.

Autorów poszczególnych tekstów łączą „wspólne zainteresowania najnowszymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi jako narzędziami kształcenia w zakresie języków obcych” i podejmują oni w różnych ośrodkach akademickich Polski „interesujące poznawczo i cenne merytorycznie działania w zakresie kształcenia zdalnego” (s. 7). W przedstawionych referatach zawarte zostały wyniki „doświadczeń akademickich w zakresie lingwistycznej edukacji zdalnej, realizowanej z wykorzystaniem Internetu” (s. 8), przedstawione wzorce różnorodnych rozwiązań praktycznych i inspiracji twórczych.

W tomie znajduje się 17 artykułów w języku polskim z różnych ośrodków akademickich w Polsce (Bydgoszcz – 7, Kraków – 1, Olsztyn – 2, Poznań – 1, Warszawa – 4) i jeden referat w języku angielskim (Andrzej Lis – Bydgoszcz, s. 129–141). Oferty British Council dla nauczycieli języka angielskiego przedstawiła Monika Knapkiewicz (s. 67–72); sposoby wykorzystania czytania hiper tekstu przez uczących się języka polskiego jako obcego omówiła Dominika Buc ko (Bargieł, s. 61–66). Dwa teksty z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Joanna Orzechowska, s. 107–117 i Beata Jeglińska, s. 119–128) dotyczą nowego programu nauczania języka rosyjskiego i realizowanych na III roku studiów filologicznych zajęć lingworealizacyjnych (tu: przykładowy scenariusz ćwiczeń oraz ocena tego programu na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów po zakończeniu pracy).

Większość referatów została poświęcona dydaktyce języka angielskiego i oparta na materiałach związanych z tym językiem. Mirosław Marchlewski (s. 9–17) omówił interaktywne quizy HOT POTATOES rozwijające umiejętności komunikacyjne, Andrzej Nazarewski (s. 19–26) przedstawił przykłady praktycznego wykorzystania podcastów na zajęciach z praktycznej nauki języka angielskiego, a Joanna Malinowska (s. 27–30) wykorzystanie b-learningu w nauczaniu języka specjalistycznego.

Paweł D. Madej (s. 31–41) przeanalizował sposoby komplementarnego nauczania języków obcych na studiach niestacjonarnych, stwierdzając iż „zajęcia wirtualne mogą stanowić wzbogacenie i udoskonalenie całego procesu dydaktycznego” (s. 38). Katarzyna Gramsz (s. 43–52) na podstawie doświadczeń w pracy ze studentami kierunków neofilologicznych pokazała przykłady stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych przy rozwijaniu różnorodnych sprawności językowych. Elżbieta Gajek (s. 53–59) omówiła wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w realizowanym polsko-amerykańskim projekcie, który stał się również okazją do wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej, a Dominika Gołta-Wasiucioneł (s. 89–93) w dydaktyce języków obcych.

Agnieszka Wedel-Domaradzka (s. 73–79) przedstawiła różne (prawne, organizacyjne) aspekty pracy przy przygotowywaniu komplementarnych kursów językowych na uczelni; Anna Bączkowska (s. 81–87) podzieliła się doświadczeniami „o wykorzystaniu BL w nauczaniu na poziomie uniwersyteckim, konkretnie w nauczaniu przedmiotu: lektorat prasy polskiej i zagranicznej na kierunku dziennikarstwa i komunikacji społeczna” (s. 82). Maciej R. Tanaś (s. 95–106) zamieścił tekst *Kształcenie komplementarne na poziomie akademickim – kontekst dydaktyczny i informacyjny*, a Sylwia A. Wiśniewska (s. 143–162) bardzo interesujący referat *Po drugiej stronie lustra: nauczyciel – rodzic w klasie*.

Jolanta Zygnerska-Hajduk (s. 163–168) zarysowała i przeanalizowała wyniki ankiety i opinie studentów WSG w Bydgoszczy na temat ich pracy z zadaniami on-line na zajęciach w ramach lektoratu języka obcego, podkreślając, że „studenci dostrzegają potencjał komplementarnej metody kształcenia w zakresie języka obcego” (s. 167). Włodzimierz Moch (s. 169–173) przedstawił oryginalne rozwiązania kulturowo-leksykalne dotyczące wykonawców graffiti, stwierdzając, że „w ich wysoce wyspecjalizowanym języku nie ma przesadnie dużo form angielskich, a te które są, wydają się konieczne, gdyż nie zyskały (jeszcze) polskich odpowiedników. Ich słownictwo ma głównie charakter slangowy, ale jest to polski slang młodzieżowy, charakteryzujący się przewagą form rodzinnych. Słownictwo angielskie ulega na gruncie języka polskiego ciągłym procesom adaptacyjnym, kalki i określenia rodzime często wypierają formy pierwotnie zapożyczone, a te, które pozostały, w wielu przypadkach ulegają spolszczeniu” (s. 173).

Jak się wydaje, omawiane studia stanowią interesujący głos współczesnej pedagogiki, w szczególności na temat jej działalności praktycznej i poszukiwania nowych metod kształcenia w epoce mediów cyfrowych. Są one skierowane

przede wszystkim do wykładowców języków obcych, pedagogów i nauczycieli, którzy w swej pracy dydaktycznej wykorzystują przestrzeń sieci do efektywnego nauczania, w tym wypadku języków obcych, a także do studentów, dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, którzy coraz częściej, chętniej i świadomie korzystają z mediów cyfrowych.

Irena Rudziewicz

Spis treści

Od Redaktora	3
--------------------	---

Literaturoznawstwo

Tatiana Akimowa (Sarańsk), <i>Диалог Великой княгини Екатерины Алексеевны с польским анонимным автором о месте и роли женщины в обществе: к вопросу о функционировании жанра анекдота в творчестве Екатерины II</i>	7
Joanna Dziedzic (Białystok), <i>Afanasij Fet w krytyce zachodniej</i>	19
Małgorzata Kurianowicz (Białystok), <i>Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej</i>	27
Irena Matus (Białystok), <i>Wokół problematyki kasacji unii kościelnej w latach 30. XIX wieku w obwodzie białostockim (od unickiego parocha do prawosławnego duchownego)</i>	37
Joanna Wasiluk (Białystok), <i>Да праблемы станаўлення нацыянальнай ідэі ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя</i>	51
Maria Polakowa (Katowice), <i>Иконы поколения jeans</i>	69
Olga Letka-Spychała (Olsztyn), <i>Metaforyzacja lustra w cyklu Inny Lisnianskiej Stare lustro. Próba kognitywnej analizy wybranych utworów</i>	81
Liubov Savelova (Sewerodwinsk), <i>Речевой портрет северного крестьянина в прозе Мариуша Вилька</i>	93
Tatiana Loshakova (Sewerodwinsk), <i>Миф и реальность в северной прозе Мариуша Вилька</i>	103
Robert Bieliński (Olsztyn), <i>Prawda i fikcja w autobiograficznych trylogiach emigracyjnych Eduarda Limonowa</i>	115

Językoznawstwo

Olga Suchodolska-Nowak (Warszawa), <i>Концепт „кохання” у слов’янській пареміології (на матеріалі: української, російської та польської мов)</i>	129
Ludmiła Witkowska (Warszawa), <i>Межкультурная коммуникация</i>	139
Marina Sikorska (Olsztyn), <i>Перифраза: объем и содержание понятия</i>	149
Joanna Olechno-Wasiluk (Olsztyn), <i>Aksjologiczny obraz kobiety na przykładzie paremii rosyjskich</i>	159
Evguenia Maximovitch (Białystok), <i>Библеизмы в современной российской публицистике</i>	167

Natalia Yudina (Vladimir), <i>О некоторых новых особенностях взаимодействия в сфере славянского лингвистического сообщества в XXI веке</i>	179
Ewa Gładyś-Seta (Lublin), <i>Міф як джерело символіки реклами (на матеріалі українських рекламних текстів)</i>	191
Artur Bracki (Gdańsk), <i>Dowcip polityczny na Ukrainie jako fuzja dwóch przestrzeni językowo-kulturowych – zarys problemu</i>	205
Joanna Getka (Warszawa), <i>„Posłav spekulatora, czyli kata” – ekwiwalenty leksykalne w ukraińskim wariacie „prostej mowy” XVIII wieku (na materiale „Nauk parafialnych” Juliana Dobryłowskiego, Poznań 1794)</i>	217
Tatiana Kołodyńska (Lublin), <i>Кореляція за дзвінкістю/ глухістю у консонантизмі українських надсянських говірок</i>	235
Ekaterina Lukyanova (Vladimir), <i>Межэтнические контакты в сфере регионального топонимикона (на материале Владимирской области)</i>	243
Lech Krajewski (Olsztyn), <i>Стереотипы в гимнах и песнях футбольных фанатов</i>	249

Recenzje

„Вестник Российского Государственного университета им. И. Канта”. Серия „Филологические науки”, Выпуск 8, Калининград 2010 (<i>Irena Rudziewicz</i>)	269
A.З. Дмитриевский, <i>Славянские записки</i> , Калининград 2010 (<i>Joanna Korzeniewska-Berczyńska</i>)	271
<i>Wschód – Zachód w dialogu międzykulturowym</i> , pod redakcją Jolanty Kazimierczyk i Grażyny Lisowskiej, Akademia Pomorska, Słupsk 2010 (<i>Irena Rudziewicz</i>)	273
Ольга Камінчук, <i>Художній дискурс української поезії кінця XIX – початку XX ст.: Монографія, „Педагогічна преса”, Київ 2009</i> (<i>Irena Rudziewicz</i>)	277
Halina Mazurek, <i>Róża i Płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej</i> , WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2009 (<i>Irena Rudziewicz</i>)	279
„Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne”, pod redakcją Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011 (<i>Irena Rudziewicz</i>).	283

Contents

From the Editor	3
-----------------------	---

Study of Literature

Tatiana Akimowa (Saransk), <i>Dialogue of a Grate duchess Catherine Alexeevna with a Polish anonymous author about woman's place and role in the society: back to question about functioning of the genre of anecdote in Catherine's II fiction</i>	7
Joanna Dziedzic (Białystok), <i>Afanasy Fet in Western studies</i>	19
Małgorzata Kurianowicz (Białystok), <i>Slavic translations of the printed Bible in The Grand Duchy of Moscow</i>	27
Irena Matus (Białystok), <i>About abolishment of the church union in Białystok District in the 30-ies of XIX century (From the Uniate parson to the Orthodox priest)</i>	37
Joanna Wasiluk (Białystok), <i>Forming of the national idea in the byelorussian literature in XIX century</i>	51
Maria Polakowa (Katowice), <i>The icons of jeans generation</i>	69
Olga Letka-Spychała (Olsztyn), <i>Metaphorical representation of the mirrors in the series of poetry "Staroye zerkalo" of Inna Lisnianskaya</i>	81
Liubov Savelova (Sewerodwinsk), <i>A speech portrait of a northern peasant in Marius Vilk's prose</i>	93
Tatiana Loshakova (Sewerodwinsk), <i>Myth and reality in M. Vilk's northern prose</i>	103
Robert Bieliński (Olsztyn), <i>Truth and fiction in autobiographical Eduard Limonov immigration trilogies</i>	115

Linguistics

Olga Suchodolska-Nowak (Warszawa) <i>The concept of "love" in the Slavic paroemiology (the language material: Ukrainian, Russian and Polish language)</i>	129
Ludmiła Witkowska (Warszawa), <i>Intercultural communication</i>	139
Marina Sikorska (Olsztyn), <i>Periphrasis: scope and content of concept</i>	149
Joanna Olechno-Wasiluk (Olsztyn), <i>The axiological image of women as an example of Russian proverbs</i>	159
Evguenia Maximovitch (Białystok), <i>Biblizms in modern Russian journalism</i>	167
Natalia Judina (Vladimir), <i>On some new peculiarities of interaction within the Slavonic linguistic community of the 21st century</i>	179

Ewa Gładyś-Seta (Lublin), <i>The myth as a source of advertising symbolism (based on material in Ukrainian advertising texts)</i>	191
Artur Bracki (Gdańsk), <i>Political joke in Ukraine as a fusion two linguistic-cultural space – a sketch of the problem</i>	205
Joanna Getka (Warszawa), <i>“Poslav spekulatora, czyli kata” lexical equivalents of the Ukrainian variant of so called “prosta mova” of 18th century (based on the “Nauki parochialnija” by Julian Dobryiowsky, Pochayev 1794)</i>	217
Tatiana Kołodyńska (Lublin), <i>Correlation of voiced and voicelless consonants in the Ukrainian dialects over the territory of river San</i>	235
Ekaterina Lukyanova (Vladimir), <i>Inter-ethnic contacts within the regional toponymicon (the Vladimir region case study)</i>	243
Lech Krajewski (Olsztyn), <i>Stereotype in anthems and songs of football fans</i>	249

Reviews

„Вестник Российского Государственного университета им. И. Канта”. Серия „Филологические науки”, Выпуск 8, Калининград 2010 (<i>Irena Rudziewicz</i>)	269
А.З. Дмитриевский, <i>Славянские записки</i> , Калининград 2010 (<i>Joanna Korzeniewska-Berczyńska</i>)	271
<i>Wschód – Zachód w dialogu międzykulturowym</i> , pod redakcją Jolanty Kazimierczyk i Grażyny Lisowskiej, Akademia Pomorska, Słupsk 2010 (<i>Irena Rudziewicz</i>)	273
Ольга Камінчук, <i>Художній дискурс української поезії кінця XIX – початку XX ст.</i> : Монографія, „Педагогічна преса”, Київ 2009 (<i>Irena Rudziewicz</i>)	277
Halina Mazurek, <i>Róża i Płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej</i> , WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2009 (<i>Irena Rudziewicz</i>)	279
„Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne”, pod redakcją Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011 (<i>Irena Rudziewicz</i>).	283